

*Памяти дорогих моих родителей
посвящается эта книга*

Наталья Барабаш

Анна Кремнёва.
По белому кругу

Роман

Часть вторая

Москва
2011
АКАДЕМИКА

В филологии есть такое понятие — «медленное чтение». Это не просто замедленный, неспешный темп чтения, а углубленное, вдумчивое «вчитывание» в текст с целью освоить его интеллектуальное содержание, а если перед нами литературно-художественное произведение, то имеется в виду и восприятие в полном объеме эмоциональной стороны такого текста, постижение его эстетики вкупе с идейным замыслом автора. Именно такое «медленное чтение» предполагают тексты (как научные, так и литературно-художественные), создаваемые нашей замечательной современницей — доктором искусствоведения (к примеру, назовем ее научно-исследовательский труд «Телевидение и театр: игры постмодернизма»), мастером художественного повествования, проникновенным лирическим поэтом (вот только некоторые из стихотворных сборников — «Полетим?...», «Загадки безрассудства», «В поисках ответов») и драматургом Наталией Александровной Барабаш.

Н.А.Барабаш в своей писательской ипостаси — автор психологической прозы. Таков, например, ее роман «Отступник», где главным героем является мужчина, задумывающий план убийства своей жены, находя этому намерению психологическое оправдание. Расплата за содеянное, за могущее только быть, категории вины и греха становятся ведущими в произведении. Привнесение иррационального начала, соединение «верха» и «низа» поддерживают философскую глубину романа, который насыщен мистификациями, переходами героя из материального мира в фантастический. По большому счету, объективно, в своем литературном творчестве в художественно-повествовательных жанрах она определенно выступает в русле главной, парадигматической для русской классической литературы традиции психологической прозы.

Именно это обстоятельство выгодно (как обычно говорят литературные критики) и весьма красноречи-

во выделяет и принципиально отделяет прозу Н.А.Барабаш от модных в наше время легковесных «литературных» поделок в жанре так называемых женских романов, которые действительно не требуют «погружения» в сюжетную линию и якобы глубокие переживания их (женских романов) героинь.

А главные героини повестей и романов Н.А.Барабаш — тоже женщины, в центре авторского повествования — судьба, жизненные и житейские перипетии наших современниц с их «вечными» и нынешними проблемами, с действительно глубокими — ненадуманскими и непридуманскими — переживаниями и передрягами, выпавшими на долю русской женщины. И конечно — дуэт «она и он», в котором (дуэте) ведущая и «страдающая» роль принадлежит женщине.

Отличительная черта главной героини нового романа Н.А.Барабаш (он — перед вами), как, впрочем, и центральных персонажей других произведений писательницы, она сильная, волевая, самостоятельная, очень цельная натура. Последнее особенно ярко проявляется в отношении к мужчине и в отношениях с ним. Вместе с тем главные героини прозы Н.А.Барабаш — непосредственные, легкоранимые, тонко и глубоко чувствующие природу, что делает их очень и очень привлекательными.

И совсем неслучайна профессиональная ориентация (если так можно сказать) героини данной книги (Анны Кремнёвой: она — актриса) и предыдущего романа «Прольется дождь зимой» (Ильзе: она — врач).

Ведь эти две профессии наиболее близкие к тайнам человеческого существования: доктор врачует и тело, и душу (как думала Ильзе из предыдущего романа — она и властвовала над жизнью больного), а актер — он ведь тоже, перевоплощаясь, проникает в «тайники души» своего героя, а лучшие из лучших актеры становятся «властителями дум и душ» своих зрителей.

Поэтому-то центральные персонажи художественных произведений Н.А.Барабаш — обладательницы великого и «высокого» душевного (и духовного) богат-

ства, которое так щедро и изобретательно (в литературно-художественном плане) раскрыто автором.

И еще об одной черте творческой манеры Н.А.Барабаш. Внешне сюжетные линии в ее литературных работах скупы. Сюжетна сама внутренняя, душевная (и духовная) жизнь главной героини (главных героинь). В этом-то и кроется секрет притягательности «писаний» Н.А.Барабаш.

То же обстоятельство обуславливает и стилевое своеобразие художественной прозы нашего автора: сложные по своей структуре, развернутые предложения. Однако они легко воспринимаются при чтении благодаря четким смысловым и синтаксическим связям между их (предложений) частями, и мотивированно составленным логическим и эмоциональным акцентом внутри фразы, а также и в рамках микроконтекста абзаца.

Так что, дорогой читатель, Вас ждет встреча с литературным произведением, в котором «диалектика души» персонажей (о которой писал Н.Г.Чернышевский) раскрывается в лучших традициях и свойствах нашей отечественной литературы.

В добрый путь по страницам нового романа Наталии Барабаш!

*Юлий Бельчиков,
доктор филологических наук,
профессор, член Союза писателей Москвы*

Мой отец был актером ташкентского Русского театра, мама — сначала актрисой, потом администратором. Работала с выдающимися исполнителями, включая Комиссарова, Вертинского. То, что было в Ташкенте послевоенной поры, известно мне и по рассказам родителей, их переписке в годы войны и дружбе с четой Алексеевых, долгие двадцать лет украшавших сцену театра. Да еще из того, что проходило перед моими глазами в течение нескольких десятилетий жизни в Ташкенте, работы в этом же театре, в театральном институте. Ну, а впоследствии — в Ленинграде и Санкт-Петербурге, и снова в родном городе, в котором родилась и выросла. Там было хорошо! Лучшего города так и не случилось во всей моей биографии. В нем все было не так, не так, как в других местах и пространствах: легче, человечнее, жизнерадостней!

Обо всем этом — в романе. Он совсем не о моей жизни, и уж тем более — не мой характер у его героини, Анны Кремнёвой. Она и сильнее, и терпимее, и выносливей. И, наверное, актерски очень одарена. Именно поэтому все, что с ней случается в жизни, подчинено только и исключительно театру.

Не стоит искать исторически точных, совпадающих с истинным временем событий, ведь это не исторический роман и не документ. Например, спектакль «В день свадьбы» был поставлен после землетрясения, в романе все иначе, но не это составляет основные его приметы. Там есть другая правда, и, надеюсь, читатель ее увидит и ощутит.

Я благодарна судьбе, что дружила со многими замечательными людьми, которые так или иначе, но оказались и в моей жизни и в этой книге, что жила в городе, который люблю до сих пор. И потому желаю всем им, живущим в Ташкенте, или Петербурге, или где-то еще, непременно одного: любви и веры, сквозь которые проходит и моя героиня и без которых жизнь невозможна.

НАТАЛИЯ БАРАБАШ

Она наклонилась к ручью и тут же отпрянула: на нее из маленького озерца, что образовывала текущая вода, смотрело чужое лицо. Оно было страшным, волосы, когда-то длинные и вьющиеся, стали седыми и висели слипшимися прядями. «Боже мой, кто это? Неужели я?» — воскликнула она и снова отпрянула от воды. Провела рукой по лицу, дотронулась до мокрых волос и села у края ручья. В эту минуту раздался странный звук, похожий то ли на птичий писк, то ли на треск сложенной ветки, которая все висит и никак не может отломиться до конца. Она оглянулась и действительно увидела птицу. Та была средних размеров, с зеленоватыми перышками. Но самыми примечательными были глаза-бусинки, которые светились, даже горели синим-синим светом. Птица внимательно смотрела и не отходила. Ей не было страшно, вот что удивительно! «Что она делает здесь? И почему не улетает? Неужели совсем не боится?» Ей показалось, что пернатое существо кивнуло утвердительно.

Витька пил из бутылки долго, не отрываясь и не глядя на собравшихся. Он даже не слышал возгласов неудовольствия, так затянуло его это чудное занятие. Только когда до доньшка осталось совсем немного, он с силой оторвал от себя зеленого цвета стекло, тяжело вздохнул, крикнул, выгтер мокрый рот и со счастливой физиономией, по-прежнему ни на кого не глядя, передал бутылку кому-то, кому — даже и не знал. Но точно был уверен, что ее подхватят и она не упадет.

— Ну, ты и гад, зверь просто, — донесся до него с хрипотцой голос. — Только себе, сволочь! Мы что, не люди?

— Нет! — торжественно провозгласил мужчина, почему-то оглядываясь назад и снова ни на кого не глядя.

— Сволочь, я давно знала, что ты говно! — попыток жил тот же голос.

В ответ Витька распахнул пиджак, потер свою худую грудь, причмокнул и запел.

«Плавно Амур свои волны несет, ветер сибирский им песни поет, ветер песни поет...». Однако продолжить старинный то ли романс, то ли забытую почти песню ему опять не дали и только звонко врезали по морде. Тут уж он наконец пришел в себя и посмотрел на смельчака. Им оказалась женщина, очень даже ничего себе, миловидная, хоть и черт-те как одетая. Что-то еще у нее было с волосами: наверное, она с месячишко их просто не расчесывала.

— Ты, фуфлыга, че распелась?

— Я-а?

— Да, ты!

— Это ты у нас по Амуру стосковался. Хоть знаешь, где этот Амур? Или только амурсы можешь крутить?

— Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! — смеялся во все свое широкое горло весельчак и все не мог взять в толк, что Амуром может быть не только река, но и что-то, имеющее отношение к любви.

— Разоржался, — недовольно проскрипела стоящая рядом нечесаная женщина, которая показалась сначала Витьке миловидной.

Может, когда-то она и была такой, но какой-то след налипшего накрепко горя, злости, заскоружности так прилепился к ней, так обволок, что какая уж там миловидность! Не было этого ничего! Ничего!

Вторая женщина была потише, что ли, по крайней мере, драться не лезла и из горлышка молча допила остатки.

Была она скромно, но чисто одета, и складывалось ощущение, что она сама по себе, что ли, что вся эта компашка для нее случайность. Она, как и Витька, смотрела все больше куда-то в сторону, в потасовке участия не принимала, и было во всем ее облике что-то потерянное. Чувствовалось, что она из приличных и случилось что-то такое в ее жизни, чего преодолеть она не сумела, так и стала по подворотням со случайными

людьми пить водку. Но все это казалось на первый взгляд, а что там было на самом деле, сказать трудно.

Они собирались по какому-то странному стечению воль и обстоятельств уже не в первый раз, и каждый из них знал, что после шести вечера кого-нибудь из них точно можно застать в таком месте.

А место было примечательное. Глубокий, сквозной ленинградский двор-колодец, где ни деревца, ни кустика, но где была атмосфера. Она словно заманивала тебя в арку и предлагала постоять. Кто-то проходил мимо, все также не оглядываясь, кто-то шел и фыр-кал, но группу из трех человек это не смущало. Они стояли рядом и тем не менее отстраненно друг от друга, и заранее приобретенная на общие деньги бутылка переходила из рук в руки. Закуска была скудная, да не в ней и дело было. Но все же женщины иной раз что-то захватывали с собой. Даже та, нечесаная, и то приносила. Никто толком не знал, кто он и откуда, какова его судьба, что такое с ним в жизни случилось, что пристрастился он к выпивке и стал завсегдаем подворотни. Да этого и не требовалось, так было проще. Не знаешь — и ладно! Чего там?! Но было, однако, нечто такое, что притягивало этих трех друг к другу, что позволяло хоть и драться иной раз, но все же не расставаться совсем. Непонятно было, как среди них был один мужик всего и почему трое. Ну, трое — это понятно; понятно хотя бы по исконной русской привычке делить водку на троих. Но почему такой состав?

Однажды, с полгода назад, Витька стоял у киоска и покупал пиво. На водку ему тогда не хватало, и он решил ограничиться менее крепким напитком. Открыл зубами крышку, сплюнул ее и прилип. Так и стоял, пока не заметил чей-то взгляд. Оторвал бутылку от себя и увидел, что на него стоит и смотрит в упор женщина. Плохо одетая, неряшливого вида, но в каких-то потаенных уголках, запряганных далеко-далеко, светился все же осмысленный взгляд глубоких внимательных глаз. И еще жест. Она проводила рукой по волосам так, как когда-то делала это Витькина мать, давно

покойная. Так же непринужденно и вместе с тем вызывающе. Что-то смешалось в ее облике, что-то такое разное скрестилось и напуталось, что разобраться было трудно, да Витьке, к примеру, и не хотелось ничего распутывать. Одно он почувствовал точно: ее было жалко, чувствовалось, что не закоренелая это пьяница, не в поколениях, а так, по воле случая, что ли.

Однако принято было (кто это установил, когда, по какому случаю, неизвестно), что вопросов в таких ситуациях не задают, лишнее не спрашивают, принимают то, что происходит, как данность и так, как надо. И тех, кто приходит. Как-то глупо даже в такой среде было расспрашивать, из какой он семьи, каких кровей и что стряслось в его жизни. Постепенно главное и так раскрывалось.

— Вот меня, к примеру, Витькой зовут. А вас, барышни, и не знаю, как величать.

Барышни долго не отвечали, потом по очереди пригубили, и та, что скромнее, вдруг сказала.

— А меня звали раньше Кирой. И живу я у Кировского завода. Легко запомнить.

Это была самая длинная речь, на какую она отважилась за все время их знакомства.

— Кира, значит, — отметил Витька. — Это хорошо. Погоду замечаешь? Так вот. Там свои законы, не по расписанию. То льет, то в голубую полосочку. Видали, какое солнце сегодня? Так и режет глаз. Зовет — братцы-кролики, у меня здесь получше, чем у вас. Замазали вы землю-то свою.

— А ты на самолете летал? — спросила та, нечесаная.

— А как же? Самыми разными маршрутами. Например... Нет, забыл, кажется.

— Вот оно, что делается. А я летала. Много. Далеко, — сказала та же женщина, имени которой никто не знал.

— У тебя имя-то есть хоть? А то всё дружимся, а без имени. Нельзя, — заявил Витька.

— А чего тебе мое имя? Госка одна от моего имени.

— Что оно, такое страшное?

— Да нет, просто горя с ним много намькалось.

— Горе — это хорошо, — изрек Витька. — Это облагораживает. — Я тоже кое-чем был.

— Учителем труда? Они обычно спиваются, — поддела неряха.

— Ага, труда. А физики, не хошь?

— У меня муж был почти физик, — продолжила откровения та же женщина.

— И что, сплыл?

— Дай бутылку, уймись, и так много чего наболтала. Будете тут мне... Знали бы вы...

— Да чего ты все загадками? Говорила бы уж, — злобно сплюнул Витька.

— А стихами хошь?

— Ой, терпеть их не мог никогда. Вот песни люблю, а стихи эти...

— А ты, дурак, послушай.

Ах, дерзкие, ничтожные вы черви!

Мой дух был так же дерзок, как и ваш...

— Ну, ты, курица, полегче! Обнаглела совсем!

Женщина презрительно хмыкнула и, сделав свой неповторимый жест рукой, продолжила.

И отвечать имел он больше права

На слово словом, на укол — уколом.

На этих словах она ткнула в бок Витьку и почему-то весело захохотала.

— Дай свою гадость, выпью. На душе полегчает.

— Гадость ей! А ты текилку принеси, сольцы да лимончику, вот и попируем! — нагло выкрикнул собутельник.

— Щас, разбежался. Текилу мне и так будет с кем отведасть.

— А ты не заносись, гордая какая! Лучше патлы свои причеши, все приличней будет.

— Это тебе-то говорить о приличиях? Да ты знаешь ли?.. — Она не договорила, снова схватила бутылку и долго не отпускала. Так долго, пока ее, наконец, не остановила товарка со словами: «Будет уж, захлебнешься. Дай мне».

Нечесаная отдала пузырь, и видно было, с каким трудом она это сделала.

Солнце, и правда, смотрело благосклонно, и на эту небольшую компанию — тоже. Иногда казалось, что время от времени закрывающие его тучки, словно в унисон собравшимся, предупреждали: не все так весело. Да, не одно только солнце освещало то ожесточавшихся, то затихающих людей. Туч было куда больше.

Кира дольше других смотрела ввысь и чего-то свое думала. Думали и остальные, не все же было в словах сообщать. И так понималось, что в какие-то мгновения они беспечны и почти оторваны от насущных проблем; порой же создавалось ощущение, что это так, временная отдушина, не более. Что тычком торчащие проблемы не отпускают ни на минуту. Кто их разберет?

Проходящий мимо них парень вдруг остановился и внезапно приблизился к троице. Смотрел он угрюмо, не пытался казаться вежливее и добрее. Пиджак почти болтался на его худом теле. На голове был странный убор, похожий на восточную тюбетейку, но со стертым замысловатым рисунком. Он подошел совсем близко и неотрывно смотрел на нечесаную.

Выступил Витька, действительно выйдя вперед и едва ли не перегородив дорогу парню. «Ты чего, носатенький? Спутал чего? Мы тут мирно, никого, ну, того, сам понимаешь...» Он не успел договорить, как подошедший дернул нечесаную за рукав и бросил: «Совсем завяла? Олечку бы проведала, дуреха. Что ты тут потеряла?»

Женщина отдернула руку, освободилась от подошедшего, тряхнула головой, даже и рукой по волосам провела, как, наверное, делала это когда-то, и сказала: «А не лишней ли ты тут будешь?» Парень снова обвел глазами компанию и так же угрюмо ответил: «Пропадешь,

совсем пропадешь. Ну ты и дура. Ну, даешь! Сколько лет уже!»

Женщина бесстрашно приблизилась к мужчине, схватила его за рукав и закричала что было сил, во весь свой сильный голос. «А где вы все были, когда мне было плохо? Где? Сбежали, испугались? Вы — сволочи, вы, все вы. Уходи, хмарь болотная, помню я тебя, уходи, — кричала женщина голосом, который был такой красоты и силы, что становилось страшно: неужели это все правда, и стоит эта пьяница здесь, рвет душу, а могла бы жить по-другому? — Уходи и больше не попадайся на глаза. Убью, слышишь, убью».

Постепенно страх все больше напрягал мужчину, он старался отдернуть руку, освободиться, но женщина держала крепко и не собиралась сдаваться. «Ироды, все вы ироды! Испугались, когда мне нужно было, разбежались, как тараканы? А теперь все, нет у меня никого. Слышишь, ни-ко-го!» — «Да погоди ты, что ты как бешеная? Дай сказать. Неужели не хочешь ничего знать? Где ты хоть живешь? Я-то тут при чем?» — «А при том! При том, что все знал, да не через пересказы, а так, сам по себе и знал. А теперь выискался?»

Женщина была почти без сил, это ясно стало потому, что она опустила сначала на корточки, потом и совсем села на землю. Кира и Витька, поначалу молчавшие и даже оробевшие слегка, не выдержали.

— Поднимись, чего ты? Встань! — орал Витька, а сам пытался поднять женщину и усадить ее на кусок бревна, валявшийся тут же. Однако она настолько погрузилась в какое-то свое горькое, давнее воспоминание, что не реагировала и не слышала окружающих. Она опустила голову, уронила ее на руки и словно забылась. Не плакала, ничего не отвечала больше, а так горестно, молча сидела, сбившись в маленький горький комок.

Подошедший растерялся и больше не нападал на женщину. Однако и не уходил. Остальные тоже стояли молча. Тишину нарушил Витька. Он сказал:

— Чего теперь? Можно поправить — так давай, чего уж. А если нет — то и ничего не скажешь, пиши — не

пиши. На, сделай глоток, — предложил он, протягивая женщине бутылку с оставшейся горячей жидкостью. Однако она не прореагировала, Витька пожал плечами и проглотил остатки. Кира, та вообще молча взирала на все происходящее и по-прежнему не говорила ничего.

Пришедший склонился к женщине и сказал:

— Ты меня хоть помнишь? Ну, сосед я Олега и его мамы. Как умерла она, так все и покатилося. Уехали они, да ты знаешь. Может, ты это, ну, позвонишь или зайдешь? Я — Стас, неужели не помнишь? Ну, не горюй ты так, аж страшно. Вот, держи, это мой телефон, — сказал Стас, записав на клочке бумаги номер и всунув женщине его в карман видавшего виды пиджака. Она была по-прежнему безучастна. Только спустя время засунула руку, нащупала бумагу, но не вынула, а так и продолжала сидеть.

Ситуацию изменил Витька. Он вдруг вынул из-за пазухи какой-то сверток, раскрыл его, и все увидели, как в его руках забился, а потом и вовсе взмыл в воздух разноцветный воздушный змей. Это случилось так неожиданно, да тем более, что никто и не ожидал, что все может разрешиться так оптимистично, что даже Куира и то засмеялась. Только нечесаная женщина подняла вверх голову, взглянула на уплывающего змея и все-таки поднялась со своего бревна. Потом отряхнула подол, поправила характерным своим жестом волосы, посмотрела на Стаса и произнесла:

— Чего ж не помнить, все я помню, не утратила еще память. Только она мне без надобности теперь. Сам знаешь, что Олег сделал, — увез, увез мою Пелагеюшку, а потом и вовсе... Все думали, что знаменитость я, а тут вон как вышло. То операция, то полное фуфло в этом творчестве. Один обман и снова предательство. А этого стерпеть никто не сможет, я не смогла.

— Но зачем тебе вышивка? Может, отсудила бы жилплощадь?

Женщина засмеялась, да так громко, так искренне,

что друзья ее примолкли совсем, так это было неожиданно.

— А ну, не учи меня. Учитель нашелся! Сами, все они сделали сами. Предатель и баба его, все она... Мог по-человечески, не бежать... А то вот, убежал.

— Ты где хоть обитаешь?

— На этом свете. Пока! Пока обитаю.

— Но что ж, Олег проявился, написал, что все живы, и Пелагея хорошо. Спрашивал про тебя. Может, даже искал. Наверное, не знает ничего, не нашел.

— Так, значит, ищет!

— Я знаю, знаю, ты в своей комнатке, ну там, в центре?

— Нет, там живут.

— Кто, кто там может жить?

— А, так, чужие...

— Но ведь комната твоя? Она ж на тебя была оформлена?

— Ну и что!

— Ты это, ты не разбрасывайся. Теперь каждый сантиметр площади на вес золота. Поняла?

— Нет у меня сантиметров, ничего нет.

— Ну, ты совсем с ума сошла, выходит.

— А по роже хопь?

— Ладно, я пошел, ты лучше о дочке вспомнила бы. Всё, пошел я.

Мужчина, похожий на мальчишку, стал удаляться, и вдруг женщина подхватила и бросилась за ним. Догнала, схватила за рукав и стала горячо спрашивать, часто-часто произнося слова, не рассчитывая на ответ, перебивая и все так же теребя мужчину за рукав.

— Как она, как, скажи? Что он написал, что? Пошли ли в школу, что умеет? Здорова ли? Навсегда ли они туда уехали?

— Ань, да успокойся ты, нельзя так пропадать. Совсем пропала. А Поля, дочка твоя... что ж, она умница, хорошая, в первый класс пойдет.

Женщина словно услышала что-то такое, что ее подкосило совсем.

— Как, неужели уже? Куда это время смотрит? Кто же с ней, значит, та? А я и не нужна совсем, выходит!

— Не зайдешь?

— Да как я? Совсем невозможно это теперь.

— Глупости, зайди, может, все образуется еще?

— Ой, ладно, иди. Больше нету сил, иди.

— Постой, а отец твой, он...

— Нет у меня никого, и отца тоже нет.

— Глупости! У тебя есть дочь! Ну и что, что так случилось. Муж — это не кровная родня. А дочь, она всегда дочь, еще поймет, что да как. Они же держат комнату, значит, не навечно туда смылись.

Женщина снова нащупала в кармане клочок бумаги и, ничего не говоря, повернулась и пошла. Но не к арке ворот, где по-прежнему стояли двое ее сотоварищей, а совсем в другую сторону. «Надо же — Аня! — помнит, однако».

ГЛАВА ВТОРАЯ

А НА УЛИЦЕ РАСЦВЕТАЛА ВЕСНА

Что-то чирикнуло совсем рядом, буквально над ухом. И показалось этой женщине, что ничего страшного и не было вовсе, что все по-прежнему хорошо и даже прекрасно, что никто не умер, а уж тем более — не забыт, и живут все вместе, а по утрам вот так же поет птица, давая понять, что жизнь, какой бы она ни представляла в какие-то моменты, все же хороша и нечего с ней сражаться.

Но мысли эти вскоре отступили, и снова стало казаться, что на земле давно и прочно поселилось что-то большое и страшное. И оно никак не может освободить сознание, устранив боль, которая все саднит, не проходит.

«Птица, где ты? Да что ты все прячешься? Прямо, как я...».

Удивительная вещь — месяц май! Словно на перепутье: и к зиме уже не свернуть, и до лета не близко. Так, ходи, дыши и наслаждайся жизнью. Уже первые листья, пахнет свежестью и чем-то таким, что бывает только в мае. Сами люди, уставшие от долгой зимы, да и от весенней раскачки, спешат как можно полнее насладиться тем светлым и почти загадочным, что приходит в их жизнь вместе с маем.

Преображаются женщины, сбрасывающие свои бесконечные волокущиеся по земле пальто, устанавливая режим курточек и открытых ног. Все торопятся, что характерно опять-таки для мая. В летние жгучие месяцы граждане ходят иначе: не так спеша и не так озираясь вокруг, не видя почти ничего и не слыша. А теперь они вкушают природу, и она им очень по душе. Все проснулись вместе с этой природой и не собираются это скрывать. Можно наконец посидеть в летнем кафе, можно попить пива за столиками прямо на улице, можно расположиться у Казанского собора на

лавочках и просто так сидеть, разглядывать проходящих пешеходов и думать о чем-нибудь своем, не особенно напрягаясь.

Пожалуй, два месяца в году были самыми замечательными — май, вот как сейчас, и еще сентябрь. В том, который не скоро должен был наступить, было нечто схожее с весенним, нынешним. Например, переход и ожидание. Еще и не осень, и нехолодно совсем, еще помнится лето со всеми его пушкинскими «мухами, и комарами, и зноем», но уже что-то стронулось: не так шелестят листья деревьев, не так тепло по утрам, хотя дневная температура по-прежнему может и до двадцати залететь. А все-таки уже не так! Не так, как в летнюю пору. Стынет, понемногу стынет утро, пронзительнее день, а к вечеру и вовсе поддувает. И дело совсем, оказывается, не в градусах, а в том составе воздуха, который с каждым днем все прозрачнее и звонче. Даже если не видеть совсем деревьев, их постепенно осыпавшийся покров, то именно по воздуху станет совершенно понятно, что пора меняется, что день ну совсем не напоминает летний, а уж ночи — те и по-давно.

Женщина в помятой одежде, с давно нечесанными волосами, с потухшим взглядом и совсем немолодой походкой, как-то неуверенно даже ступая, двигалась к одной ей известной цели, которая, казалось, была очень и очень далеко. Иначе почему она так медленно, так осторожно, шадяще даже шла? Может, не было сил, или водка, которую только недавно допивали в колодце дома, все же делала свое пагубное дело? Наверное, все вместе мешало шагать весело и непринужденно и думать так, как хотелось, чтобы в мае думали все-все!

Она шла не домой, а в то место, которое давно уже почему-то стало ее пристанищем, ночлегом, где жили еще двое — мужчина и женщина, которые, наверное, были семейной парой. Женщина же, которую звали Анной, жила одна, пары у нее не было, и это ее устраивало. Что было с ней когда-то, да и было ли, она давно

забыла, а что помнила, вычеркнула из твердой, непомятой своей памяти раз и навсегда.

Семейство вместе с женщиной располагалось на чердаке большого и почти брошенного дома. Брошен он был не людьми, а городскими службами. Всюду подтекала вода, трубы давно прогнили, крыша текла в одном и том же месте. И это было положительным моментом, так как в других местах она была почти что без протечек и изъянов. А то нехорошее место троица научилась залатывать поближе к зиме. Зато летом это обстоятельство являлось чуть ли не преимуществом: дул свежий воздух, и запах из давно проржавевших труб не был столь плотным и стойким.

Чердак был большой и при помощи занавесок делил пространство на три части: две для жилья и сна, а третья, общая, — для приготовления пищи. Множество раз к ним навевались проверяющие люди с тем, чтобы выкурить их оттуда, но потом жалобы жильцов на свои кровные проблемы и нужды так одолели проверяющих, что они плюнули и на жильцов, и на чердак, и на весь этот нелепый дом красного цвета. И как он только умудрился сохранить свою окраску — трудно даже сказать. Наверное, кирпичи, сам способ кладки в конце 19 века был таким совершенным, что никакие ржавчина и гниль не брали этот мощный дом. По крайней мере, таким он казался со стороны. Предположить даже невозможно было, что там творится на самом деле, в каких условиях живут люди. Говорили, что это был когда-то доходный дом, потом к кому-то или чему-то непонятному отошел. Истинного хозяина отыскать за давностью лет не удавалось, вот отсюда такое отношение к дому и сложилось. Стоял он себе и стоял, всеми покинутый и забытый.

Проведали о нем в свое время разные вокзальные и «колодезные» люди, стали собираться, даже пару квартир заняли, а вот Анне с ее приятелями достался чердак. И жили они так уже почти четыре года. По крайней мере, говорили, что, как блокадники, четыре зимы

перезимовали. Только по другим обстоятельствам, в самое что ни на есть мирное время.

Обязанности были четко распределены между членами чердачного коллектива: кто готовил, кто убирал, кто таскал откуда мог продукты. Анин доход состоял из того, что могла заработать в переходах, на улице, где время от времени менялось ее место и приходилось отыскивать новое. Парочка же тоже время от времени навещала в деревне каких-то родственников и свозила все что могла съестное в свой чердачный дом. Была у них общая кушетка на кухне, у каждого — спальное место, имелся даже телевизор, но вот со светом были проблемы, категорически его не проводили, и их хилое сооружение позволяло смотреть ящик далеко не всегда. Это редкое приобщение к городской и вселенской жизни порой очень напрягало жильцов чердака: что-то входило в их устойчивое существование словно потустороннее, не согласующееся с укладом и привычками этого странного содружества.

Более других любил приобщаться к экранному просмотру мужчина, жилец по кличке Киш. Почему его так звали и кто был инициатором этого прозвища, сказать уже трудно, но иной раз его подруга Неля ласково называла его Киша. Производное от какого имени было это Киш, сказать трудно. Однажды Анна спросила его, что это за имя такое. Киш долго загадочно молчал, потом изрек: «Всегда говорили в деревне, а потом и здесь, в Ленинграде, что кругом кишмя кишит. Народу в смысле. А я все лез, спрашивал, что это за «кишмя кишит». Надоело, видно, отвечать, так постепенно ко мне и прилепилось — Киш. Заметь, не Кыш, не пшел вон, а именно Киш. Это кое-что другое». Такую длинную речь Киш произнес лишь однажды, в другое время он по большей части или спал, или строгал бесконечные палки. Приносил с улицы невесть откуда взятые крупные довольно, чуть ли не оглобли, и начинал все дни и вечера напролет их строгать. Потом они бесследно исчезали, но появлялся или хлеб, или еще что-ни-

будь съестное. Но Киш упорно не сдавал свою деятельность: никому не рассказывал, куда относит, кому сбывает наструганные палки. Да и кому они могли быть нужны — вот самый важный вопрос. Кому? Неужели грибники не в состоянии себе отломить были палку в лесу и заниматься поисковой своей работой?

Однако было в деятельности Киша нечто такое, сопряженное с тайной, что никаким грибникам, естественно, такие палки были ни к чему. Тогда кому? А вот и то, что были, да и многим. Но это становилось понятно просто потому, хотя бы, что они все же исчезали из их жилища, с чердака, стало быть. А куда? Этого не знала даже Неля.

Киш прикладывался к бутылке редко. Именно поэтому Анна нашла себе дружков на стороне. В этом видела для себя выход и спасение. Уходила она к собратьям по водке почти с утра, долго шла по городу, хотя все располагалось рядом, в самом центре. Только вот ее нынешний дом отстоял от бывшего ее жилища в паре остановок метро. Но льгот она не имела, как, впрочем, и денег, поэтому не ехать приходилось, а преодолевать это расстояние своим ходом. Да ничего, ей было это даже на руку. По крайней мере, можно было увидеть, как еще живут люди, что говорят, куда смотрят, во что одеты. То, что сама она была одета плохо, мало ее занимало. Она вообще притерпелась к своему облику, образу жизни, новым привычкам.

В течение дня, да и многих дней и месяцев она больше привыкла молчать. Это ее вполне устраивало, поскольку преодолевать что-то такое, во что не были посвящены другие и что составляло тайну ее жизни, не хотелось, вот и приходилось все больше молчать. Она даже в памяти своей не обращалась к прошлому, оно было давно утрачено и стерто. А на память она не жаловалась никогда. Просто стерла, извлекла и ... забыла. Иначе можно было вообще не выжить. Она толком не знала, откуда эти двое, что жили с ней на чердаке, что такого страшного стряслось в их жизни,

что заставило перечеркнуть хорошее (наверное, хорошее) и перебраться туда, где собиралась едва ли не вся городская нечисть в виде крыс, других ползающих врагов чистоты. А главное — где не было нормального человеческого общения, где все прошлые привычки, опоры были попорчены и выброшены за ненадобностью. С прошлым в их и в Аниной жизни расправлялись жестоко: не было его вовсе, и все!

Однако не изъять из памяти, из каких-то генетических закоулков то, что многие годы составляло смысл и образ жизни. Например, даже такую вроде бы мелочь, как жест. Как это легкое движение рукой по волосам, еще из той, далекой и безвозвратной жизни, где волосам, их убранству придавалось повышенное внимание. Которые приучала убирать и ухаживать за ними еще мать, память о которой все же теплилась в сердце одинокой женщины.

Связывало этих трех, живущих высоко над всем домом, пожалуй, одно: желание не трогать и не ворошить прошлое, которое было у каждого. Просто так сошлось, что прикасаться к нему было чревато: и физическими болями и хворями, и просто душевными.

Да они и виделись довольно мало. Анна уходила, проводя день в блужданиях по городу, стоянием на своей «точке», где ей прилично подсыпали разную мелочь. Но, однако, делала она это нерегулярно. Такое блуждание по городским улицам ее устраивало куда больше. Просто уж когда совсем было нечего есть, она несколько дней кряду стояла со своей странной шапочкой, больше напоминающей какой-то театральный реквизит, нежели обычный головной убор, в которую сыпали кто мелочь, кто червонцы. А иной раз попадали и покрупнее купюры.

А общение с теми, которые ждали и всегда готовы были вышить, становилось тоже отдушиной и тоже потому, что и там никто ни о чем не спрашивал. Все были рядом, но каждый сам по себе. Так казалось спокойнее и безопаснее: мало ли куда заведут воспоминания!

Еще, не приведи Господи, наткнешься на каких-нибудь знакомых обших! А этого очень не хотелось. В таком сообществе жизнь всегда представляла собой почти чистый лист. По крайней мере, друг для друга.

В этот майский день и Анна заметила, что улица дышит по-особому, что народ осмелел, как-то по-иному выражал себя, все больше хохоча и воркуя. Ее это не смущало и никак не заставляло грустить: что ж, каждому свое. Но майская пронзительная пора все же давала о себе знать каким-то особенным трепетанием слов, движений, самого настроения, что носилось в воздухе, давая понять: вот она, самая чудная вещь на свете — май! И трудно было с этим не согласиться.

Анна переходила улицу, немного замешкалась, и ее кто-то толкнул. Она спокойно взглянула на пешехода и едва не попала под машину: это был человек, который так заманчиво предложил ей будущность и так коварно перечеркнул ее. Но выглядела она таким странным образом, что ни этот человек, ни, наверное, никто другой не могли признать в опустившейся женщине ту, что со сцены призывала любить и доверяться своему мужу.

Анна скользнула взглядом по шедшему, слегка ссутулившемуся мужчине, отметила про себя, как он постарел и больше ничем не выдала себя. Она была так закрыта, так отстранена от мира и его нужд, что сделать это было довольно легко.

Она прошла дальше и все же почему-то остановилась.

Ноги стали ватными, и сердце сильно застучало. Ей только казалось, что никакие передряги в мире больше не коснутся и не тронут ее. Это было не так. Память мгновенно обернулась к ней лицом и тут же предоставила сюжет: театр, лестницу, знаменитые фигуры, почему-то окружающие весь угол здания и все такие же огромные окна. Промелькнула картинка, как она стоит на улице и смотрит на вертикальные металлические пересечения на огромных окнах и как сердце

ее стучит так же учащенно. Тогда была надежда, вот-вот готовая реализоваться мечта, а теперь полный отказ от какой бы то ни было фантазии на тему театра: прошлое испепелилось и пропало, как и лестница, и огромные окна, и необыкновенная женщина на фронтоне здания, у ног которой расположился малыш. «Пелагея, что теперь с ней?» Ответа не было, так как и эта картинка испарилась столь же быстро, как и первая. И то, и другое касалось иной, из другого измерения жизни, доступ в которую был закрыт прочно и навсегда.

Женщине казалось, что чувства, желания, свойственные любому человеку, покинули ее безвозвратно. Она давно жила по какой-то установившейся привычке, которая не имела ничего общего с реальными потребностями, мечтами, намерениями. Она тупо шла на свой пятак, затем встречалась с двумя сотоварищами в подворотне, оттуда еле-еле волочилась назад, чтобы подняться на свой чердак и завалиться спать. Она засыпала под неизменный скрежет ножа, еще каких-то инструментов, которыми Киш строгал очередную палку. Даже мысли о конце, который, быть может, как-то логически завершит такое существование, не посещали ее: это было слишком сложно, такие громоздкие мысли уже не помещались в ее голове.

Наверное, это и жизнью-то назвать было бы крайне трудно, так изуродована она была и бессмысленна. Даже от обычного анализа, что так или иначе свойственен людям, она отказалась и совершала все действия едва ли не автоматически. Она наизусть знала путь, который пройдет утром, сколько на это потребуется времени, хотя часов у нее и не было; знала и про то, что, встретившись с Витькой и Кирой, простоят с ними пару часов, а потом снова отправится в дорогу. И так и будет ходить и ходить, совершая какое-то непонятное блуждание по одному и тому же маршруту, напоминающему круг. Когда наступали холода и снег заваливал все вокруг, проникая в одном месте и на чердак, это казалось белым кругом, а когда зацветали

фруктовые деревья и начинало пахнуть теплом и еще чем-то, чему не было названия, это все равно смахивало на всеобщую белизну, и она становилась главным во всем пространстве вокруг. Выходило, и зима, и лето — все было окрашено в белый цвет, на который Анна реагировала более всего. Не на события и чьи-то слова, действия, поступки, а на те превращения в природе, которые единственные не оставляли ее равнодушной.

Может быть, еще потому ее так тянуло на улицу, что именно там она обретала чуть ли не совершенный покой и отстраненность, которая достигала в чужом людном месте абсолютную завершенность.

Она перевела дух и, не оглядываясь, пошла дальше. Пришлось снова проходить мимо того здания, на котором взметнулись и так и закрепились наверху странные фигурки людей — мужчины, женщины, детей, да еще приукрашенные морскими атрибутами. Что они означали и почему оказались так высоко посаженными, да и кем, Анна не знала. Да это ее и не занимало теперь, она давно совершенно спокойно проходила мимо знаменитых огромных окон и даже не пыталась вглядываться в их всегда закрытую туманность. Однажды подумала: «Интересно, их моют? И как?» Это была единственная мысль, которая родилась в связи с этим зданием. Других воспоминаний не возникало.

Когда она подходила к своему жилищу, снова вынуждена была остановиться: на улице стоял мальчик, который пытался дотянуться до яблони, растущей тут же, но на которой еще не было, конечно, плодов. Однако тот белый цвет, что уже охватил многие деревья в городе, отметил и это дерево. Мальчик не замечал женщины, и ей вдруг стало интересно, дотянется ли он или нет. Но тот делал усилия тщетно, и ветка не поддавалась. Тогда Анна подошла ближе и спросила:

- За веткой тянешься? Так яблочек еще нет!
- А-а, это я так, хочу маме отнести. Ветка красивая.
- Пока несешь, цветки облетят.
- А я дышать не буду.

- Может, не надо? Обождешь? Скоро уже.
- Тетя, я так хочу маме подарить, она обрадуется.
- Может, и так, но стоит ли?
- А мы только одну веточку, ладно?
- На, держи, – сказала Анна, отламывая небольшую, отдельно растущую ветку малышу.
- А чего ты один на улице-то? Вечер, однако...
- Да, а вы в какой квартире живете?

Анна подумала и механически ответила, что номер, кажется забыла.

- На самом верху, там и номера-то нет.
- А, я знаю, мама не разрешает мне туда ходить.
- И что же, ты слушаешься?
- Не всегда, – был правдивый ответ ребенка.

Женщина открыла вечно незапирающуюся дверь, придержала, чтобы вошел мальчишка, и стала подниматься вверх. Иногда она останавливалась и переводила дыхание: сердце стало беспокоить уже давно. На третьем этаже мальчик словно замер, посмотрел на Анну и почему-то сказал: «А я про вас знаю». Сказал и тут же открылась дверь, на пороге появилась встревоженная женщина, недружелюбно взглянула на Анну и громко отчитала ребенка: «Где ты ходишь, час целый тебя нет!» Он в ответ протянул ей ветку, она недоуменно взглянула на нее, однако взяла, впустила сына и хлопнула дверь.

Миновав пятый этаж, Анна посмотрела наверх и поняла по неплотно закрытой двери, что соседи ее дома. Это обстоятельство не вызвало в женщине никаких эмоций: ну, есть, так есть. Она потянула на себя дверь, услышала скрежетание ножа Киша, затем – как на замороженной кухне гремит кастрюлей Неля, и поняла, что можно расслабиться и лечь. Есть не хотелось, хотя за весь день она съела один бутерброд да выпила грамм сто водки.

И только уж лежа на своем раздолбанном диванчике, она почувствовала, что голодна. В ту же минуту занавеску отдернули и на пороге появилась Неля.

– Есть будешь? Опять пила? – спросила женщина, вытирая о тряпку руки и пристально глядя на Анну. – У меня сегодня праздничный стол. Ужин, в смысле. Борщ! – воскликнула она и подняла вверх палец. Так она поступала всегда, когда ей что-то особенно удавалось. – Борщ, самый настоящий, со свеклой и капустой, со всеми пользительными делами. Как их там?..

– Ингредиентами, – дополнила речь Нели Анна и почти не пошевелилась.

- Ты чего, совсем хреново? – спросила Неля.
- Да так, как обычно, в общем. Ломит, это да.
- Все твоя водка. Не пила бы! Совсем дошла. Идем есть. А хочешь, сюда притащу?
- Да нет, дойду уж.
- Ну, давай, жду. Слышь, запах какой? Небось, три месяца такого запаха не было.

Анна тяжело поднялась, поправила привычным жестом волосы, сняла свой пиджак и вдруг подумала, что зеркала в ее комнате нет. Но и это обстоятельство не расстроило ее, напротив, она даже приободрилась: кто ж захочет смотреть на себя страшного?!

Она проковыляла на их общую кухню, где за колченогим столом уже сидел Киш и взмахом руки приветствовал соседку.

– Давай, подсаживайся, горячего сто лет как не было.

Анна молча придвинула к себе тарелку с борщом и вдруг уронила голову на руки, едва не задев тарелку.

– Ань, ты чего? Ну, совсем, Киш, гляди, она совсем дошла. Да ее к врачу надо, в больничку бы положить.

- Ей бросить кое-что надо, и все придет в норму.
- Ань, чего ты, дать что? Да у нас и нет ничего, один корвалол, сейчас погляжу. – Она выскочила из-за стола и стала шарить по двум ящичкам, стоящим тут же. Наконец выпал, едва не разбившись, маленький темный пузырек, и Неля, схватив его, стала отсчи-

тывать тридцать капель. Досчитала только до двадцати шести, и лекарство закончилось. Протянула рюмку Анне, дала запить, но строго сказала, что из-за стола не отпустит, пока Аня не поест по-настоящему.

Пришлось подчиниться и все выполнить, включая и капли, и борщ, и большой кусок хлеба. Еда, да еще горячая к тому же, так разморила женщину, что она, поблагодарив хозяйку, снова еле-еле добрела до своего топчанчика и тяжело села. Посмотрела вокруг, убедилась, что нового ничего не прибавилось, услышала негромкое пререкание соседней, которые вечно спорили, кто должен сегодня убирать посуду, и не заметила, как повалилась в постель и уснула.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ ВОСПОМИНАНИЕ

Маленькая птичка, которая, как оказалось, умела разговаривать, не испугалась, не отлетела в сторону, а прильнула рядом. Только оглянулась, словно убеждаясь, что вода, ее ровное пространство рядом, и успокоилась. Женщина все не решалась подойти ближе, она не хотела испугать маленькое храброе существо. Но вот что удивительно: птица сама приблизилась и что-то стала отщелкивать на своем птичьем языке. Одно слово поняла женщина – впереди! Что было впереди? Да и было ли вообще? Но почему-то поверить птичке очень хотелось, тем более что воду начал обступать со всех сторон плотный дымчатого цвета туман. Надо было уходить, потому что дорога и так была запутанной.

Сон, конечно, был тяжелым и не принес облегчения. Анна даже забыла, видела ли она в последние годы сны, так забрала ее эта скверная жизнь. Все, что произошло около четырех лет назад и было почти сном, сном, который она продолжала и продолжала смотреть наяву. За годы она свыклась со своей новой жизнью, но то, что было и что послужило поводом, толчком для такого разворота событий, действительно напоминало сон, страшный и зловещий.

Только иногда, редко-редко она позволяла себе обернуться к прошлому и попытаться еще раз вспомнить последние дни, когда видела Олега, свою дочь Пелагею и то мерзкое известие, к которому не была готова и к которому вообще быть готовым невозможно. Но она научилась, давно уже научилась не перебирать в памяти отдельные детали случившегося, не останавливаться на подробностях и не вглядываться в образы дорогих когда-то людей. Она и впрямь стерла из памяти почти все. И неожиданное охлаждение Олега, которое, как выяснилось, не было таким уж внезапным, и его в конечном итоге бегство из страны, и то, как она

оказалась в квартире мужа чужой и лишней. Свою площадь к тому времени она отдала соседке по своей коммуналке.

Все, как это обычно бывает, случилось сразу и неожиданно. Это потом, перебирая последовательность происходящих событий, поступки своих родных, она убедилась, как была незряча, как не замечала вещей очевидных и смущающих. Она жила, любила, работала и... бесконечно верила, что так будет продолжаться вечно.

Однако полетело все сразу: любовь, театр, нарушение обязательств, предательство Олега, смерть его матери за два месяца до всех напастей — словом, все!

Если уж что она и помнила, так это его вороватый взгляд в день, когда он, как и всегда в последнее время, пришел поздно, сразу отправился на кухню, чтобы не встречаться с Аней. А там и произошел этот жуткий разговор, да еще взгляд, который он все отводил и объяснял необходимость отъезда великой научной нуждой, надобностью.

— Да, но при чем тут Пелагея? — только и спросила она.

— Я временно, просто показать ребенку море, а там — там к тебе, куда ж еще?!

И тут она решилась.

— Я, кажется, начинаю догадываться. Та женщина, что обычно берет трубку, ну, когда я звоню на работу... это она? Ты же не просто так все затеял?

— Что ты цепляешься? Я думаю о нас! У тебя поехало на работе, так не дай, чтобы и у меня случилось то же самое.

— Но она, эта женщина, кто она? Она тоже едет? — озарило вдруг Аню.

— Едет. Ну и что? Она одна, что ли? Нас трое едут, и еще четвертый присоединится позже.

— И когда это все решилось? Так быстро и так далеко — Калифорния! Поэтому ты от меня всякие бумаги требовал? А я и не подозревала...

— Ну, что, что ты не знала? Что мне надо ехать и что отъезд неизбежен? Знала!

— Знала я другое: что ты делал все всегда исподтишка. И в Ташкенте, и потом не раз. Но я списывала на занятость, твою большую загруженность. Не знала, даже предположить не могла...

— Аня, Аня, успокойся, ты все не так себе представляешь. Та женщина не имеет ко мне никакого отношения. У нее свой интерес, научный интерес.

— Я вижу только одно: как ты мельчишь сейчас, да и все последнее время. Суетишься, откладываешь разговор. Ты совсем, ну, совсем другой стал.

— Хорошо, и я тебе скажу. Я же знаю, что ты меня не любила, так только поддалась, чтобы спрятаться от собственной любви к этому Льву. Я видел, чувствовал.

— Неправда, все давно прошло, ты отлично это знаешь! Мне нужен был ты, именно ты! А тебе — все мимо! И театр мой, и все, что там случилось. А теперь и домом решил меня добить, отъездом своим. Зачем, скажи, зачем тебе Пелагея, если ты решился менять свою жизнь?

И тут он отвел глаза, схватил чайник, пролил кипяток мимо чашки и снова, как это вообще было ему свойственно, засуетился, уходя от прямого ответа.

— Ты ничего не говоришь о квартире? Я здесь могу оставаться? Ты же знаешь, что свою комнату я давно отдала?

— Вот и зря! — вырвалось у Олега. — Зря!

— Как, так ты и с жильем решил... ты все, выходит, решил?

— Аня, перестань, я вызову тебя, как только смогу. Я пока не знаю толком про эту комнату. Потом, давай потом. Как ты любишь напирать.

Анна отошла, отступила, даже попятилась слегка, затем совсем вышла из комнаты. Что можно было говорить, о чем и зачем, если было понятно, что человек юлит и уходит от прямых ответов?!

Иногда она подолгу лежала с закрытыми глазами и даже не пыталась что-то решать, тем более уж — зате-

вать новую жизнь. На такие романтические вещи не то чтобы не хватало сил, нет, не хватало даже самого маленького желания. Однажды, еще давно, когда только познакомилась с Витькой и Кирой, она все же думала о том, как ее дочка, где она. Но проходило время, надежд не прибавлялось на возможное возвращение ребенка, и стало постепенно пониматься, что что-то в плане Олега было страшное и зловещее. Что он так хорошо все рассчитал и обдумал, что никакого промаха в его расчетах не было. Осечки в его дотошном выскабливании ситуации, будущего не было. Если первый год он хоть как-то проявлялся, то впоследствии произошло и вовсе странное: ни на письма Анины, ни на попытки связаться с ним через коллег реакции не было. Она ходила даже на работу и вот там-то убедилась окончательно, что все это время муж обманывал ее: никто в составе группы из четырех человек ни в какую Калифорнию не полетел, а Олег незадолго до отъезда вовсе уволился с работы, и никто о нем ничего не знал. Так, слышали кое-что, но ясной картины не было. Она даже подумала, как это ему удалось сделать, повернуть такое, коль он и не работал даже. Может, вообще из другого места был отправлен? Но не наводить же справки через органы!

Поначалу ее не беспокоили из разных там ЖЭКов, служб городских, но потом повадились выспрашивать, почему, на каких основаниях живет тут, где муж, что да как. И в какой-то визит уверенно дали понять, что если сама не съедет, то ей помогут это сделать. К тому времени у Анны уже не было работы, так ей пригрозили еще и тунеядство припаять.

Однако время шло, перемен не предвиделось, известий от Олега не было по-прежнему, и все же однажды она обратилась в высокие органы, чтобы ей помогли узнать его местонахождение. Так и сказала в бюро пропусков, что по важному личному делу. Ее приняли, и на этой встрече она окончательно поняла, что ее просто обманули: дочь увезли, украли, можно сказать, а сам Олег скрывается. Что же до Калифорнии, то над

ней просто посмеялись: ни в какую такую страну в годы, которые совсем не отмечены были свободным перемещением граждан по миру, такое просто было невозможно. Посоветовали забыть. Про все! Она только спросила: «И про дочь тоже?» Человек со смешной фамилией Скворода внимательно посмотрел на нее и молча кивнул. Потом добавил, что все еще может измениться, вообще в мире измениться. «Придет, вот увидите, придет еще ваше время. Не век же таким, как ваш муж, уворачиваться от всего. Обратитесь в Верховный Совет, может, там окажут содействие?»

Анна смотрела на высокого спокойного человека и думала, конечно, не об Олеге, а только о своей дочке, о том, что готова была ехать куда угодно, лишь бы встретиться с ней.

— И потом, у вас сложное положение — вы не работаете. Почему? Возраст позволяет, образование есть. Неужели только артисткой хотите?

— Не в буфет же мне идти!

— Жизнь заставит, так и в буфет пойдете. И еще куда угодно. Вы даже не представляете, что жизнь с людьми делает. Не зарекайтесь!

Как в воду смотрел! Что только не наделала эта жизнь с Анной! Чего только не замутила!

Сначала она, и правда, пошла в столовую, чтобы устроиться хотя бы кем-то. В театр не посмела: гордость не позволила после больших ролей, да после Катарины, тем более, спускаться куда-то в костюмеры или еще ниже — в бутафорский цех, пошивочный. Да и сама ситуация сложилась таким образом, что ни о каком дальнейшем пребывании в театре не могло быть и речи: так все было серьезно. Какие уж там бутафоры?!

И пошла Анна по совету соседки в ближайшую столовую. Там ее взяли, велели мыть посуду, убирать, мыть полы, а потом и вовсе поручений прибавилось, да не самого безопасного толка. Обязали ее, именно ее почему-то, считать деньги, те, что оставались в кассе после закрытия столовой. Сначала так, вроде бы случайно,

мол, помочь надо, а потом и вовсе запрягли, вменили чуть ли не в обязанность. Все об Анне поняли: и что честная, и что ничего не возьмет чужого, и что грамотная. А остальное приписать или не досчитать можно было и самим. Словом, хорошо подставили ее. Дело дошло и до суда и грозило вообще закончиться отнюдь не в городе Ленинграде, а где подальше, но помог случай выбраться из страшной ситуации.

После суда, где директора столовой осудили, а Анне грозил тоже, хоть и небольшой, но срок, подошел к ней неказистого вида мужчина и попросил выслушать его. Анна поначалу недоверчиво отнеслась к такому неожиданному предложению, однако приостановилась и посмотрела на человека. Преступника вроде не напоминал, на вора тоже не похож был. Но было все же в его внешности нечто такое, что не говорило о его значительности или руководящей должности. Какой-то он был неказистый, как и его пиджачок, и странный головной убор.

Он наклонился осторожно к Анне и заговорил.

— Видите ли, да не пугайтесь вы так... Сразу понятно, что вы в социуме цыпленок.

— Я слушаю. Что вы хотите?

— Да ничего особенного. Помочь хочу, вижу, что вам такое припаять могут! А я — адвокат, хотя и не при делах сейчас, но все же... Грамотный, знаете ли, адвокат. Хожу вот, наблюдаю, как простых, не разбирающихся в тайнописях юриспруденции граждан дурят. Надувают как. И хочу дать вам ценный совет. Не так уж вы признавайтесь во всем, нет ведь никаких данных против вас, это все на дурочку, так сказать, делается.

— На что?

— Да, да, на дурочку. А вы и есть... — Он не досказал своей фразы, как Анна повернулась и собралась уйти.

— Да не обижайтесь вы, это такое выражение, к вам оно имеет отношение косвенно. Словом, помочь вам

хочу. Иначе с вашей честностью и воспитанием вляпаетесь, как пить дать — вляпаетесь.

— И что же я должна делать?

— А ничего, точно выполнять, что буду говорить, как вести себя, что отрицать, что подтверждать. Никакой отсебятины! Здесь же шакалы! И даже не в суде, а в вашем общепите. Они такое прошли! И как вас только угораздило там оказаться?!

Анна все еще не могла принять такие советы и такой способ помощи, но постепенно, как стала видеть, что человек ее не преследует, а действительно дает советы, разбирает каждый эпизод, анализирует, подсказывает и убеждает, стала запоминать его слова, советы, стала, наконец, склоняться к тому, что он действительно хочет ей помочь. И, может быть, даже потому в большей степени, чтобы самому не утратить квалификацию. Но не все же, и в самом деле, берут за все подряд деньги!

Тактика ее на суде, в ходе предварительных бесед изменилась, она стала походить не на глупую курицу, которую провели, а на человека, отлично осознающего суть происшедшего. Более того, постепенно она превратилась из обвиняемой, пособницы, в человека, отлично владеющего ситуацией, проставляющей верно акценты, отрицающей малейшую связь с преступниками. Да и сам срок ее работы говорил в ее пользу: сделаться матерой преступницей за четыре месяца вряд ли непосвященному человеку удастся — это и в суде понимали.

Так, осторожно, но вместе с тем убедительно и логично Анне удалось освободиться от всех нелепых обвинений в свой адрес. Ее не просто отпустили с миром, но сняли все возможные обвинения.

Однако это было только началом ее терзаний. Без работы, без семьи, фактически без друзей, она осталась совершенно без всякой помощи. Адвокат был таким истовым профессионалом, что его больше волновали судебные иски, дела, повороты в событиях, нежели женщины и просто человеческие отношения. Он исчез

сразу же после завершения всей судебной истории. Но появился, однако, совершенно неожиданно снова и уже совсем в другой роли.

Прошло полтора года с момента, когда начались непредвиденные мытарства и неприятности Анны. Не в один день она опустилась до того, что пошла «на точку» за мелочью. Но, оставшись без жилья, без поддержки, без средств к существованию, она и жизнь свою двинула по новым рельсам, уже не очень держась за поручни прекрасного прошлого, а где настоящее выставило кулаки, оскалилось и грозило стать еще страшнее и ужаснее!

Однажды она проходила сквозь одну из арок в ленинградском дворике в центре и наткнулась на стоящую парочку, цедившую из бутылки. Они не среагировали на шедшего человека, никак не забеспокоились, и было понятно, что дело это для них вполне привычное. Анна бросила равнодушный взгляд на них и вдруг остановилась: в мужчине, держащем бутылку, она признала своего давнего знакомого адвоката. Он тоже отвел сосуд с горячительным напитком, внимательно посмотрел на женщину и вдруг весело сказал: «А, это вы?! Здорово! Вот и свиделись. Вот вам и социум. Присоединяйтесь!» Анна сначала даже слегка отпрянула, так неожиданно было для нее все: и старый знакомый в подворотне, держащий бутылку, и его приглашение, и главное то, что никакого чувства протеста это приглашение не вызвало. Она подошла, молча постояла, а потом приняла предложение отведать «энергетический напиток», как выразился адвокат. Анна так и стояла какое-то время, не произнося ни слова, но все же протянула руку, подержала «энергетическую» жидкость и поднесла ее к губам. В этот самый момент адвокат засмеялся еще заразительнее, даже вызывающе, даже похлопал в ладоши и сказал, наконец: «Смелей, смелей, мой ученик, я — чуть ли не Мефистофель. Вперед, на новую дорогу!»

Анна едва не подавилась от таких слов, во всяком случае бутылку оторвала ото рта и протянула стоящей

безмолвно женщине. А адвокат все не мог остановиться, все смеялся и бросал обрывочные фразы: «Вот судьба, вот что сотворяет, вот это встреча! Я и имя ваше помню, хорошее имя, крепкое, да и отчество — под стать. Да и вы сами, ха-ха-ха! Только вместе нам, видно, теперь. Вот судьба-злодейка, вот жизнь!» Так приговаривал развеселившийся мужчина, и было заметно, как водка разобрала его, как нехорошо сказались на нем прошедшие полтора почти года, как он весь исхудал, изменился и превратился почти что в пугало. Однако в речи его все же проскальзывали человеческие обороты, восклицания, которые выдавали в нем когда-то образованного человека. Главное, однако, что он оставался таким же, судя по всему, добрым. И тогда помог, не кичился своим адвокатским званием, и теперь в жизнь хорошую приглашает, далекую от адвокатской практики. Что ж, он все равно оставался смешливым и заботливым. Вот, предложил же Анне выход — выпивку! Да только что это был за выход и куда?

«Что ж такое у самого стряслось, если так опустилась?» — успела подумать Анна, которая в ту пору еще задавалась вопросами, еще надеялась на ответы, еще верила в справедливость. А он, словно прочел вопрос и так же весело ответил: «Видите, как жизнь поступает? Был кем-то, а стал... Тоже, знаете, обстоятельства. Нехорошие», — поморщился он. — «Интересно, как его имя, совсем забыла».

— Вы, кажется, Виктор?

— Есть такое дело, Виктор, да еще Петрович. Как, забыли, совсем забыли? Ничего, все объяснимо.

— Жаль, жаль, что так вышло.

— Да как вышло-то? Жизнь так и делает, ну, дело свое делает: то вверх, в гору, то с горки, прямо на салазках.

— Салазки у вас, видно, скорые попались.

— Это точно! Реактивные!

Почему-то он не стал прикладываться больше к бутылке: чувствовалось, что ему словно неловко стало:

за эту ситуацию, за свой вид, главное — за то, что с ним сделала жизнь!

Анна предложила: «А никуда не ходите? Ну, здесь, в основном? Тут же скверик неподалеку!» — «Знаем, знаем, но территория поделена, нам туда запрещено!» — «Это как же?» — «А вот так, Анна Васильевна, после поймете. А сейчас — без вопросов, и так туго». На этом разговор иссяк, и Анна решила, что пора двигаться дальше. И снова Виктор упредил ее: «Да не спешите вы так, по стойте. Чего брезговать? Так, значит, жизнь распорядилась!»

Анна помедлила, но бутылку больше не брала, стояла и смотрела, слушала. Она обратила внимание на то, что женщина, упрямо молчавшая, не особенно вникала в разговор. Ее отрешенность, какая-то отключенность даже от происходящего наводили на грустные мысли. Неужели все так плохо и настолько, что жизнь со всем ее цветущим маем перестала ее интересовать?

Пустую бутылку, которую все же как-то допили по очереди, отнесли к самой арке, от себя подальше. И так поступали и потом. С чем такой ритуал был связан, Анна не сразу поняла, только догадалась, что это неспроста, что, наверное, не хотят, чтобы бутылку связывали с ними. «Надо же, не стеснясь пьют, а посуду не хотят, чтобы видели рядом. Странно».

— А живете где? Квартира есть или комната? — спросил Виктор.

— Скоро на улице стану жить, выгоняют.

— Не странно ли, что нас жизнь сводит тогда, когда у вас начинаются самые что ни на есть серьезные проблемы?

— Может быть.

— И кто такой нехороший?

— Да-а, ЖЭКи, еще другие там...

— Понятно, этих других хуже суда: не перешибешь!

— Точно. Вот, выселять будут.

— И куда же вы?

— А никуда.

— Погодите, знаю я, куда вас пристроить в случае чего.

— Да?

— Да! Есть у меня одно семейство на крайний случай. Я ж теперь не практикую, но подсказать и здесь подскажу.

— Поздно, машина завертелась, вещи даже сложила, со дня на день придут.

— Так, не волноваться, сохранять хладнокровие. У вас как с хладнокровием?

— Лишь бы зима не скоро, чтобы совсем не заходить.

— Не допустим!

И вдруг молчавшая почти все время женщина сказала: «А запах чувствуете? У нас сплошные предприятия, там не до весны. А здесь — вон оно!..»

Такая сложная длинная фраза, наверное, утомила ее саму, потому что она сразу сникла, и уже даже весна перестала ее интересовать. Анна оглянулась, потянула носом воздух и сообразила, что и впрямь весна, что тянет, откуда-то тянет свежестью и чем-то таким, что случается только в эту пору.

И верно, именно Виктор навел ее на ветхий убогий чердачок, где уже не первый год проживали два человека, муж и жена. Когда она перешагнула порог их жилища, втянула запах, что был совсем непохожим ни на какие другие, что поселялись в квартирах, обвела взглядом территорию их жизни и, наконец, уловила в этих вовсе не отчаявшихся людях что-то очень симпатичное, то поняла: не все, наверное, еще потеряно. А что же именно — этого понять не могла, как и добавить того, отчего эта парочка оказалась ближе тех, к кому можно было бы обратиться еще совсем недавно. Нет, теперь понятное дело, теперь ясно: из театра — ни-ни, ни к кому! Чтоб ее увидели такую?! Да нет, это невозможно! А вот здесь оказалось возможным. И она снова, в который уже раз за последние годы, почувствовала, что жизнь не совсем оставила ее, что, даст Бог, и отступит то страшное, во что она медленно и

неотвратно погружалась все время. Про театр вспоминать было просто не в состоянии, она все еще надеялась, что настанет день, когда она сможет без содрогания вспомнить все то, что ей довелось пережить там и что заставило изменить жизнь окончательно. Но это — потом, совсем потом. Теперь же, день за днем — такое горькое существование. Горькое? Кто ж его знает! Она и не анализировала, какое именно, жила себе и жила. Иногда, совсем редко думала, что никакая это не жизнь, а так, ожидание конца: жизни, света, чего угодно, только не истинная жизнь, когда ждешь каждого последующего дня сильнее предыдущего, когда и сам этот наступивший день чего-то, да стоит. Нет, все сместилось, поехало, и не было уже никакого дела до того, чем пахнет эта жизнь, с ее ежедневным напоминанием о себе со всеми прелестями смены времен года, погод, ветра и атмосферного давления.

Когда она только познакомилась с парой, все не могла взять в толк, отчего это они-то оказались на улице, без жилья? Но так стали постепенно складываться отношения, что вопросы задавать было нехорошо, лишними были вопросы, а самой понять причину воображение не помогало. Рукастые, не воры, что-то все время делали, куда-то отдавали эти палки, что мастерил Николай. Что-то все хлопотали, вели отнюдь не праздный образ жизни, но почему, почему здесь, в таких условиях?!

Так, однако, Анна подумала всего пару раз. Уже к тому времени мытарств, лишений, обманов, предательства скопилось так много, что анализ сам собой стал уступать место простейшему действию психологического порядка: принятию всего того, что совершалось с ней ежедневно, от чего невозможно было заслониться, да и не нужно, в конце концов! Этот поступательный ход жизни был принят ею окончательно, она не протестовала, не сопротивлялась, не задавала лишних вопросов — жила и жила себе.

Так, ее познакомили с людьми, которые распоряжались «точками». От которых зависело, сколько

она заработает и не сгонят ли ее с очередного места достаточно скоро, чтобы стоять на улице и в дождь, и в холод.

Сначала, как водится, проверяли: все ли, как и договорено было, отдает, тот ли процент. Здесь, в новых условиях полукриминального мира, действовали свои законы. Кто там что делал наверху, ей никогда было не понять, не добраться до их страшных высот. Давали заработать копейку — и ладно.

Словом, жила. Другое дело, что такой образ жизни вонзался настолько глубоко, что сам отбивал охоту думать, соображать, что-то доказывать, одним словом, мыслить. А значит, и анализировать. Вот и покатались денечки без анализа, без особых мыслительных усилий, без проблеска надежды. А уж почва, почва была подготовлена заранее всем ходом и семейных, и театральных событий.

Это, конечно, была одна иллюзия — что есть свобода ото всего! Никакой такой свободы не было и быть не могло. И депрессуха, и вечное унижение с этими точками, и отчеты перед «старшим», и вживание в новую «точку». Да и о какой свободе можно было говорить, если действовал один волчий закон: да, не пропадешь, но какой ценой! Ни тебе личность, ни ее проявления — ничего этого не учитывалось и в расчет не бралось. Кажущаяся безответственность и вольное существование было, на самом деле, весьма продуманным ограничением и западней. Ты просто обманывал сам себя: ах, да, я — вне этого общества, не подчиняюсь и не служу ему. Но! Но были свои большие сложности и в этой несвободе, которую и жизнью-то не назовешь. И там царил волчий закон: ты — мне, я — тебе. Все измерялось заработком, деньгами. Уважение отсутствовало как класс! Это было первое откровение Анны. В мире, в котором она теперь жила, не было места уважению, вот оно что. Все, что угодно, только не это.

Но малу-помалу пришлось принять и это. И так жить. Она, например, стала постепенно вливаться в мир

этих двух, вечно мастеровивших что-то, порой материвших друг друга людей. Даже ждала, когда появятся, когда услышит звук скребка, выгачивающего палку. Оставалось загадкой, куда же сбывал, кому относил эти чисто поструганные красивые палки глава их странного семейства. Но это ее мало заботило. Главное, что можно было лечь и продолжать ни о чем не думать. Может, ей только казалось, что она ни о чем не думает? Может, это тоже был один из миражей ее нынешней жизни? Не мантры же она читала, в конце концов, оставаясь наедине с собой?!

Не мантры, да, но занимало ее другое. Например, она перебирала людей, с которыми встречалась, их манеру говорить, смотреть. Отворачиваться или, наоборот, пристально ее рассматривать. Они были ее настоящие и единственные собеседники, кто, не зная ни ее истории, ни ее самой, все же пытались оставаться людьми. Не все, естественно. Кто бранил, насмешничал, говорил, что молодая и с руками, с ногами, чтоб милостыню просить, обманывать народ. Всякое говорили. Но такого, чтоб уж намертво обидеть, оскорбить, — нет, такого, пожалуй, не было.

Она не оценивала время года, тот же пахучий май, который наступал в своем агрессивном цветении, хорошо это или плохо: принимала как данность, и все. Но могла, однако, отметить и необычный запах улиц, и то необычное выражение лиц граждан, которые не давали сомневаться: это, и правда, была весна.

Когда-то, еще в Ташкенте, Анна особенно любила эту пору, когда уже все зеленое было таким ярким и насыщенным, что странным было даже предположение о том, что когда-то приходил черед осени и все меняло свою окраску. Тот дом на Первомайской она помнила всегда, даже отказав памяти вторгаться в ее новый уклад и распорядок жизни. Там были особенные деревья, почему-то заполонившие весь двор. И когда они со Львом пробирались к заветной калитке, то приходилось в одном месте даже приподнимать ветви, чтоб попасть в дом.

Но это было в другой жизни, ход в которую был закрыт, замурован, просто отсутствовал. Здесь же царили другие обычаи, возникали другие привычки и приходилось принимать то, что называлось жизнью, без всяких оговорок. Нравится — нет, ничего не попишешь: живи! А май все равно цвел, и это было замечательно.

Вечером, когда она пришла после «работы» и встречи со своими товарищами в известной подворотне, ее ждал сюрприз. Она поняла это не сразу, а уже оказавшись на общей кухне. Жена Киша — Неля поднесла к Аниному лицу конверт и помахала им перед ее носом. Нет, письма явно неоткуда было ждать, да и кто мог знать, где она, с кем? И, словно уловив ее мысли, Неля сказала, что им пришла бумага, и она даже назвала, откуда эта важная бумага. В ней говорилось, что семье Некрасовых (такова была фамилия пары, у которой квартировала Анна) выделяют комнату. Анна держала в руках конверт из высокой инстанции и понимала, что с радостью этих людей исчезнет тот быт, уклад, тот образ жизни, к которому она уже привыкла. Исчезнут люди, которые за эти полтора года тоже стали для нее почти родными. Анна, конечно, не мыслила в таких выражениях все то, что ее поджидало, она только понимала, что что-то непременно должно сломаться, что того, что было, уже не будет. И что, в конце концов, совсем неизвестно, что станет с нею и куда снова ей деваться. Однако это грустное для нее обстоятельство вовсе не испортило общий настрой радостного ожидания. Напротив, хозяева стали говорить о справедливости, которая и должна была наступить и вот все же наступила.

— Анют, ты как, тут останешься хозяйствовать? — так глубокомысленно спросил ее Киш.

— Да кто его знает? — ответила Анна. — Не знаю пока. Может, выгонят.

— Да кто посмеет? Пусть только тронут! — расхрабрился мужчина, вероятно, думая уже совсем не об Анне, а о чем-то своем.

— Тронут! Они мо-о-гут! — протянула Неля и при этом сделала такое лицо, какое у нее обычно бывало, если она о чем-то важном задумывалась. Так случилось, например, когда ее Киш возвращался после реализации своих палок не с той выручкой, на какую она рассчитывала, или если течь с потолка, к примеру, совсем не давала житья, а починить не было ни сил, ни желаний. И теперь ее лицо напоминало плохо пропеченный картофель, так оно было смято и скособочено.

Не-а, не тронут, — бросил вызов Киш. — Не посмеют. Выходит, человеку, как и при Горьком, и деться некуда? И он еще звучит гордо? Только и делов, что звучит.

— Да помолчи ты. Тут думать надо, — сказала жена Киша, при этом потирая свое странно перекошенное лицо и поправляя по старой своей привычке воротник синего халата.

Анна подумала, что в этой квартире синий цвет вообще-то не случайный. Синими были обои, синего цвета рубашку носил хозяин ночлежки, синими были кастрюля и кружка и даже ведро, наполненное водой, тоже было синего цвета. И вот такой же синий воротничок от халата, который вообще-то давно потерял какой-либо цвет вообще, пыталась поправлять женщина.

«Какая она странная все же», — неожиданно для себя вдруг решила Анна. Хотя никогда прежде до этого не занималась никаким анализом: ни внешности своих хозяев, ни их поступков, а уж одежды — тем более.

И вдруг она подумала, что неспроста этот цвет не только бросается в глаза, но что-то напоминает, как-то тревожит. Почему? И тут же отбросила эту мысль: ничего не хотела вспоминать, такой был зарок. Но мысли, они порой не слушались, не отступали, и некуда было деться от странных видений, которые когда-то были реальностью.

Она легла на свою кушетку или некое подобие ее. Постель была жесткой, и Анна опять некстати подумала, какой была ее кровать и в Ташкенте, и потом, в ее комнатке, и совсем потом, в квартире мужа. Единствен-

ное, за чем она следила по-прежнему, — это была чистота ее спального места. Как ей это удавалось, трудно даже представить, но все же удавалось. Стиркой в этом жилище не очень-то можно было заняться, а те малые суммы, что удавалось скопить, она без всякого сожаления тратила на стирку белья, которое исправно отдавала в прачечную. И всякий раз думала, что вот надо же, в таких почти нечеловеческих условиях она и ее соседи все же стремятся к какому-то мало-мальскому порядку: те тоже с уважением относились к чистоте своих постелей. И Анна не видела, чтобы Киш, строгая свои палки, садился на кровать. Нет, всякий раз он либо очищал их, сидя на корточках, либо в передней — в том помещении, которое могло претендовать так называться. И это было тем более странным, что потолок волновал меньше, его никто так и не собрался починить и как-то устранить течь. Анна иногда, уже засыпая, все же задавалась вопросом, на что они-то рассчитывают? Не век же им жить вот так, в таких условиях? Неужели им не хотелось подлинного уюта и настоящего тепла, достичь которых в этих условиях было невозможно. Теперь же, с получением важной бумаги, все должно было пойти по-другому, что сразу же отразится на жизни Анны. Но она и не смела думать о себе, еще и о том, что станет хуже, непригляднее жизнь. Она просто восприняла эту информацию и сразу успокоилась: хоть кому-то, да станет легче.

И вдруг полоснуло. Как тогда, шесть или пять лет назад, она увидела, да так отчетливо и ясно, словно это было вчера, как этот мерзавец закидывает на крышу дома часы. Вот, вот где ее промашка, вот первая и главная ошибка была: она поддалась на уговоры, пошла вроде бы погулять, а потом... Потом это стало повторяться. Она прогуливалась время от времени с этим отморозком, еще не очень понимая, кто он, что за роль отведена ему в театре и в ее жизни. Говорили, неплохой актер, но как-то озираясь, что ли, неуверенно как-то. Действительно, сыграл пару ролей не самых

главных. Показал, что может легко заучивать текст — и не больше!

Но она! Отношения с Олегом уже были подорваны, уже она начинала понимать, что он принадлежит не одной ей, что они все больше отдаляются друг от друга. И тут — этот новенький. Она к тому времени проработала уже год. Уже сыграла на нее поставленную Катарину, уже получила прекрасную прессу, но искушение познать что-то еще задело и ее. Она просто пошла на прогулку. Это ей так казалось. Это ей казалось, что все невинно и она ни перед кем не виновата. Что можно просто прогуливаться, рассуждая о ролях, о театральном климате, а на самом деле — все больше и больше вползает в жуткий ком, который и отношениями-то назвать было трудно. А, правда, что это было? И действительно было с ней? Как трудно теперь все вспомнить, но отдельные моменты все же всплывают так ярко, и от этого становится еще страшней. Как она могла?! Девушка из прекрасной семьи, как могла она позабыть о чем-то таком важном, что перестала критически воспринимать события, людей, ситуации? Как?

Это было самое жуткое, самое омерзительное в ее жизни, к чему она не смела прикасаться. Только иногда, крайне редко ее настигала волна страха, накрывала с головой, и Анна понимала, что где-то сама совершила промашку, за которую расплачивается теперь самой жизнью. Зачем пошла она на прогулку?

Подступившее воспоминание было сразу отброшено, но, однако, Анна понимала, что со временем оно вернется, снова и снова ее пробьет озноб и закружится голова от чего-то страшного, что навек вошло в ее жизнь и уже никогда, никогда не отступит.

Она прикрыла глаза и сразу увидела картинку. Это было что-то, похожее на сон, только в красках более тусклых и вяло прописанных. Ничего яркого и внятного. Но четко можно было увидеть, как она входит в директорскую ложу, садится на свое привычное место, откуда всегда смотрела спектакли в родном Ташкенте и почему-то там закрывает глаза. И ей слышится го-

лос. Он очень напоминает папин, только уже с хрипотцой, уже без того стального накала и виртуозной гибкости. Оказывается, стареет не сам человек, это уже потом делается танцующей походка, начинают дрожать руки, но прежде всего этого выдает увядание голоса. Именно он становится менее послушным, им все труднее управлять, он тускнеет и, как сам человек, подрагивает, делается все менее уверенным, и начинается старость. Вернее, осознается, что вот она, уже на пороге и ничего не попишешь! Голос, он расскажет обо всем. Он сохраняет тайны, он блистательно озвучивает партию любви, когда она случается, он — свидетельство болезни, он, наконец, почти живое существо в самом человеке. Только более трепетное и опережающее его самого, своего хозяина.

Анна почти не вчитывалась в собственные ощущения. Хорошо ли прошел день, удачным был заработок, хорошие ли попадались люди, хотелось ли есть или все заглушало бульканье бутылочной жидкости в арке ворот, — совсем неважно. Не это определяло порядок жизни. Подумаешь, еда! Можно было обходиться и по два-три дня без нее. Мир после этого становился совсем прозрачным, и начинало казаться, что еще ничего не случилось, что она только сыграла свою Катарину и о ней писали газеты, брали автографы, что веселая майская весна будет и будет продолжаться. А главное — никогда она не пойдет на прогулку с тем страшным человеком, и он не забросит свои часы на крышу.

Последнее, о чем она успела подумать, совсем уже засыпая, это о том, что, может, ничего страшного еще и не случилось? И что это так много сил и энергии отдавать какому-то гаду? Все ведь кончилось, прошло. Уже целых шесть лет как кончилось!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ТО ЛИ СОН, ТО ЛИ ЯВЬ

Нет, похоже, туман, что так настойчиво и неотвратимо накрывал все пространство вокруг, вдруг решил отступить и дать и солнцу выглянуть наконец. Женщина всматривалась в плотность, которую и составлял этот удивительный контраст природы, и думала, что в ней, в природе, не бывает катастроф: так все сбалансировано и подчинено ей одной понятным законам. Ни туманы, ни извержения вулканов, ни ураганы и землетрясения – ничего не страшно для природы, для самого ее естества. Для нее все перечисленное – вовсе не катастрофы, а нормальное развитие ситуаций. Иногда стихийных, что ж поделаешь? Но гармонию вычерпывать большой ложкой можно именно из нее. Такого совершенства и постоянства нет ни в одном жизненном явлении, ни в человеке, ни в искусстве.

Как же хорошо было погружаться в состояние, названия которому все не находилось и не находилось. И так продолжалось уже не один год. То казалось, что сон, глубокий и спокойный, уже наступил и все в нем совершающееся – фантазия, выдумка, сказка. И проснувшись, можно будет запросто отогнать что-то непонравившееся, а оставить лишь самое замечательное.

Но иной раз понималось совсем другое: никакой это был не сон. А так, погружение в иную реальность, где события и даже люди были ярче и реальнее той, что в жизни. И так постепенно Анна начала свыкаться с тем, что такой сложный конгломерат ирреальности, чуда и невымышленной действительности умещаются разом, давая простор одно другому. Что перепутать их вроде невозможно, но вместе с тем после долгих попыток привести все в порядок и разместить по местам, что есть что, оказывалось, что это зряшное занятие, ни к чему не приводящее. Правда, кому это надо, такое разделение?! Есть, и хорошо.

Боль!!! Какая внезапная резкая боль! Ей показалось, что она открыла глаза, но вокруг ничего не было, ровным счетом ничего! Тогда откуда же? Болела голова, стучало в висках, и что-то делалось со зрением. Предметы, едва проступающие, клонились на бок, и было понятно, что с головой и впрямь что-то случилось.

Она потрогала свою голову, попыталась повернуться, и в этот момент все поняла. Это не теперешняя, не сиюминутная боль, это была, скорее, память о боли, о том, что произошло тогда, давно. В маленькой облезлой ванной комнате. И батарее. Они свивались зигзагом в правой стороне, дальше был угол, и вот там-то он ударил ее. Сильно, потом еще и еще, и так продолжалось и продолжалось. Он бил молча по голове, и она отчаянно закрывалась, вернее, пыталась это сделать, но выскользнуть, спрятаться было невозможно: он был слишком разъярен, а помещение было слишком маленьким. Но для ударов хватало.

Потом она помнила, что повалилась на кровать, занимавшую основную часть комнаты, пыталась ничем не выдать своего состояния и думала, все еще могла думать о том, как, каким образом сбежать. Но он навалился, без слов плюхнулся на нее, и свершилось то, что в самых страшных своих снах она не хотела бы видеть. Это была сплошная красная дыра, больше ничего, все мелькало, и только красные языки пламени вылизывали ее стонущую голову, и потом она отключилась. Затем снова открыла глаза, и снова настойчивая мысль о том, что нужно сбежать любым путем, даже если она уже не дышит и ничего не соображает, – все равно сбежать! Она, отодвинув пламя, его красные языки, воспользовалась мгновенной его расслабленностью, вошла в ту же ванну, но дверь не закрыла, а только прихлопнула, затем молниеносно отодвинула задвижку на входной двери и оказалась на лестнице. Второй этаж – это уже ничего, все же не пятый! Пока он там одевался, она сбежала, неживая от страха, вниз и бросилась в сторону дороги. Было совсем темно, и она понимала, что увидеть ее во тьме невозможно. В

ту же минуту остановилась рядом машина, водитель только успел наклонить голову, как Анна рванула дверь и оказалась на сиденьи. «Скорей!» — только и смогла произнести. Он дернул свой мотор, машина помчалась, и Анна успела сказать, что ей надо на Гревцева. Ехать было недолго, всего минут десять от того места, где мерзавец снимал квартиру, но ей показалось, что они добирались бесконечно долго, час или больше. Водитель молчал всю дорогу, только однажды спросил, какой дом. Денег не взял, это Анна вспомнила уже много позднее. Но поблагодарить так и не смогла: ничего не запомнила.

Когда она открывала дверь своим ключом, не смогла все же сделать последнее, заключительное усилие, ключ застрял, и она сползла на пол. Видела бы ее мама! Ее дорогая мама! Или кто-то из родных, ну хоть кто-нибудь! Но никого не было. Вообще никого. Олег давно уехал, дочка была где-то с ним, соседи почему-то не выходили. Обычно они любили покурить на лестнице, а тут их все не было и не было.

Но Ане это все только казалось. На самом деле она этими же соседями была обнаружена, они же вызвали скорую и отправили ее в больницу. Там спросили, что случилось, но это было уже потом, когда она увидела, что рядом люди, что это совсем не ее дом и что случившееся имеет прямое к ней отношение. Она поняла по характерной боли и пропадающим предметам, что с головой все плохо и что, наверное, уже всегда будет плохо.

Но в тот период силы еще были, еще была надежда, что Олег не навсегда покинул ее, свой дом, город, что ее Пелагея непременно вернется и все плохое отступит. Еще была та сила молодости, которая помогла справиться с ситуацией: и с сотрясением мозга, и с синяками на лице, которые врачи называли «симптомом очков» и которые действительно, как очки, светились на ее лице почти две недели.

Приходил не только врач, которому она безуспешно пыталась врать, что упала с лестницы дома и удари-

лась о батарее. По характеру ударов, кровоподтеков медики, конечно же, понимали, что это неправда. А один, Евгений Иванович, большой с бородой дядечка, наклонился к ней как-то и сказал: «Что, выгораживаешь?» Слышала она и то, что хотели вызывать следователя, но помог все тот же Евгений Иванович, который понял, что Аня будет молчать, и дело решил не раздувать. Просто лечил, и все.

Поскольку к тому времени Аня была уже одна, из родственников никого не осталось, то и навещать было почти некому. Прониклась к ней в театре костюмерша тетя Саша, работавшая там чуть ли не полвека. Вот она-то и приходила к Ане, приносила что могла, так как вставать женщине не позволяли и она, что называется, была неходячая больная. Уже потом она узнала, что тетя Саша даже приплачивала санитарке, чтобы та совершала всякий там туалет и чтобы Аня ни в коем случае не поднималась. И действительно, нянечка очень помогала Ане, все делала, даже причесывала. Волосы все еще были длинные и пышные и требовали основательного ухода.

Не поднималась Аня целых десять дней. Потом уже стала понемногу ходить, а еще через две недели отправилась в театр.

А пока приходила удивительная женщина, очень маленького роста, но невероятно сильная, которая не только легко поднимала Аню и усаживала на подушку, не только справлялась с огромным количеством костюмов, но еще имела покладистый характер, ее в театре очень любили.

Из актеров тоже приходила одна дама, весьма пожилая, которая играла к тому времени совсем немного, но в театре бывала чуть ли не ежедневно. А из ровесников Анны почти не было никого: так пожелала сама Аня. Ей, естественно, не хотелось, чтобы ее видели такой, вот они с врачом и решили, что лучше все посещения отменить и сослаться на сложное положение.

Уже много позже, почти перед выпиской заскочила ее приятельница, с которой они вместе сидели в гримерке, Лиза, и прямо с порога ахнула. «Боже мой, так это правда?!» — воскликнула она то ли утвердительно, то ли спрашивая. Аня улыбнулась и в ответ спросила: «Что правда? Что я такая раскрасавица?» Но Лиза как-то отпрянула, видимо, опомнилась, где находится, и уже спокойно присела на край кровати.

— Неужели ты, правда, так упала?

— А что, есть сомнения? — спросила Аня.

— Да уж, не с нашей же люстры ты свалилась!

— Нет, но тоже была высоко.

— Ань, ты, мне кажется, заливаешь.

— Все может быть, что теперь об этом?

— Нет, скажи, всякое говорят.

— Ну и пусть, а ты меньше слушай.

— Говорят, что тетя Вера видела тебя совсем страшную и сказала, что этот тип виноват. Правда?

— Лиз, ты лучше про театр расскажи. Как там? Что нового? Говорят, новую пьесу современного автора берут? Кого же?

— Да то Розова хотят, то Арбузова, то почему-то Володина. Мне ближе Розов. Веселей как-то!

— А что на улице, хорошо?

— Еще бы! Там опять весна. И я снова влюбилась.

Обе засмеялись: каждую весну Лизу уносила любовь. Причем в самом прямом смысле. Именно по этой причине она почти не была занята в репертуаре, ее имя редко можно было встретить на афише театра: она была занята исключительно любовными романами. Однако легкий нрав, беззаботность и еще яркая внешность всякий раз становились преградой на пути режиссера, чтоб совсем с ней распрощаться. Так она и порхала то по жизни, то по сцене, не осознавая, что когда-нибудь, да закончится такая праздная жизнь и придется выбирать между профессией и любовью.

— Анют, ты не представляешь, такого еще не было. Я, правда, влюбилась. Он замечательный. И совсем не из нашей среды.

— И кто же?

— А-а, ты будешь смеяться.

— Нет, ни за что не буду, — уверила Анна. — Скажи!

— Он... он водитель трамвая.

— Что?

Обе снова засмеялись и долго не могли остановиться.

— Да, представляешь, как я с работы, так вечно в его смену попадала. Познакомились. Один раз все остановки проехал, так решил прокатить меня.

— А свидание у вас тоже в трамвае было?

— Что ты! В кафе позвал, мороженым накормил.

Потом неделю горло болело, и на трамвае не ездила.

— А в театр-то ходила?

— Ну, всего два раза. Там и без меня все хорошо. Наш Угрюмов все капризничает, все властвует, говорит, что и без молодых актрис обойдется, если они такие болезненные. На тебя, выходит, намекал.

— Жаль!

— Да ты не тушуйся, ты ж у нас королева! Еще сыграешь. Конечно, это тебе не Катарина, но и в новых есть роли, ничего себе, я на читке была.

— Знаю, я в Ташкенте играла в пьесе Розова. Даже знакомилась потом с ним.

— Да, ты у нас — ого! Не то, что я.

— Глупости, ты просто не те акценты в жизни представляешь.

— Какие там акценты?! Мне любовь повсюду чудится.

— Вот и люби. Но только ...

— Что?

— Больно часто она тебя посещает.

— Ань, ты скоро синим чулком заделаешься. У нас и так в театре все сплошняком синее, да и ты еще чулками засверкаешь.

— Ладно, ладно, не петушись.

— Скоро выйдешь-то?

— Ага, надеюсь. Всем говори, что у меня все хорошо.

— Понятное дело. Это была бы не ты! Лицо у тебя, как после сиреневого грима, так размалевано.

— Ничего, уже почти прошло.
— Ань, ты, правда, навернулась?
— А как же!
— Сомнения у меня.
— А ты не сомневайся. Сама виновата.
— Ты такая хорошая, всегда меня на путь истины направляешь.

— Ой, меня бы кто туда направил!..
— Ладно, скорей от сиреневого избавляйся, читка скоро вторая. Сам Арбузов или Розов, забыла уже, говорят, придет, расскажет о пьесе.

— Пока, не беспокойся за меня.

Когда Лиза вышла из палаты, где лежали еще четыре женщины, Аня закрыла лицо полотенцем и так долго приходила в себя. И устала, и память никак не давала покоя, и вообще... Рядом были женщины с разными историями, у одной, оказавшейся в той же палате, почему-то подозревали непроходимость. Ей было лет семьдесят, маленькая, шустрая такая. Ей запретили есть и пить, но когда подставляли судно, она умудрялась набирать из него влагу и подносить ко рту. Ани на кровать была позади, и она все это видела. Но что она могла поделать? Только однажды сказала, что пить нельзя, на что бабушка резонно заметила, что она и не пьет, а только так, рот смачивает. И что такое не противоречит даже писанию. Так и сказала. Хотела, было, развить тему, но тут пришел врач, заметил хитрость бабульки и строго велел, чтобы та мочилась при санитарке.

Однажды Евгений Иванович задержался в палате. Он спросил неожиданно, так, что Аня растерялась.

— Почему ты решила молчать, можешь сказать?

— Теперь да.

— И?..

— Мне еще работать. Не так поймут.

— Они и так уже не так поймут. Когда-то это отзовется. Вряд ли он на этом остановится.

— Почему?

— Потому что понял, что все сошло с рук. А такие люди обычно действуют. Он отомстит тебе же за твое молчание.

— Чем же?

— Оговором. Как правило, такие слабаки оговаривают.

— Зачем ему это?

— Мечь! Самое сладостное чувство. И сатисфакция. Он даст тебе понять, что не такой слабый, и выставит тебя распутницей. Напрасно ты. Только сначала было бы тяжело. Но он получил бы по заслугам. А теперь ты заработала две проблемы.

— Что за проблемы? Боль?

— Боль — не самая страшная из них. Она, к сожалению, может сработать позже, дать о себе знать. Само сотрясение. И еще самое главное. Понимаешь?

— Что, память?

— Да, с этим предстоит жить. А это непросто. Вся надежда на твою молодость. Ты должна выстоять и выдержать. И оговоры, и косые взгляды, и возможную впоследствии мечь, и еще многое.

— Так говорил со мной только один человек.

— Кто же?

— Мой отец.

— Он жив?

— Умер год назад.

— Ну, девочка, мужайся, у тебя все еще впереди. И хорошее, и страшное. Все надо протопать, все пережить. Только тогда складывается характер.

— Понимаю.

— Да, ты умница. Крепкая. Дай Бог, чтобы все обошлось. В будущем.

— Да, согласна.

— Еще бы!

Евгений Иванович ушел, и этот короткий разговор Аня запомнила навсегда. И потому что врач оказался прав, и еще потому, что наступило это «последствие», напомнившее о себе болью, страхом, раскаянием. Зачем она пошла прогуляться? Зачем?!

Когда она взошла на знаменитое крыльцо, а потом уже проходила знакомым коридором, чтобы попасть в гримерку, то ее полоснула мысль: неужто и правда, все в этом театре синего цвета? И еще немного, она тоже сделается синим чулком. Лицо уже синим было. А вот что до состояния души — пожалуй, еще нет. «Ни за что, ни за что, нет, никакого чулка, — кричало внутри Анны. — Никогда!»

ГЛАВА ПЯТАЯ ПУЛЯ В СЕРДЦЕ

Птица летела как-то неровно, то падая или словно падая вниз, то снова вспархивала вверх, и казалось, что этот полет вот-вот закончится: так он был скор и трагичен. И вдруг женщину, следившую за движениями птицы, словно полоснуло что-то резкое и колючее, похожее на металл. Только, как оказалось, совсем не ее, а именно летящую, уже почти что падающую летунью. Это ее кто-то успел полоснуть, потому что послышался и выстрел, и что-то похожее на крик. Это в птицу метили и не промахнулись, не в женщину. Летунья теряла высоту, слабела и, чудилось, вот-вот рухнет на землю. Наверное, ей казалось, что пуля тоже чем-то напоминает полет, ее полет, а пуле... Да что, в самом деле, могло показаться пуле?! Что она тоже птица? Так и сошлись, одна в другой, и летели, не ведая, что это конец.

Аня осмотрелась и поняла, что не ошиблась: и портьеры, и даже обивка мягкой мебели в курилке были густого синего цвета. Она присела на край дивана, откинулась, благо, никого не было, и снова ей вспомнился совсем другой театр, другая курилка и цвет, он тоже был отнюдь не синий. А какой? Что-то похожее на малиновый. Да, кажется, так. И как же любили там собираться актеры! Даже те, которым вовсе и не надо было выходить на сцену. Было это такое притягательное место, которое ни миновать, ни пройти мимо которого было почти невозможным. Притягательное! Что еще скажешь? Там не только курили, но играли в шахматы-шашки, просто молчали, смотрели куда-то поверх себя, вперед, где совсем рядом был выход на сцену. И это оставалось загадкой, тайной: как это актеры, так и наровившие съюморить, позлословить, похохмить, могли проделывать это тихо, так, что ни один шепоток не долетал до сцены? Таинственное все же это занятие — актерство. Можно любить и ненавидеть, не восприни-

мать всерьез многих и многих, но сама сцена, сам выход к ней были высланы самыми добрыми помыслами и намерениями и надеждами. Высланы, в самом деле!

На сцене забывалось все плохое: болезни, вражда, нелюбовь или, напротив, любовь. Люди преображались и становились немного иными, не такими, как в обычной жизни. Они словно принимали какой-то очищающий душ, причем все без исключения! Все! Крошечный проход от курилки до сцены, всего-то каких-нибудь десять шагов, а человек становился другим. Преображалось его лицо, другой становилась походка, что-то происходило со спиной, с осанкой. Шаг, его длина и ритм тоже менялись в зависимости от того, что требовалось по роли. Она однажды наблюдала, как актер, которого недолюбливали в театре, имеющий странно высокий для мужика голос, ходивший как-то по-утиному что ли, вдруг на глазах плотнел, делался внушительнее, голос наполнялся более низкими обертонами, приобретая мягкость и округлость, и все, этот Русинчик становился полной самому себе противоположностью. В этом актере такое преображение было особенно заметно именно потому, что в жизни он был и слабоват, и вял, и голос этот странный какой-то. Сцена же наполняла его новым содержанием, новым смыслом. И это всегда повергало Анну едва ли не в шок. Надо же, такой визглявенький, неприметный, вечно под каблуком у своей Зинки, он становился красивым и убедительным на сцене. Как это получалось? Что для этого требовалось? Только любовь к профессии? Или что-то такое еще, что не описано ни в одном учебнике, что даже сам Станиславский не смог бы предположить и сформулировать. Это тот зазор, который есть всегда у актера, каким бы он ни был в жизни, это то потаенное, что известно ему одному и что выручает, спасает всегда. Если артист действительно одарен, то такой зазор очень отчетлив, он говорит об отношении к роли, к материалу, который играется. Именно по этой причине не додушивает Отелло свою Дездемону, именно

потому не до конца схватываются в непримиримой дуэли мать и сын в «Чайке» Чехова. Остается зазор, который диктует и как распорядиться ролью, и что извлечь из нее, и как, на самом деле, обернуть дело таким образом, чтобы вера в него, становящегося другим лицом, персонажем, была бы безоговорочной. Хотя нет. Как безоговорочной? Зритель не такой дурак, он тоже способен видеть этот зазор, наблюдать за ним, идти путем, предложенным артистом, до конца. Он ведь тоже понимает неправдашность убийства Дездемоны, однако верит в то, что такое было бы возможно! Что так могло бы быть! И это самое главное условие понимания и зрителя, и актера. То общее, что объединяет обоих.

Аня осмотрелась, еще раз послушала тишину театра, который именно в это время отдыхал, и вдруг поняла, что, наверное, скоро случится снова что-то страшное, что за больницей последует что-то еще и что череда происшествий, даже несчастий только начинается.

Действительно, их ворчун, ироничный, беззлобный, но все же ворчун, вдруг прошел мимо гримерки, заметил одиноко сидящую Анну и зашел, присел рядом. Молча изучающе смотрел на нее и вдруг сказал:

— А ведь все могло бы быть по-другому. Зря вы так. Это не очень осмотрительно в театре.

— А я вообще не очень осмотрительная.

— Дерзите? Ну-ну.

— Нет, что вы, я только подбираюсь к дерзости.

— Это хорошо, что дерзите, значит, новая роль будет вам по зубам. — Потом еще раз внимательно посмотрел на нее и заключил: — Не очень что-то мне нравится ваш цвет лица. Раньше оно словно пело. Теперь увяло как-то. Как считаете, восстановится?

— Конечно, я за ним ухаживать буду, поливать.

— Мне кажется, вы боитесь что-то сказать, скрываете что-то.

— Так и есть. Но буду молчать.

— Интересно.

— Да-а...

Помолчали, и снова главный решился:

— Вы действительно отказываете мне в незначительном таком желании — отобедать? Вам бы теперь это не повредило!

— Да, я есть-то хочу, вот, в буфет отправлюсь.

— Это называется, уходить от ответа.

— Понимаю, но ничего не могу с собой поделатъ.

— А не пожалеее?

— Что, разве нынче выход на сцену только столовой обеспечен? А другого пути нет?

— Как же, есть! Представьте, я еще с вами деликатничаю. А с вами-то по-другому, моя милая, следовало... Вот тогда бы и посмотрели.

— На что?

— Не хамите — «на что», — передразнил ее главный. Не слыхали из курса лекций по отечественному театру, чем славны были наши постановщики во внерабочее время, так сказать?

— Нет, этому нас не обучили, наверное, преподаватель был не очень квалифицированный.

— Язвите, язвите. Меня это только подзадоривает.

— Вам показалось...

— Да нет, не показалось. Второй год — нет, это уже не кажется.

— А можно я вас спрошу?

— Валяйте!

— Это вы так ухаживаете?

Главный посмотрел на Аню как-то выжидающе, отвернулся, затем поднялся и все же сказал:

— Я вам хочу серьезно сказать. Эта ваша интрижка с мелким нашим актеришкой наделала много шума. И вы пострадали, это же ясно. Огласка — дело жестокое, страшное дело. По своей наивности вы столько дров наломали уже, да еще и наломаете.

— Я постараюсь больше к дровам не приближаться.

— Замечательно! Именно это я бы вам и посоветовал. А насчет обеда, — он сказал это, уже почти покидая курилку, — насчет обеда — это же ничего, это очень даже полезно. — И вышел.

Аня снова отметила синий-синий тон диванной обивки, погладила мягкий бархат, и снова ее кольнула мерзкая догадка: да, все плохое только начинается. Но не идти же на обед с главным, даже если и, правда, в этом ничего страшного нет.

«Интересно, что за пьесу уготовливает он труппе? И что предназначено, может быть, мне? Не разозлится ли вконец? А если и так, ничего не стану ломать в себе, пусть что угодно делает, но не поддамся!»

Отважные эти мысли не давали покоя Ане не только потому, что поселилась в ней неуверенность в завтрашнем дне, даже страх, но еще и потому, что не могла не понимать: главный может начать мстить. Или что-то в этом роде. За его улыбчивостью, хорошими манерами что-то такое проглядывало, что не могло не настораживать. Все дело было в том, что Аня по наивности, что ли, говорила то, что думала, а это не всегда нравилось главному, да и не только ему.

«Что же с этим делать? Куда запихнуть свой характер?» Это там, дома, где она была родной и всеми любимой, все было хорошо. А здесь все иначе. Ленинградские люди, внешне очень благовоспитанные и сдержанные, столь же сдержанно могли не замечать и отвергать. Они не кричали, не ссорились почти, но своим подчеркнутым холодным равнодушием или, наоборот, вниманием, столь же подчеркнутым, могли охладить любого, кто не пришелся по сердцу. Нет, с Аней такого не случилось, ей, по счастью, повезло с людьми. Может, еще и потому, что сама имела характер сильный и открытый. Не сплетничала, не водила интрижек, не злословила за спиной. Видела, что некоторым, ну, двум, может быть, актерам, не была она очень симпатична. Но остальных-то было больше!

Убедившись, что театр спит, по крайней мере, его актерская братия, она сделала свои десять шагов (странное дело, и здесь курилка расположена была чуть ли не на том же расстоянии, что и там, дома, только дорожка к сцене шла не прямо, а под каким-то углом, напоминая изогнутую линию), дотронулась, как это

принято было у всех актеров, до места не стене, сильно затертого, — столько рук к нему прикасалось — что оно стало приметным и по цвету, таким выделяющимся, что ошибиться было просто невозможно. Вот и она, помедлив, все же тронула еще раз знакомое местечко и вышла в правую кулису на сцену. Боже мой, какой все же запах источало это место, которое называлось сценой, и оставляло после себя след тайны и чего-то манящего. Пустая сцена — это что-то особенное! На ней никого нет, и она просто пахнет! Аромат досок, чего-то старого-престарого, запах, смешанный с пылью, застоявшимся воздухом и одновременно свежей краски и постоянно гуляющего ветерка. Оказывается, тот тоже имел свою особенность. И этот сквознячный запах невозможно было спутать ни с чем.

Как же она любила приходить и раньше, еще дома, в такой вот театр, когда не было ни души и только легкий ветерок гулял по огромной сцене, заглядывая в ее закоулки, уголки, пробираясь в кулисы и долетая даже до курилки.

Актеры всегда безошибочно угадывали, что вот пошла перемена декораций, или «чистая перемена», или сцена наполнилась чем-то новым, но что на ней совершается (помимо игры, конечно) какое-то движение, всем было очевидно.

«А-а-а! А-а-а! А-у! Это я! — кричала Аня, стоя посреди сцены и выпевая каждый звук, который долго еще звучал под колосниками, застывал где-то там, наверху, и словно опомнившись, вновь срывался вниз, уже видоизмененный и сильный. — А-а-а! Слышите?» — «Ага, а как же! Слышим, конечно». Аня вздрогнула: так неожиданен и резок был голос, который она узнала тут же. Это был он! Сволочь, это был он! Она обернулась, никого не увидела, но точно поняла, что он здесь, где-то рядом. И снова мгновенно подумала, чуть ли не физически ощутила, что это только начало, что боль и сотрясение, сама больница — не конец ее сложностям, а, напротив, только начало. И что там впереди, трудно сказать.

Она снова обернулась и хотела уже уйти со сцены, и даже сделала несколько шагов, но внезапно он возник перед ее глазами. «Какой же он страшный!» — подумала она и впервые заметила, как он кривит рот. Свой большой некрасивый рот, который никогда не излучал улыбку, а некую пародию на нее. Этот рот всегда произносил гадости о самом театре, о главном, о большинстве актеров. Это доставляло ему величайшее наслаждение — говорить подобное. Но почему Аня не сразу разглядела это? Почему? Не за эти же две недели он стал таким, каким предстал теперь! Однако что он страшно похудел, Аня сумела заметить. Вечный серый костюм, странно мельтешащая походка, характерный жест руки, зажигающей спичку, — все вызывало чувство омерзения и ненависти. Но как, как могла она не разглядеть всего этого прежде? Чем была усыплена? Новыми ощущениями? Тем, что до той поры никогда не слышала ничего подобного о театре? Неужели желание и подспудное провоцирование опасности свойственно людям, ей — тоже? Разгляди она ясно и вовремя этого человека, рассмотри, наконец, его — ничего не случилось бы! Ничего! А что теперь? Действительно, что же теперь? И как жить с этим?

Она наконец взяла себя в руки, медленно повернулась в сторону все той же правой кулисы и, не ответив ничего, не удостоив взглядом этого мерзавца, ровно и сдержанно вышла со сцены.

И все подтвердилось, все ее предположения: он не бросился за ней, не побежал извиняться, не стал просить простить его, нет, нет и нет! Он крутанулся на своих стоптаных башмаках, усмехнулся наглой своей ухмылкой, скривил по обыкновению рот, и все. Да, именно так: все! Он даже не удосужился сказать каких-то несколько нормальных слов, он просто глумился над Аней, и она снова вспомнила: это только начало.

В репертуаре было около двенадцати наименований, не считая детских спектаклей. У Ани же оставался всего один и еще детская сказка. Шекспир прошел всего год и по болезни исполнителя Петруччо был снят. Остала-

лась небольшая роль и слабая надежда на новую. Но какую, и дадут ли ей теперь, при нынешнем положении дел, эту новую? На читке не была, говорят, будут собирать коллектив для чтения арбузовской пьесы, но какой — тоже неясно.

Лизка сказала, что весна. Это было правдой. И какой! Когда она бежала по дороге и пыталась поймать машину, еще не вполне давая отчет, что произошло страшное, если не непоправимое, то тогда еще лежал снег, было холодно, как это всегда бывает перед весной. А теперь все было иначе, и уже сомневаться в том, что на дворе весна, не приходилось.

Аня пошла вдоль по Невскому, который продолжала любить, несмотря на все возрастающее с каждым годом число людей на сравнительно небольшой, узкой даже улице, несмотря на то, что после Ташкента, где весна уже почти становилась в эту пору летом, здесь было прохладно, зябко и по-северному серо. Небо было серым, люди по большей части одеты были тоже в серое, только лица были иные, отнюдь не тусклые и не унылые. Нет, была все же в этих гражданах своя невероятная прелесть. Они ходили не так быстро и суетно, не так, может быть, улыбались, как в городе ее юности, но светилась, торжествовала на их лицах если и не улыбка, то достоинство и еще какой-то свет. Этот свет на лицах людей не спутать было ни с чем. Он явно освещал лица. Он был ясным и натуральным, и не было сомнений в том, счастливы ли люди. Такой вопрос она не задавала себе ни в одном другом городе. А здесь ощущение счастья было очевидным, оно сохранялось в походке и пластике, передавалось в настроении, общем ритме жизни, в том особом состоянии души, которое распространялось на все и вся. Замечательный город и какие замечательные в нем люди!

Это было тем более удивительно, что сам климат, погода с бесконечными ветрами и дождями контрастировали с этими лицами. И это тоже было замечательно. И тут Аня неожиданно подумала, что даже если и грянут еще испытания и их станет так много, что

уже и пережить-то станет трудно, спасет ее непременно город. Именно он станет тем прибежищем для души, которое отогреет и защитит. Надо только в это верить!

Она шла по любимому городу и отмечала про себя, что он ей так же дорог, как и город ее юности, молодости, любви. Она не могла бы сказать, что с Олегом у нее случилась именно любовь. Нет, это было нечто другое, похожее больше на союз двух стареющих людей, связанных друг с другом ребенком, всякими обязательствами, казавшимися ей неразрывными. Как же она заблуждалась! Неразрывными! Ну, вот и нет, как оказалось! Как оказалось, все получилось не так, и все возможно было разъять. Олег с легкостью ее обманул, уехал, к этому она по-прежнему не могла прикоснуться даже какими-то осколочками памяти, так ей было тяжело.

Не могла не отразиться ее личная ситуация на театральных делах: там, как и везде, впрочем, любят благополучных, проблемы никому не нужны. А история с внезапным отъездом мужа, дочери потащила целую вереницу слухов, домыслов. Если она сама такая хорошая, что ж ее муж-то не взял с собой?! Убийственный довод!

И она постепенно стала свыкаться с мыслью, что в жизни гладко и легко уже никогда не будет. Сначала мама, потом разрыв со Львом и его отъезд, затем жизнь в новом городе и неоформленное замужество, а впоследствии обман, утрата жилья, подвешенное состояние со своей комнатой в коммуналке — все это, а вдобавок и то потрясение, которое испытала она в последний месяц, — сказало и на характере, и на отношении к жизни самым печальным образом.

Она еще как-то пыталась бороться за семью, искала дочь, предпринимала разные меры, ходила по инстанциям, но все было тщетно. Те два письма, что пришли из Италии, не прояснили ситуацию, а только больше запутали. При чем здесь Италия, если улетали в Америку? Как же он все продумал! Как невдомек ей было собрать по крупицам все детали, связать их, как при

работе над ролью, и понять, что затесался обман в ее жизнь. И что вошел он давным-давно, только она была незрячей. Театр, роли, успех — все поглотила работа. Вот и поплатилась.

Так она размышляла, а сама шла и шла и постепенно оказалась у вокзала, потом свернула в какую-то арку, постояла там, посмотрела на окна и снова двинулась в путь. Куда она шла? Зачем? И где было ее нынешнее пристанище?

Накануне перед больницей, перед всей этой мерзкой историей она должна была поселиться у знакомых матери Олега, так как понимала, что ее битва за собственное жилье бесславно проиграна. Ей показали маленькую комнатку, светлую и — что очень важно — не на окраине, а в самом центре города. Тем более что она уже к центру и привыкла давно. Женщина, хозяйка, не имела никакого отношения к театру, но Ане почему-то сразу показалось, что они подружатся, найдут общий язык. А в больнице Лизка передала, что в дом к Олегу возвращаться нельзя, что там совсем все плохо, поскольку, как все вывели, официальной женой она не была и не имеет, стало быть, никаких прав на это жилище. И Аня, идя вдоль своей любимой улицы, приняла решение направиться именно к этой женщине. Подумала еще, что скажет, мол, выезжала на короткие гастроли, задержалась, словом, что-то в таком роде.

Туда-то и направлялась Аня. Однако она не могла не понимать, что ее вид, одежда, вялость и всякое отсутствие чувства любви к жизни не останутся незамеченными для глаз Марины — так звали женщину. Она была чутким человеком и вряд ли пропустила бы такое.

А в театре все действительно с волнением ожидали приезда драматурга Арбузова. «Надо же, почти как в Ташкенте, — думала Аня, — только тогда поставили Розова. А вот прошли годы, и снова он. Что-то он теперь привезет? Эх, нашлось бы что-то и для меня!»

И однажды, уже после дневных репетиций, в которых Анна не была занята, но все же по привычке прихо-

дила в театр, она увидела, что все столпились около доски объявлений и возбужденно что-то обсуждают. Оказалось, и правда: состоится читка пьесы, о которой и извещали труппу. Но странное дело, снова о названии — ни слова! Странно. «А, даже неплохо, пусть будет сюрприз. А то все начнут искать, что, где, какая пьеса, о чем. А тут — неожиданность. Пусть так и будет!» — снова решила Аня, принимая по-прежнему каждый жизненный поворот как необходимый, как доброжелательный знак, который надо только разглядеть и пойти или за ним, или навстречу. Что она с удовольствием, все еще с удовольствием и делала.

Когда она остановилась возле дома Марины, ее охватила снова тревога: что ждет ее на новом витке, что еще преподнесет жизнь, которая так упорно взялась за нее. И непонятно: то ли учить, то ли мстить за что-то, то ли, напротив, открывать перед ней все новые и неизведанные возможности человеческого опыта и терпения?

Квартирка располагалась на третьем этаже, в старом ленинградском доме, по-особенному пахнущем, имеющем свою историю и долгую жизнь. Кого тут только не было за годы! Он не казался рухлядью, напротив, отличался каким-то особенным достоинством, если вообще применительно это слово к неодушевленному существу. Но дом, казалось, дышал, жил, это было справедливо, и казалось, что чужого, неприятного человека он непременно отвергнет.

Но это именно казалось, и именно Анне. Дом, хранитель множества тайн и событий, чужих историй и любовей, действительно принимал людей, а некоторых, которых не особенно жаловал, не привечал, даже отталкивал. Им же казалось, что это сам дом так плох и так к ним неприветлив. Но они ошибались. Дом пах, источал какой-то свой, ему одному присущий аромат, запаха кошек не было вовсе, и это только усиливало впечатление от него, как от царственного строения, весьма уважаемого и властного.

Аня посмотрела наверх, убедилась, что знакомые ей окна на месте и, уже расхрабрившись совсем, вошла в подъезд. Дверь сильно стукнула, громыхнула, но почему-то в этом звуке не почудилось ничего страшного, наоборот, в нем слышалась призывная, столь же властная и мощная мелодия, под стать самому хозяину, то есть дому.

Ступеньки, хотя и изъеденные временем, не скрипели, а несли высоко и верно новую жительницу к ее дверям. Даже звонок был тоже из какого-то другого времени и откликнулся сразу же, как только Анна прикоснулась к нему, и звучал еще какое-то время, видимо, сообщая хозяевам, что стоит поторопиться, не медлить.

Похоже было, что в нем, в этом доме, все имеет свой смысл и значение, свои установленные временем порядки, на которые чуткие стены реагируют весьма своеобразно. Например, в такой постройке точно не хотелось говорить громко, ссориться, курить на лестнице. И когда Аня все же обнаружила рядом с дверью стоящую баночку из-под майонеза с окурками, то расстроилась: не должно было ее здесь быть, не место. Однако ничего не попишешь.

Дверь открылась, на пороге стояла худенькая женщина в голубом платке, повязанном на крестьянский манер. Еще Аня видела, что так носят платки женщины, приходившие в церковь. В руках у женщины была тряпка, поверх платья — фартук, и весь ее вид свидетельствовал о том, что она занимается домашними делами.

— Заходите, — сказала женщина и протянула руку вперед, приглашая Анну. — Куда это вы пропали? Я даже в ваш старый дом приходила, но там сказали, что вы съехали, что вас давно не видно. У вас все в порядке?

— Да, почти, — стараясь казаться беззаботной, ответила Аня. — Можно я сяду?

— Ну, конечно, спохватилась хозяйка. — Сейчас вас кормить буду, на вас лица нет.

Удивительное дело, но она не стала приставать, расспрашивать Анну, а просто усадила ее и быстро пошла на кухню. Аня огляделась и поняла, что женщина — глубоко верующая, о чем свидетельствовали многочисленные иконы, лампадка в углу комнаты, а главное — тот дух, который насквозь пропитал ее. «Да, другая бы и не согласилась бы, испугалась», — подумала Анна. И в этот момент хозяйка вошла с чашкой, блюдами, разной едой, которая была расставлена на подносе. Она ловко все это разложила перед Анной и попросила не отказывать ей и все съесть.

Анну и упрашивать не надо было, так она была истощена и голодна. Она съела все, что было предложено, и Марина снова каким-то чутьем угадала, что нужно делать дальше. Она провела Анну в ее комнату, сказала, что все обсудят после, а что теперь следует спать.

«Спите долго, милая, хоть и день и ночь, и до самого вечера завтра. Отдыхайте».

ГЛАВА ШЕСТАЯ

МИЛЫЙ СТАРЫЙ ДОМ

Не почувствовав боли, птица летела еще некоторое время, еще просто так, по инерции, но все же полету суждено было прекратиться. Как же это больно, так падать и знать, знать, что уже не взлетишь. Может, все и не так страшно, и все окажется неправдой, и пуля, ее взлет и погоня – видением, выдумкой? Может, еще все-все будет иметь продолжение? А, значит, полеты, возвращения, встречи? Как же хотелось в это верить, но что-то продолжало давить на маленькую грудку, на то, что было заключено внутри, что не было проявлено, и другие – все-все – не могли этого знать и видеть. А что, если попробовать?

Никто ее не расспрашивал, не предлагал поговорить, не требовал общения. Анна уходила в театр, возвращалась, и больше ей и ничего не надо было: так все устроилось в этом странном доме. Станным бы уклад жизни хозяйки Марины, приходы к ней женщин, которые полушепотом что-то обсуждали, раскладывали большие бумажные листы, что-то там выверяли. Соглашались, да, всегда тихо и именно соглашались. Ни споров, ни недовольства, напротив, все были настроены благодушно, и все были в одинаковых светлых платках, повязанных, как заметила Аня, так, как носят их в церкви. Аня поняла, что такие сходки женщин имеют прямое к церкви отношение. Они обсуждали даты, праздники, периоды постов, приносили просвирки и угощали ими и Анну тоже. Икон было много, но в Аниной комнате висел только старенький коврик на стене. «Странно, — думала Аня, — почему эту комнату обошли? Ни одной иконы!» И сразу же заметила, что на стареньком буфете, в самом углу, одна все же стояла. И заметила ее Аня не сразу, а когда открыла дверцу, чтобы вытереть пыль. На иконе была Матерь Божья с младенцем на руках, и Аня, оглянувшись по-

чему-то, взяла иконку в руки и стала рассматривать. Поразил ее прежде всего отрешенный взгляд Божьей Матери. «Почему он такой?» — подумала Анна и неожиданно прижалась к иконке, погладила ее. В эту минуту в дверь постучали, и она поторопилась поставить икону на место.

В дверях стояла Марина с испеченным пирогом и смотрела на Анну.

— Вот, угостить зашла. Тебе кушать и кушать надо.

— Да все в порядке, я ем.

— Видно, мало. Что-то точит тебя.

— Конечно, точит, иначе как же?

— А известно, как...

— Вы что же, знаете?

— Ой, да что тут знать? — даже удивилась Марина и поставила свой пирог на маленький стол, стоящий тут же. — Что знать? Верить надо, оттуда и знание придет!

— Марин, я все спросить хочу... Вот вы верите, я поняла, но как, как вы пришли к этому? Я, например, не готова.

— А готовиться специально и не надо. Просто начать думать и ходить в храм.

— Но ведь внутри тебя должно что-то произойти, потребность должна появиться. Иначе — обман?

— Никакого обмана. Думай, присматривайся, ничего страшного. Насильно туда никто не тянет, мы же не секта какая. Так, собираемся, кто когда печь станет, кто к батюшке пойдет. О праздниках думаем, о жизни, да и вообще...

— Что «вообще»? — спросила Анна.

— Да ты не печалься, что ты так сникла? Придет время, Он сам к тебе придет, ну, явится.

— Вы так считаете?

— Почти к каждому является. К кому раньше, к кому — позже. К тебе, думаю, скоро, совсем скоро.

— Даже страшно.

— От чего же?

— От вашей уверенности. Разве можно быть уверенным в другом человеке?

— Да не в человеке, а в самой вере. Так ли, иначе ли, но в свое время все приходят.

— Нет, есть отъявленные безбожники, разве вы не знаете?

Марина даже как-то отмахнулась, видимо, не желая всерьез воспринимать слова своей квартирантки. А потом отрезала полпирога, отошла к двери и сказала:

— Когда захочешь, когда время придет, может, и сходим. А пока... пока кушай. Отдыхай. Все работа да работа.

— А вы... разве работать плохо?

— Я учительницей была, химию преподавала пятнадцать лет, а теперь вот в храме и работаю, да еще санитаркой в больничке, это там же, при храме. И знаешь, задышала просто.

— А мне вот что-то дышится не очень...

— Вижу, но ты не тушуйся, успокойся. Не бывает так, чтобы полоса плохая тянулась и тянулась, есть же свои законы природы, куда против них?

— Значит, вы верите в разные там циклы, законы науки?

— В законы верю. Но более всего не в них. Но не буду пока об этом, после как-нибудь. Я ухожу, ключи у тебя, спи.

— Да у меня спектакль сегодня.

— Вот и хорошо, что есть что делать.

С этими словами Марина вышла, и Аня впервые попробовала оценить, сколько же ей лет. Вышло, где-то около сорока, не больше. Всего на каких-то семь-десять лет старше, а такая разница в образе жизни, в миропонимании. «И как она пришла к этому? Неужели тоже много страдала? А может, и нет вовсе, а от радости, от восхищения жизнью? Да разве так бывает?» Так думала Анна, а сама понимала, что еще не готова к каким-то шагам, которые могли бы совсем изменить ее жизнь, представление о ней.

И еще она подумала о том, что теперь, после ее истории, которая тут же обросла разными домыслами,

мерзкими подробностями, а главное — полным отрицанием того, что на самом деле произошло с ней, — не могло не сказаться на отношении к ней актеров, на общей атмосфере, в которой она оказалась. Поначалу Анна не придавала значения многим деталям, которые все множились и становились угрожающими. Да и Лизка стала смотреть как-то иначе, порой и сторониться ее. А когда, как прежде шли вместе после спектакля или репетиции, оказывалось, что у нее дела и она занята. Аня сначала верила, но потом само обилие этих знаков стало постепенно убеждать ее, что не все так просто, что люди отчего-то поверили не ей, а поганому мужичишке, мерзавцу, из-за которого она попала в больницу и столько всего пережила. Ах, люди! Что за склонность верить скорей всего в виновность женщины, обеляя мужчину! Так легче, что ли? Словом, Анна не могла не оценить, как ловко тот стал стягивать удавку на ее шее, как охотно сближался даже с теми, о ком раньше и говорить не хотел; как упорными разговорами и подробными рассказами о грехопадении Анны все более и более склонял театральную братию на свою сторону. И люди охотно верили! Да и как иначе? — так же проще, и задумываться не надо было! А иначе все могло быть очень плохо для театра: и суды тебе, и огласка, и ... мнение! Это уже было страшнее, чем простая интрижка кого-то с кем-то, это уже репутация театра, репутация и все такое прочее. Зачем это прославленному коллективу?! А так — и ее осудить не грех, и наука для только что пришедших, а самое важное — все остается внутри театра, не выносятся сор из избы. Такое положение дел устраивало всех!

Недаром сразу после больницы ее под благовидным предлогом пригласил директор этого самого театра, очень полный пожилой мужчина в очках, и спросил об Анином самочувствии. Осторожно так спросил, чуть ли не трепетно. И даже сказал, что если помощь какая нужна, — пожалуйста. Но главное приберег под конец. Он, почему-то сняв свои очки и долго вертя их в руках,

неожиданно подошел совсем близко к Ане и произнес едва ли не шепотом: «Ты, девочка, поаккуратнее здесь. Не поняла еще, что вокруг волки? — сказал он это, сделав ударение на последнем слоге. — А от них нужно подальше, ох, как подальше, иначе сожрут, но самое страшное — ославят. Век не очистишься». Аня хотела возразить и даже приготовилась это сделать и уже рот открыла, но грузный мужчина махнул рукой, отошел от нее и уже совсем другим тоном произнес: «Не трать свой талант на говно всякое. Оно-то не стоит, а ты пропадешь». И тут Анна решила: «Да он же сам, я молчу просто, я...» — «Все знаю, — был ответ, — знаю. И с врачами говорил. Только не знает никто об этом, даже главный. И судьбу твою знаю, и с отцом твоим начал еще. Все не просто так. Хотелось бы, очень хотелось тебя защитить. Но и ты помоги, не поддавайся каждому мерзавцу. Если просьбы или чем помочь — обращайся. Но никому — ни слова, понимаешь? А то и меня вместе с тобой...».

Такую речь выдал пожилой толстый человек, директор театра, как оказалось, знавший ее отца еще. «Так вот, оказывается, как далеко дело зашло, а я и не знала ничего. Вот он уже сколько всего состряпал! Но я им докажу! Я всем докажу, что я — актриса, настоящая актриса. Я еще смогу!» — думала Аня, каждый раз входя и поднимаясь по ступенькам театра. И действительно, каким-то своим чутьем, всем тем, что в ней сидело с рождения, что привито было родителями, окружением, самим духом дома, что ли, — она замкнулась, перестав почти общаться с актерами, по крайней мере, вести пустые разговоры, и полностью сосредоточилась на работе. «Жаль, спектакля всего два, но вот же, скоро читка, может, и перепадет что», — напряженно думала женщина, все еще надеясь на перелом в отношении к ней.

Наконец тот день, о котором говорилось в объявлении и которое прочитали по многу раз все артисты театра, наступил, и тщательно одетые, готовые к встрече

актеры собрались в большом репетиционном зале на читку пьесы. Ожидание! — как много значит оно в актерской судьбе, несмотря на возраст, заслуги, количество сыгранных ролей! Актеры всегда в ожидании то ли чуда, то ли праздника, но за которым непременно последует что-то вроде приговора. А это всегда — опасность!

Вот и Аня, одетая и причесанная самым тщательным образом, была в ожидании и стремилась всячески показать, что она готова только к одному — к работе. Еще утром, совсем рано, она приготовилась к тому, что сегодня должно произойти нечто удивительное, что непременно коснется и ее и оставит след. Именно поэтому она выгащила свое любимое, давно не извлекаемое платье, к которому полагалась брошь, оставшаяся от мамы, и приказала себе самым суровым образом забыть все перипетии последнего времени, а думать только о работе и жить, как и в другие, более счастливые времена, исключительно ею.

В зале было полным-полно народа, Аня отметила, что главный как-то особенно суетлив и озабочен, что все находилось в приподнятом ожидании чего-то важного и что ее обидчик — это было удивительно — отсутствовал. «Не было бы, вот бы его не было никогда! Вообще нигде и никогда!» — с горечью подумала Анна, по-детски надеясь, что, может быть, так оно и случится и что этот мерзавец навсегда покинул театр. Она ничего ни у кого не спрашивала, ни с кем не делилась, но не могла не ощущать, как изменилось все в театре, как ее старались не замечать. Во всяком случае, делали вид, что никогда она и не играла знаменитую роль, не стала любимицей публики, что не так уж и хороша и что на свете есть много других замечательных актрис.

Анна не склонна была драматизировать ситуацию, она реально видела, чувствовала, как что-то сдулось, и люди, прежде охотно заговаривавшие с ней, теперь словно обходили ее стороной, как даже одевальщицы

предпочитали поскорей покинуть гримерку, лишь бы не оставаться с ней наедине. Да, все это она отмечала, но искренне и истово верила, что только новой ролью она может поправить положение дел. Что отношение, прежде которое было таким замечательным, вновь восстановится, и все пойдет по-старому.

Драматург Алексей Николаевич Арбузов вошел в зал неспешно, держа в руках папку. Одет он был в бархатный, зеленого цвета пиджак, черные брюки. Сиреневатого тона галстук-бабочка довершал наряд. Был он чуть выше среднего роста, и отмечена вся его фигура была каким-то достоинством и даже респектабельностью. Ане тут же показалось, что если бы он вошел к ним в шортах, то смотрелся бы так же изысканно. Он был явно из другого мира, из другого времени, казалось, что к нему непросто подступиться и заговорит он далеко не с каждым. Высокомерным его вид тоже назвать было бы неправильно, но что-то, весьма отличающее от других людей, осознание им самим такой своей особенности, очень было ему свойственно. Да, он был не таким, как другие, как даже самые замечательные актеры в их театре, и точно понимал это.

В зале, как это обычно бывало в зрительном зале на репетициях, стоял тот же маленький столик с лампой, но которая в дневное время и не нужна была вовсе, наверное, ее просто забыли убрать, и за этот столик и присел драматург Арбузов, оглядев присутствующих и положив ногу на ногу.

Он расправил свою рукопись, а это была именно она, снова посмотрел в зал, остановил свой взгляд на Анне и произнес:

— Много у вас синего, это хорошо. — Потом провел рукой по рукаву своего прекрасного пиджака и снова глянул вперед. — Пьеса, а я принес, как вы догадываетесь, именно пьесу, называется «В этом милом старом доме». Жанр — странный жанр, то ли комедия, а может, даже водевиль. Посмотрим, глядишь, что-то и получится.

И начал читать. Аня, не отрываясь, смотрела на самого читающего, иногда — на своих коллег-артистов, а сама напряженно думала, что могла бы сыграть. И — странное дело — не видела себя ни в одной роли! Если совсем молодую, дочку, или будущую сноху — совсем неинтересно; главную, жена, которая бывшая, — по возрасту не потянет. Оставалась Нина Леонидовна Бегак! Но — Боже мой! — как же она не подходила ни Аниной индивидуальности, ни ее представлению о той возможности, которая могла бы переменить и ее положение в театре, и отношение коллег. Ну, ни-че-го!

Какое-то тщедушное полудетское создание, некрасивое и неженственное! Ужас! — нет, нет и нет! Только бы ей не дали эту роль, только бы не ей!

Через пару часов, когда чтение закончилось, попросили выступить актеров. Вот уж где начался спектакль! Все в самых прекраснотонных тонах говорили о пьесе, ее значимости, актуальности, образах, так точно и выпукло характеризующих время. Выходило, что ничего лучше до того театр просто не ставил, а актеры не исполняли.

Аня молчала и только слушала, слушала. И только желала, чтобы ее пропустили и не заняли в спектакле. А обсуждение пьесы говорило о том, что всем она понравилась и ставить ее — просто-таки необходимость театра и честь для него. Так и завершили сбор труппы: пьесу принять, ставить и как можно скорее вывешивать распределение ролей. А потом еще долго-долго благодарили драматурга.

Когда Аня вышла в коридор, то неожиданно столкнулась с главным. «Себя видите в чем-то?» — спросил он в обычной своей иронической манере. Аня замаялась на мгновение и потом выдохнула: «Нет там меня, это ясно». — «Посмотрим-посмотрим», — был ответ режиссера.

Выйдя на улицу и почувствовав, что вот-вот наступит весна, что ее дыхание совсем близко, а во дворах и на улицах уже всюю заструились струйки таявшего

снега, — все эти наблюдения сподвигли Аню на неожиданное решение: она решила зайти в кафе и отвлечься от грустных мыслей. Она попросила принести всего лишь мороженое и чашечку кофе. Пожалуй, впервые она отважилась на подобный шаг. Легкость, распространенность таких походов не были в то время характерными приметам времени. А если влюбленные и решали отметить какое-то событие в кафе, ресторане, то, как правило, выстаивали большие очереди, все это сопровождалось таким напряжением и ожиданием дозированного входа (да, по несколько человек пропускали), что порой молодежь просто отказывалась от походов и отправлялась на чьи-нибудь кухни.

Вот и Анино решение не было вполне обыденным и привычным: она и припомнить не могла, когда, по какой причине и с кем посещала кафе. Да, довольно давно их с Олегом пригласили на празднование чьего-то юбилея в его институт. Но как же там было неинтересно! Почти все только и делали, что ели, ели и ели. И еще, конечно, пили. Тосты тоже были какие-то тусклые, недохотворенные, танцевали хотя и много, но все опять-таки ерунду какую-то. Словом, тогда Аня явно была разочарована таким походом, тем более что премьеры в ее театре сильно отличались от ресторанной городской жизни. Причем в лучшую сторону. Застолье всегда отмечалось широко, празднично и, что особенно важно, по-семейному, что ли. Люди ожидали этого праздника, готовились к нему, в нем не было ни капли натяжки, искусственности. Одни наряды дам чего стоили! В самом, что ни говори, прямом и переносном смысле. И шутили, и пели, и танцы с громкими разговорами, все более и более стихающими под конец застолья. Как же она любила такие сборища! Тем более что несколько раз сама оказывалась в центре внимания актерской братии.

Она пила кофе, ела крем-брюле и все вспоминала, как это еще совсем недавно было ей в театре замечательно и спокойно. А больница словно резко поделила

события жизни на «до» и «после». Сказалось это разделение и на отношении людей, на занятости в репертуаре. Один пример последнего времени: в новом спектакле «Доходное место» по пьесе Островского ей места сначала не нашлось. И только ходатайство той старой актрисы, которая и навещала одна ее в клинике, возымело действие, и она была уже после выхода спектакля введена на роль Поленьки. А сам спектакль ей очень нравился, был совершенно неожиданно поставлен, в нем актеры запели, затанцевали, и именно он был одной из первых ласточек в том пока редком и слабом потоке постановок, которые начали совершать над драматической литературой своеобразный эксперимент. Он коснулся как формы самих спектаклей, так и их содержательной стороны. Это потом начнут критики анализировать опыты их замечательного режиссера Товстоногова, поставившего «Историю лошади» да и многие московские спектакли. Тогда же, в самом начале семидесятых, это и впрямь был редчайший опыт нового прочтения пьесы. И дело не в романсах, специально написанных к этой постановке, не в умении, как оказалось, актеров прекрасно двигаться, делать немислимые «па», так великолепно чувствовать сцену, как до того, казалось, и не подозревали; дело, наверное, в том, что начались поиски нового театрального языка, который оказался весьма близок зрителю и ожидаем им. И сошлось как умение и эксперимент театра, так и вознагражденное зрительское ожидание: спектакль получился, имел огромный успех, и даже критика заговорила о каком-то новом движении на театральной сцене.

И вот — новая пьеса. Аня решительно не видела себя ни в одной роли, решительно. И тут же вспомнила, как в самом тексте именно это слово употребляется драматургом много раз. В самой стилистике этого произведения тоже угадывалась какая-то новая, непривычная речь и еще ирония. И еще что-то такое, что не умещалось в рамки текста, а как бы дышало рядом, обозна-

чало и знаменитые зоны молчания («Да, точно, вот в этом эпизоде, — решила Аня, — она бы точно помолчала на месте актрисы в роли Юлии») и сообщало что-то большее о своих героях, нежели выдавал конкретный текст.

«Нет, только не Юлия, я совсем не потяну, да и старше она меня. А эта конопушка... Нет, не мое, такая она робкая, слабенькая, смешная. Что это вообще за женщина?! Да, но вот же, приезжает она в этот городок, стало быть, не робкого десятка? А, может, просто ребячество? Или... или хорошая доля авантюризма? Может, просто возраст поджимает? Мне вот тоже уже... охо-хо сколько! Так, в этом мае будет... Ладно, и так ясно, сколько. Все-таки в хорошее время родила меня мамочка. Вот бы знала, где я, какие были успехи, и что теперь... Посоветовала бы. А уж отец и подавно... сказал бы что-то такое сильное, взвешенное, что силы бы сами появились, вера, вера, наконец, вернулась бы. Эх!» — только и смогла вымолвить Анна, собираясь к выходу и неожиданно для себя вдруг подумавшая, что в этом невзрачном существе по имени Нина Леонидовна Бегак что-то, да есть. Да и возраст самый что ни на есть подходящий, разница — всего-то один год! Это в прошлом мае здорово отмечали в театре Анин день рождения! Не то что сидение в скучной компании ученых четыре года назад. Ах, только всего годик, всего один год назад еще не было всех этих кошмаров, что так неотвратимо навалились на женщину, и справиться со все возрастающим их разрушительным действием было все тяжелее и тяжелее. «Эх, хватило бы сил!» — взмолилась Анна и отправилась на свою новую квартиру.

Ей нравилось, как когда-то, еще во время учебы в институте, разглядывать людей и составлять при этом их биографии. Думать, что с ними было, а что только могло бы быть. Как они жили, кого любили, как. Что удалось, а что — нет в жизни. И тут неожиданно ей попалась навстречу женщина, как-то особенно выде-

лявшаяся в толпе. Была она в темно-коричневом пальто, маленькой шапочке. Которые были очень модными в тот год, и еще шарфик, окутывавший шею, очень шел к ее выбивающимся из-под шапочки волосам. Аня вспомнила. Что когда хотели сказать, что человек чем-то особенно отличается от окружающих, непременно употребляли либо прошедшее, либо настоящее время. Например, так и говорили: «Да это не из нынешнего времени человек. Ему бы в другое время жить!» И почему это люди непременно должны отсылать человека в иную эпоху, если он хоть каким-то образом не вписывается в общее представление о чем-то? Но ведь так действительно бывает, отсылают же!

Вот и эту женщину непременно хотелось отправить куда-то далеко, в какое-то другое, весьма благополучное время, с другой формой одежды, манерой держаться, смотреть. Наверное, она и говорила как-то иначе! Так, во всяком случае, думалось или хотелось так думать. Она, правда, выбивалась из толпы спешащих граждан, из общей массы каким-то особенно одухотворенным выражением лица, тем, что и не сразу, наверное, схватишь, опишешь. Но так было!

Аня даже оглянулась и еще подумала, как было бы замечательно, если бы такая женщина стала бы ее приятельницей, даже подругой. Особа из другого времени вдруг замедлила шаг, оглянулась и едва заметно улыбнулась Ане. Да, это было именно так, она улыбнулась. И Ане сделалось вдруг так хорошо, так даже замечательно, что она, сама того не подозревая, тоже улыбнулась в ответ. Но все рассеялось, женщина пошла дальше, стала удаляться, и Аня снова подумала, как призрачно и недолговечно все в жизни, и что самое хорошее проходит мгновенно, так скоро, как бывает только во сне.

Аня отметила про себя, что на самом деле идти домой совсем не хочется, что только в работе и за размышлениями о роли, о чем-то позитивном, ей становится спокойно, и она понимает, зачем вся эта жизнь.

И она снова свернула с намеченного пути: зашла в булочную и стала внимательно осматривать прилавки. Ничего особенного она не увидела, только несколько тортов, да и то не самого приятного вида. Она спросила даже, свежие ли они, и ей не очень любезно ответили, что в этой булочной все свежее. Аня вздохнула и решила, что без торта обойтись можно, а вот конфет купить — вполне. Ей взвесили любимую «Коровку», и снова она оказалась на улице, которая жила по каким-то ей одной очевидным законам, правилам, привычкам. Она снова смотрела и смотрела на прохожих и уже не видела в них того очарования, которое совсем недавно коснулось и ее. Нет, скорее, все было обычным, люди шли себе и шли по своим делам и не было конца этому потоку спешащих или медленно и вальяжно шествующих граждан. Кто-то был одет очень легко, почти опережая с трудом наступающую весну, таким образом, наверное, торопя ее и словно говоря: «Пора, ох, как пора же!», кто-то, напротив, все еще кутался в зимнее, не веря, что весна возможна, а с нею и тепло, и что-то такое зовущее, что согласуется только и исключительно с ней, с весной. Но люди затруднялись поверить в это, все еще неся бремя холодной, продолжительной зимы, кутаясь в длинные шарфы, которые тоже были в моде в этот сезон, а еще — палантины, или, как их называли еще, широкие шарфы. Их было принято набрасывать на платье, костюм, они были такими популярными, что модницы только и успевали заскакивать в комиссионные и спрашивать неизменные широкие шарфы. В театре почти все зрительницы были в разного рода именно таких накидках, они разве что отличались цветом, фактурой, но почему-то все же были очень и очень похожими.

Аня так и продолжала, как в своей юности и уже потом, в последующие годы, относиться к моде весьма легкомысленно, не подозревая даже, что именно мода способна поворачивать женщин каким-то иным образом, той самой стороной, которая больше всего нра-

вится мужчинам. Нет, разумеется, Аня не могла не отмечать, что быть хорошо одетой много лучше, чем вообще никак, но ей всегда это доставляло какие-то дополнительные усилия и хлопоты. Специально бегать по магазинам в поисках модной вещи не любила и считала, что вполне может обойтись и без нее. Но вот почему-то шарф, да еще если она видела с бахромой, очень ее зацепил, и она даже подумала, что стоит поискать такой. В него было удобно кутаться на репетициях, да еще ожидать выхода на сцену, потому что в театре всегда было холодно и донимали сквозняки.

А дома — если это действительно можно было назвать домом — было совсем неплохо, почти по-домашнему. Аня не раз спрашивала себя, отчего это жилище она не может считать домом, хотя и относились к ней, и заботились о ней, как к родной и о родной. Но это был не родной, к сожалению, человек. И дом — тоже. Здесь не было биографии, судьбы, здесь было что-то промежуточное, похожее на корабль, который еще не потонул, но уверенности в его прочности и долговечности все же нет.

Войдя, Аня поймала себя на мысли, что квартира, ее общий тон, что ли, к счастью, не синего цвета. Иначе это был бы уже перебор.

Нет, и обои, и облупившаяся плитка в ванной были, скорее, зеленоватого цвета. На кухне и вовсе почти белого. Хозяйка любила все светлое и поэтому других цветов не представляла. Это и хорошо! Так думала Аня, всматриваясь в давно отслужившие свой срок обои, в обстановку комнаты, которая куплена, по всей видимости, была еще до войны и теперь так и осталась доживать свой век при женщине, которая заботливо и бережно относилась ко всему, что имелось в доме. Да и не только в нем. Она приняла Аню всем сердцем, ожидая ее с обедами, веря в то, что эта молодая женщина непременно выкарабкается и что период каких-то несчастий временный и должен скоро закончиться. По крайней мере, так она говорила. Что же было на

самом деле в ее сердце, сказать было трудно, но общее отношение ее к Ане было вполне замечательное. Даже больше!

В доме всегда был обед, это Аня усвоила, как и то, кстати, что хозяйку обижало, Марину, если Аня отказывалась от еды, ссылаясь на отсутствие аппетита или нежелание есть. Марина так, видимо, истосковалась в жизни по собственному родному человеку, что все нереализованное в личной неустроенной жизни перенесла на Анну. Она ждала Аниных возвращений, ждала, в каком состоянии и настроении придет ее квартирантка, и с удовольствием кормила, потом слушала, если было что рассказать, ухаживала, даже стирала. А была она всего-то на пять лет старше Ани. Вот такой нереализованный материнский инстинкт.

Аня, не желая обидеть Марину, ела сырники, которые та любовно приготовила, а сама разглядывала в очередной раз симпатичную женщину, почему-то согласившуюся в жизни с тем, что никакой личной жизни у нее уже не будет и что Аня — то единственное счастье, которое ей досталось по случаю. Она и денег не желала брать с квартирантки, и Ане приходилось исхитряться, чтобы все же заплатить. То матрац купит, то еды вдоволь натащит, то просто убедит, что жить ей неважно бесплатно. Но разговоры действовали ненадолго, и спустя месяц все снова возвращалось на круги своя: Марина не хотела брать денег. И все же Аня решилась.

— Марина, что-то надо делать, иначе я не могу. Договоримся, что каждый месяц хотя бы двадцать рублей я буду платить.

— Тогда не приноси продукты, ничего не покупай в дом.

— Но вот обои, смотри, это в театре мне перепало: остались у кого-то. Давай в выходные переклеим. — Аня некоторое время назад сумела-таки перейти на «ты» — Марина убедилась.

— Ань, это можно, но просто брать...

— Послушай, ты же не должна заниматься благотворительностью, мне так сложно, пойми.

— Я понимаю, но по-другому не могу.

— Хорошо, давай по-другому. Ты меня зачем брала?

— Потому что у тебя проблемы. Да и просили, сама знаешь. Не думала я, что не станет так скоро мамы Олега.

— Марин, о нем — ни слова!

— Да, я помню, но мать его знала много лет, куда это деть, не выбросишь же!

— Ты сама-то сегодня ела?

— А как же! А вот кончатся твои проблемы, тогда и пересмотрим жизнь.

— Но тебе же трудно, что там в твоей школе? — копейки.

— Мне хватает, вполне.

— Ясно. Тогда так: я плачу, ты не сопротивляешься, и больше к этому вопросу не возвращаемся.

— Возвращаемся. Ты оправься немного, я же вижу, каково тебе. Вижу!

— Мариша, это хорошо, что ты видишь, а вот скажи, это правда, что через полгода ты можешь уехать? Что это, командировка, что?

— Да, могут послать в Чехословакию преподавать русский язык в школе.

— А... А как же вера, те женщины, что к тебе приходят? Да и как ты все успеваешь? — и с ними пообщаться, и в больничку вот?.. А мне...

— Поняла. Как ты и куда? Да здесь и останешься. А успеваю... Когда хочешь, все успеется. И церковь, и детишки, и любовь.

— Любовь, говоришь?

— Угу. Так что, здесь и останешься, если что.

— Нет уж. Хотя что теперь, мне не привыкать переселяться. Такова судьба, видно.

— Ты, наверное, думаешь, знаю, что думаешь, почему я одна, никого у меня нет? В смысле мужчины.

— Ну, думаю, и что?

- Он есть...
- Это правда?
- Да, есть, только он не здесь. Жду я его.
- Откуда же?
- Страшно даже сказать.
- А ты не бойся, говори.
- Скажу, что уж... Сидит он.

Помолчали, Аня не решилась расспрашивать, что такое стряслось, что случилось, что мужчина Марины не на свободе. И тут она сама и сказала.

— Ложь это все, не виноват. Ты подумаешь, все так говорят, но это правда, он не виноват.

— Подрался, что ли? Не своровал же?

— Нет, не вор он. Но и не дрался. Оклеветали его.

— И сколько же он... Сколько ему еще?

— Сколько... — Марина помедлила, не зная, видимо, говорить дальше или нет. — Еще около года осталось.

— Понятно, — сказала Аня, а сама с усмешкой подумала, что и здесь задержится ненадолго.

— Аня, я все знаю, и семью Олега много лет знала, мы же с его матерью не просто знакомые, а приходимся троюродными сестрами. Так вот, пока я со своим Игорем по инстанциям ходила да расхлебывала, многих узнала. Кто хороший попадался, кто совсем не человек. Так вот, один как раз и был, который человек. Я виделась на днях с ним, спрашивала, что в твоём случае сделать можно.

Аня отмахнулась, словно давая понять, что ничего уже сделать невозможно. Ну, даже и найдется Олег, не простит же она обман, ни за что не простит. Вот только о дочке все мысли и были. Как ее-то вернуть, как узнать, где именно она.

— Нет, Марин, судьба моя — это только ждать, другого не дано. У меня тоже мысль есть, не может же никто из нашего большого государства не владеть информацией, где его граждане. Пойду, думаю, что кое-что узнаю.

— Не ходи, в театре навредишь, а так я сама, осторожно надо. Встретимся если, то здесь, неофициально, понимаешь?

— Да только не очень верю я в это.

— А ты не бросай веру свою, только она и держит нас всех. Понимаешь, всех!

— Не будем больше, ладно?

— Нет, завтра, а может, послезавтра как раз и встретимся, ты не отказывайся. А сейчас ложись. Время есть все обдумать. Да ты все тысячу раз все вдоль и поперек прошла в мыслях, знаю.

Аня пошла в свою комнату и снова с недоумением отметила, как это посторонний совсем человек способен хлопотать о чьей-то судьбе, принимать ее, не оспаривать, не осуждать. Бывает же такое! Одни выгнали за ее доброе дело, что и не отсудить, не вернуть, а вот тут — совсем другое. Ну, совсем! Вот и пойми эту жизнь.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

РЕПЕТИЦИИ «МИЛОГО СТАРОГО ДОМА»

Выстрел, однако, не помешал вслушиваться в то, что происходило вокруг. А было что послушать. Например, как соединились ветер и гроза, как сразу потемнело и стало почти черным небо, как задрожали листочки и как стало так страшно, как только может быть на открытом пространстве не успевшему укрыться. И неважно, человек ли это или птица. Страшно, что стихия может сместь, сдуть и устоять перед ней будет невозможно. Страшно! Но стал литься дождь, он словно бился о чьи-то преграды, так ему было тесно на небе, что он обрушивал на землю свои неистовые потоки и все не мог угломониться. Наверное, природе от всего этого было хорошо! Но только не маленькому существу, которое металось и не знало, что делать и где найти пристанище.

Весна только-только пробивалась, только нащупывала свои права и возможности, иногда уступая место и территорию зиме, которая все билась и билась, и казалось, что она не отступится никогда. Снова шел снег, и не верилось, что на календаре апрель и вот-вот станет по-настоящему светло и радостно. Радость действительно была, она билась где-то в глубине Аниного естества и связана была в первую очередь с тем, что она увидела свою фамилию в приказе распределения ролей. Да, именно Бегак, эту странную хрупкую женщину, ее ровесницу, ей предстояло сыграть. Но а пока... пока — репетиция!

Как же она любила этот процесс, когда поутру актеры приходят в театр почти в одном и том же состоянии: ожидания и некоторого смятения. Внешне никто ничем себя не выдает, но все держатся чуточку напряженно, осознавая, что впереди — неизвестность. Вот эту самую неизвестность они и пытаются и понять, и подчинить, и как-то справиться с ней. Все только получили роли, но что будет дальше, как станет развиваться

этот процесс вживания, как соединятся в итоге характеры героев и их собственные, — все это пока оставалось тайной, которую предстояло разгадывать долго.

На худсовете было решено справиться с пьесой в рекордно короткие сроки и выпустить спектакль перед закрытием сезона. Надо было и самим за лето многое осмыслить и зрителя заинтриговать: пусть себе делятся впечатлениями, пусть мнение, которое непременно сложится, будет расти, множиться и, наконец, коснется и театрального слуха, и тогда вконец станет ясно, что получилось, а что так и осталось непонятым. Ну, и, конечно, критика, как без нее?! Она и тут успеет сказать свое слово. Веское, нет ли — будет видно. Но сама пьеса, ее спокойный, миролюбивый тон вряд ли оставят равнодушной публику, которой очень не хватало именно такой тональности, такой атмосферы, которую зацепил, понял Арбузов. Все же умел он сказать свое слово в театре. Одна «Таня», которую Анна успела посмотреть в Москве еще с Бабановой, чего стоила! Именно ритм, саму атмосферу он улавливал безошибочно точно. И характеры проступали очень ясные и определенные. Всегда чуточку странные, они скрывали какаю-то изюминку, и даже некоторая недосказанность была только на руку его пьесам.

Вот и с этой Бегак. Так не понравилась она Анне, так не хотелось вживаться в эту чудаковатую женщину подросткового вида. Но в какой-то момент, размышляя о пьесе, их главный сказал, что нечего играть девочку-подростка и что надо осознать, что это просто такая хрупкая, такая неуверенная в себе женщина. Но она не слабачка, сумела же приехать и в незнакомый город к незнакомым совсем людям, и... и просто любить. Она не вполне уверена, что действует правильно, но так это и к лучшему — есть что играть, как строить характер, какую избрать динамику, как преобразовать его. Там есть, по крайней мере, что именно играть. И это главное!

И Аня уже на первых читках схватилась, как за соломинку, за эти слова: нечего играть глупышку, она

вовсе не так наивна, эта Нина. А что же взять, что сделать основой? И Аня постепенно стала нащупывать, как подступиться к роли. То по улице пойдет, возьмет себе на заметку что-то, то у знакомой Марины отыщет какую-то черточку, которую отправит в багаж, то вдруг припомнит еще из ташкентского театра сидевшую на вахте тетю Соню, которая очень охотно всегда отвечала, что происходит, кто пришел, началась ли репетиция. Потом спохватывалась и охала, прикрывала рот рукой и говорила, что, скорее всего, это не ее дело и что она просто обожает театр и жить без него не может. Точно, это была именно тетя Соня, безоглядно любившая театр со всеми его подводными течениями, хрупким и трепетным организмом, с его вихреобразным течением жизни одновременно и — что самое примечательное — с неизбывной способностью удивлять и удивляться.

Драматургом сказано, что Нина почти не снимает шапочки, которая ей очень идет. Так вот, Аня с удивлением обнаружила на вешалке у Марины именно такую, какого-то розоватого цвета, почти детскую. И она тоже была с помпоном, как и сказано в ремарке. Аня еще дома примерила ее, вышло замечательно, и она прихватила шапочку с собой в театр.

Шел застольный период, пьесу еще только разбирали, нащупывая в ней свои ходы, примеряя на себя характеры. Главный был почему-то особенно в ударе. Наверное, это было связано с тем, что именно в их театр известный писатель отдал свою еще не опубликованную пьесу. Поэтому он приходил на репетиции не только во всеоружии, припасая для актеров такие изумительные находки, которые изобретал сам для каждого персонажа, но и выглядел, одет был просто замечательно. Он и прежде-то слыл любителем хорошо одеваться, а теперь стал франтом. От него пахло чем-то изысканным. Побрит был всегда безукоризненно, его пластика, ритм движений выдавали несомненную готовность и к поворотам в репетициях, и собственную повышенную заинтересованность в успехе. Всё и все в

театре были настроены именно на успех, это читалось, это носилось в воздухе, пахло даже в буфете этим самым успехом. И угадывалось по тому, что все цеха, все мастерские так рьяно взялись за дело. Что сомнений не оставалось: спектакль должен был получиться.

Это замечали все, в том числе и Анна. И ее жизненная ситуация была прямо противоположной тому, что совершалось в репетиционном зале, да и во всем театре. Она словно выпадала из общей тональности, будучи очень и очень погруженной в свои переживания и проблемы. Да и сам материал пьесы шел совершенно вразрез с тем, что происходило в жизни Анны Кремнёвой. Она даже стала задумываться о том, не ход ли это главного, который так странно намекал в их последнюю встречу у курилки о чем-то, что только теперь начинало приобретать очертания для Анны. Что он имел в виду? Чтобы Анна не выдержала общего оптимистического настроения и завалила роль? Что это было? А может, так и следовало понимать его намерение отдать роль Нины Бегак Анне? Но она явно, явно не подходила для этой роли. Никакая она была не маленькая и не нелепая, а всегда выделялась статью, особенной манерой держаться, чуть ли не царственной осанкой, прекрасной фигурой. Зачем это понадобилось ему? Неужели мало в театре актрис, готовых к этой роли?

Она уже потом начала понимать, что даже Тася, которая была с ней всегда приветлива, вдруг стала смотреть отчужденно, а временами и просто вредничать. Сидели в одной гримерке, так Тася умудрилась спрятать Анины гримировальные принадлежности, а потом даже не извинилась, а только ухмыльнулась.

И такие знаки стали проявляться и дальше, и Анна уже научилась их читать, понимая, что это неспроста. Кому-то, стало быть, она перешла дорогу. И тогда она решила на откровенный разговор с Тасей.

— Ты, наверное, думаешь, что это твоя роль?

— А ты что, считаешь иначе? Все так думают! И дали эту Нину тебе, чтобы завалить тебя, неужели ты ничего не поняла?

— Но не я же распределяла роли! — вырвалось у Ани.

— Да, не ты! Но ты могла бы отказаться.

— Это не профессионально.

— Посмотрим, как профессионально ты будешь заваливать ее. Ты или наивная, или...

— Что, договаривай, кто я?

— Да что тебе говорить? Малахольная какая-то. То проблемы, то любовь...

— Какая любовь, ты что!

— Да все всё видят. Все знают, что ты спуталась с... сама знаешь.

— Я не спуталась, это не так.

— Да? А как, может, расскажешь?

— Нет, и не собираюсь. А роль делать буду, а если так хочется, походи и подай заявку, действуй, а не подличай!

— Ах, какие мы праведные, просто ужас. Да не пойду я никуда, так полюбуюсь, как ха-ха-ха, — засмеялась Тася, — как заваливать постепенно будешь. И все посмотрят.

Аня вскочила и чуть не ударила распоясавшуюся артистку, так откровенно желающую ей провала. Но спохватилась, отошла даже и невозмутимо сказала:

— А станешь лезть, иголки сыпать, поплаतिшься. И я знаю, чем.

Аня сама не знала, что имела в виду, говоря так, но сказанное неожиданно подействовало: соперница замолчала и потом уже не лезла ни с какими замечаниями относительно роли. Однако Анна не успокоилась, а только все больше задумывалась, что это за знак в ее жизни: призыв отступить или преодолеть сомнения и победить? Пока она не могла ответить на этот вопрос.

Когда продолжался застольный период, главный ее всячески подхваливал и, казалось, был и правда, доволен. Например, в сцене, где две женщины, бывшая жена и почти невеста, разговаривают в номере гостиницы, Юлия произносит: «Чтобы жизнь поломать, решиться

на это, надо себя забыть... всех забыть, не оглядываясь!» И Нина задает ей вопрос: «И что же — счастливы вы теперь?» В этой сцене совершенно очевидно, что разговаривают две женщины разного возраста и Нина значительно моложе. Исполнительнице Юлии — актрисе Новиковой — очень точно удавалось вкладывать такой внятный, такой пронзительный подтекст, что становилось понятно: она, и правда, отдала, даже бросила все под ноги этой самой жизни. Пошла на все, решилась на все, порвала со всем привычным и т.д. И главный, видимо, ожидал того же и от Ани. Он все приговаривал: «Милочка — это было его любимое словечко — вы не напрягайтесь так, легче, проще, будьте совершенно доверчивой, простодушной. Ну, вы же можете. У вас это в жизни хорошо выходит». Аня даже подумала, не насмешничает ли он, всерьез ли убеждает ее быть совершенно прямодушной и искренней?

И она, по наивности, спросила однажды: «А как вам кажется, она действительно любит этого Гусятникова? Он же такой странный!» На что последовала незамедлительная реакция режиссера, который вдруг сделался очень серьезным и довольно холодно произнес: «Видите ли, дорогая Анна Васильевна (в сложные моменты он иногда переходил на имена-отчества даже и с самыми молодыми артистами), дело все в том, что эта девчушка не только любит, но еще и идет на все, слышите, на все! — чтобы остаться с этим человеком. Потому и не замечает многого, даже того, что лежит совсем рядом, близко. Ее занимает только одно в жизни — эта любовь и этот человек. Посмотрите, какой путь проделывает ваша героиня, я имею в виду духовный, нравственный путь: из почти пустышки, так себе, ничего не значащей особы, она превращается в решительно действующую женщину. И вот вам доказательства: она срывается с привычного места, идет на то, что пробирается чудным способом в дом, попросту влезает в окно, она, в конце концов, останавливается в дорожке гостиницы, затем знакомится с многочисленным семейством Гусятниковых, которых и пересчитать-то пона-

чалу не может. Затем, уже обвыкнув, число постояльцев дома несколько уменьшается, как ей кажется, но ни то, ни другое не дают ей оснований для отступления. Она готова! — слышите ли вы? — готова к решительным, еще более чем прежде, действиям! И в этом ее сила. Да, она смешная, хрупкая, даже нелепая в чем-то, если хотите, но в ней есть и трогательная сила. Он, слышите? — он подчиняется ее обаянию и силе. Он отказывается от Юлии, красивой и успешной, он идет навстречу новому. Он идет к ней. А вы? Что вы? Где эта трогательная хрупкость, наивность? Что вы все так рационально просчитываете? Не годится, никак не годится. Я терпел-терпел, но теперь вынужден вам заявить, что пока вы не ухватили характер вашей героини. Работайте, отрешитесь от всего лишнего, в конце концов, что вам мешает. Подчините все роли только ей! И тогда, может быть... Но теперь я не уверен, что вы сможете. Еще попробуем!»

То, как он отчитывал Анну при всех на репетиции, когда они перешли на середину площадки, повергло ее в шок! Как он мог? Она что, девчонка? Неужели эта Верка права, и она рассчитается с ней за ее гордыню и непослушание. За то и роль дал, где гордости и достоинству нет места. Это что же, такая изоциренная месть? Ну и ну!

В тот день она выходила из театра никакая, даже не опрокинутая, а растерявшая все: представление о времени года, которое все это время так занимало ее, о минимальных своих желаниях и обязанностях. Об одежде, которую не меняла чуть ли не целую неделю. А прежде этого за ней не водилось! Да, не гналась за модой, но всегда была, что называется, собрана, хорошо и чисто одета. Теперь же даже мысли о модном шарфе унесли, она забыла, что давно хотела зайти в торговый дом, где все говорили, там есть такие. Или, по крайней мере, что там их выбрасывают иногда. Все покатилося! С его выволочкой земля стала топорщиться, искореживаться и, казалось, совсем вздыбится. Но это что-то творилось с головой Анны, которая едва со-

храняла равновесие, переходя улицы и направляясь привычным маршрутом к дому.

Ей казалось, что шла она целую вечность, да и, честно говоря, домой совсем не хотелось, и она автоматически зашла в первый попавшийся магазин и встала. Ее поразило количество самых разнообразных вещей, которые словно призывали ее обратить на себя внимание. Продавщицы, как водится, были сплошь равнодушны и неприветливы, но Ане и не надо было какого-то участия, ее устраивало, что все отвернулись и занимались только собой. Она стояла и рассматривала череду юбок, блузок, костюмов. Выбор, как потом она убедилась, не был особенно широк, но ее и это сразило немало. Редко она захаживала в такие места.

Шарфа не было, и она уже собралась уходить, как вдруг к ней подошла женщина, ухоженная, хорошо одетая, пригнулась и тихонько спросила: «Не желаете ли, милая девушка, модный шарф?» Аня от неожиданности даже попятилась, не сказав ни слова, но потом все же спросила, какого он цвета. Женщина ловким движением вывернула полу пальто, и Аня увидела кусочек ворсистого сиреневого цвета вязаную шаль. Весь товар женщина доставать не стала, сказала только, что просит недорого, всего двадцать пять рублей. Анна ахнула: это очень дорого, она рассчитывала на половину. Но нечаянная знакомая убеждала Аню:

— Вы не пожалеете, таких больше не будет, он один, мне привезли его. Сами понимаете, не из наших странств.

— А он длинный?

— Ну, конечно, — подтвердила незнакомка, по-прежнему не доставая вещь.

— А нельзя ли его посмотреть?

— Вот купите и смотрите себе на здоровье. А здесь повсюду уши.

— Кто?

— Ну, вы из другого мира, — заметила женщина, а сама все так же, не доставляя свой сверток. Только еще раз показала сиреневый кусочек. — И еще. Если вы все

же решитесь, не разглядывайте его здесь, могут и забрать куда надо. Потом, дома разглядите. Хорошо? — ласково подбодрила женщина, так хорошо пахнувшая, такая милая и добрая. — Хорошо, уступаю вам пять рублей, но больше не могу. И так — себе в убыток. Берите. И она стала едва ли не насильно отдавать Анне сверток. Той ничего не оставалось, как вынуть двадцать рублей и отдать их милой женщине, почти фее. Та взяла, моментально положила куда-то внутрь своего пальто деньги, вручила Анне сверток, и Аня еще намеревалась что-то спросить, однако женщина испарилась так же внезапно, как и появилась. Аня огляделась, не увидела никого похожего на нее и вышла из магазина. Следуя инструкции женщины, она действительно не раскрыла свой замечательный сверток, а быстрым шагом направилась к себе домой.

И только там, прямо в прихожей, она раскрыла попку, стала быстрыми движениями разворачивать и вдруг застыла, обомлевшая: в пакетике лежал кусочек все той же сиреневой ткани, и был он, правда, очень хорош, но самого шарфа, да именно его, и не было. Было рядом еще что-то, похожее на обрезки ткани разного цвета и плотности, но шарфа... шарфа не было. Как и тех двадцати рублей, которые Аня собиралась все же вручить в конце месяца Марине.

Она сгребла в кучу то, что еще недавно считалось шарфом, прошла на кухню, чтобы бросить обрывки тканей в мусорное ведро, и снова застыла, как вкопанная: там, удобно расположившись, сидел у кухонного стола совсем незнакомый мужчина, который при появлении Ани улыбнулся и миролюбиво предложил: «Что, будем знакомиться?» Аня стояла и не отвечала ничего, так ее поразил вид незнакомого человека в этой квартире, к которой она уже привыкла, а более всего — к хозяйке ее. Мужчина поднялся, оправил рубашку и протянул руку:

— Игорь, — представился он.

Аня по-прежнему молчала, выдавая тем самым и

свою обескураженность, и неготовность к такой встрече. И снова выручил он:

— Ну, что же вы? Все нормально, вот, Мариночку ожидаю. Ключ, как вы понимаете, у меня был.

— А вы же должны были... — Аня не успела договорить, как новый знакомый перебил ее:

— Да, должен был. Но вот, видите, как вышло, Вышло, что раньше прибыл. Разве плохо?

— Нет, я не это хотела... А Марина, она в курсе?

— Пока нет. Но, думаю, через часик уже будет в курсе. А что? Да вы располагайтесь, я не помешаю. Она мне писала, что вы теперь с ней вместе.

— Да... — только и сумела протянуть Анна.

— Чаю будете? На улице уже прохладно стало, хотя апрель, пора бы... — Он не договорил, что пора бы, но и так было совершенно ясно, что он хотел сказать о припозднившейся весне, которая все никак не могла проявить характер и потеснить зиму.

— Спасибо, буду. — Аня смотрела в окно, видела, как сгущались сумерки, а сама соображала, что теперь будет и куда она пойдет. «Некуда! Просто-таки некуда!» — заключила она.

— Что вы там такое говорите?

— Да нет, я про себя.

— Не стоит, говорите про меня, про Марину, но внутрь себя — не стоит, лишнее, потом навредит. Знаю, вы о житье своем сейчас. Что-нибудь да устроится, не берите в голову.

— Да нет, я ничего. Придумается, я знаю.

— Вот и хорошо. Пейте чай. Я все больше к крепкому привык, а вам разбавлю, пейте. Да перестаньте думать об этом, все нормально. Вот, слышите? — это Марина.

Игорь поднялся и быстро пошел открывать дверь. Слышно было, как Марина коротко охнула, потом слышались восторженные возгласы, смех, и стало ясно, что встретились двое, мужчина и женщина, и что в этой ситуации третьему человеку здесь нечего делать.

Аня это поняла в одно мгновение и тут же пошла в свою комнату собирать вещи.

Однако через некоторое время вошла Марина, которая все поняла, встала около двери и строго сказала, что сегодня, и завтра, и еще какое-то время все будет по-старому.

«По-старому уже ничего не будет», — подумала Аня и стала крутить свою розовую шапочку с помпоном, которая, как она начала догадываться, тоже вряд ли сможет ее спасти. Репетиции «Старого дома» стали складываться таким образом, что Ане явно давали понять, как она не вписывается в общий ансамбль, как характер Нины Бегак противоречит ее индивидуальности и что вряд ли с этой ролью она справится.

Но в этот вечер Анна все же не ушла, хотя и понимала, что двое должны остаться вдвоем, что она будет мешать. Но понимала и другое: сдержанная страсть будет еще сильнее. А так будет уже по той причине, что в доме третий человек и придется как-то сдержаннее себя вести. Но Аня все равно задумала, как и что будет делать. А пока... пока она готовилась к очередной репетиции и в очередной раз сознавала, что случится опять облом, главный станет нападать и т.д.

В театре актриса Новикова, та, что приходила к ней в больницу кроме Лизы, сказала, чтобы в перерыве Аня нашла ее, что надо переговорить.

И на этот раз все повторилось: главный уже не скрывал своего раздражения и говорил, что Ане ничего не удастся: и в окно она лазать не умеет, и никак не может поймать нужный ритм поведения, и вообще. «Что же вообще?» — решила спросить Анна. «Ах, вы еще вопросы задаете вместо того, чтобы искать, вникать и не спорить. Вспомните себя, наконец. Не приходилось ли лично вам идти на какие-то ухищрения, чтобы добиться своего? Или вы вообще лишены недостатков и всегда действуете честно и прямо? Хотел бы напомнить...» Но Аня перебила его, громко крикнув: «Я все понимаю и понимаю даже, почему все происходит именно так. Но я ничем не поступлюсь, слышите, ничем. Я

не слепая. Вы нарочно меня мучаете, я знаю, все это видят. Перестаньте или снимите меня с роли!» Это был конец! Все замолчали, причем стало так тихо, что было слышно, как в курилке кто-то громыхнул пепельницей и снова воцарилась тишина. Да, это был конец! Такая мысль пронеслась в головах многих актеров, не только в Аниной.

Главный улыбнулся, поправил свой галстук, вышел отчего-то вперед на авансцену и задал вопрос:

— Вы действительно этого хотите? Чтобы вас сняли? Милочка, но это непрофессионально! А нам, сами понимаете, непрофессионалы не нужны. Идите и подумайте, у вас есть еще шанс. Я... да, я вам его предоставляю. Идите! Все свободны на тридцать минут.

Он повернулся на своих начищенных, как всегда, ботинках и, снова взявшись за галстук, спустился со сцены в зал.

Анна почувствовала, как ее взяли за руку, и поддавалась, чтобы пойти куда-то, куда ее вели. Это была актриса Новикова, которая чуть ли не тащила Анну в свою гримерку. Аня поддавалась, она шла, не видя никого и еще не представляя до конца, что натворила.

Когда они оказались в гримерке и Новикова усадила Аню в кресло, которое стояло тут же, дала воды и велела расслабиться, Аня, наконец, расплакалась. Актриса Новикова что-то знала такое, что не стала приставать к девушке с утешениями, а просто сказала, что выплакаться нужно, но затягивать этот процесс не стоит. И в какой-то момент жестко уже приказала:

— Все, успокойтесь. А теперь слушай. Слышишь?

Аня кивнула и отхлебнула воды.

— Давно выбирала момент, но, по-видимому, опоздала, — с усмешкой сказала Новикова. — Ты наивна даже больше, чем твоя Нина Бегак. Ты ничего не видишь и почти ничего не слышишь. Все давно поняли, что главный положил глаз на тебя, а твоя незрячесть его только бесит. И чем дальше, тем больше. Тебе что, трудно было в ресторан с ним сходить? Просто отобедать? Да не смотри ты на меня так, все знаю. Не спать

же с ним я тебя отсылаю! Не смотри. Думаешь, я — народная просто потому, что хорошая актриса? Никто не спорит, хорошая, но надо было так постараться, что самой иной раз тошно. Нет, я ничего позорного не делала, но и лютика из себя не строила. Перестань на меня так смотреть. Знаю, что ты чиста, что невинна больше, чем какой-нибудь лютик. Я просто не позволяла ему усомниться в том, что он может быть интересен. Он интересен, слышишь? Всегда и всем. И это недалеко от истины. Я ничего не утратила ни как женщина, ни как личность. Но я брала другой тактикой, не такой лобовой, не так прямолинейно. Это театр, а у него свои законы.

— И что же, один из них — это уступать режиссеру в его притязаниях?

— Нет, не уступать, но и не бить наотмашь. А сегодня ты била. Все поддержат тебя, но про себя, не в открытую. А при встречах будут сторониться и отворачиваться. Так надо, чтобы выжить.

— Про себя — это плохо! — вспомнила Аня недавнее нравоучение Игоря, их нового жильца с Мариной.

— Не умничай, про себя — это про себя. Любишь театр — люби его с его прибабасами, глупостью, неуклюжестью, всем-всем. А любить избирательно — это, знаешь...

— Что, договаривайте.

— А то, дорогая, что с любовью очень скоро будет покончено. Он не простит, ни за что не простит тебе сегодняшнего. Но сделает это так изощренно, что ты и не поймешь ничего. Он допустит тебя до репетиций, даже начнет подхваливать, он не так глуп, как видишь, а потом... потом и настанет конец! В тот самый момент, которого ты не только не ожидаешь, но даже и предположить не можешь, что подобное возможно.

— И что же делать? — спросила Анна.

— Что? — задумалась зрелая женщина. И снова переспросила: — Что? Пойди к нему в кабинет, пойди и объяснись.

— Но он мне не нравится...

— Глупая, ты погибла.

— Я не хочу идти с ним никуда!

— Максимализм хорош в ролях! А ты тащишь его в жизнь, в отношения. Весь коллектив хочешь против себя восстановить? Валяй!

— А как же все то, на чем вообще театр стоит? Все?

— Он стоит и на этом тоже. Да, и на интригах. На зависти, на ревности, в конце концов. А ты думала? Тебе, полагаю, нужен перерыв. Попроси у него творческий отпуск, найди, придумай объяснение. Но обошнуй! Я подскажу.

Аня задумалась, и в голове мелькнула мысль, что, может, Новикова не так и неправа, что, может, стоит пойти, да еще и попросить время... Только на что? Зачем ей это время? А как же жить, на что? Нет, не пойдет это. Но разговор, разговор нужен. И без свидетелей. Однако в тот день она этого не сделала, и только на следующий отправилась к кабинету. Нужно было подняться на второй этаж, обогнуть фойе и только тогда оказаться в нужном месте. Пока она совершала этот путь, снова отметила, как много в этом театре синего цвета, и еще отметила, что очень люит его. Даже в их доме в Ташкенте во второй маленькой комнатке, еще в той, где жили они до землетрясения, было сюзане, фон которого тоже был синим. Ах, да что там сюзане?! Сама жизнь, казалось, соткана из синих с белыми радужными цветами, а вокруг них еще красные крути, как это было принято на рисунках сюзане. Там непременно присутствовал черный или темно-синий цвет, цветы были желтыми и красными, использовался также малиновый. Любимые сочные тона Средней Азии!

Когда она подошла к дверям, успела подумать, что там, скорее всего, будет его секретарша, которой надо будет что-то объяснять. Однако когда все же приоткрыла дверь, прекрасную массивную дверь отнюдь не синего цвета, то обнаружила, что никакой секретарши там нет и что следует просто постучать в следующую дверь. Так она и сделала и услышала его голос: «Войдите!» Она, наконец, открыла роскошную дубовую

дверь, та поддалась, и Аня оказалась на пороге удивительной комнаты, в которой была всего однажды, в тот самый год, перед самым праздником Нового года, когда состоялся их первый разговор и его насмешливое предложение о работе. Да, и тогда тоже он был словно соткан из каких-то странных пружин, которые иногда то подергивались, то позвякивали. Так и казалось, что он сам — не из живого человеческого теста, а из чего-то театрального и искусственного.

Он сидел перед массивным, под стать двери столом и что-то писал. При виде Анны у него сразу же изменилось выражение лица: стало безучастным и равнодушным. Видимо, сработали те пружинки, которые отвечали за мимику лица и спешно надели на него маску хладнокровия и даже брезгливости. Он продолжал смотреть молча и выжидающе. Тогда отважилась Анна.

— Простите, я хотела кое-что сказать.

— Кое-что? — он снова насмешливо улыбнулся, как и тогда, уже давно-давно.

— Да. Я понимаю, что была неправа. Но ничего с собой поделывать не могла. Не сдержалась. А то, что роль не моя, — это и так ясно. Но я...

Он снова смотрел все так же выжидающе и насмешливо. Не трогаясь с места, не совершая никаких движений, он просто завораживал Аню своим спокойствием и невозмутимостью. Она, конечно, ступевалась. Но продолжала говорить.

— Прошу дать мне возможность продолжить репетиции.

— Возможность? — наконец произнес он одно только слово.

— Да, именно так! — выпалила Аня.

— И смотреть, как вы блуждаете в потемках?

— Я ищу, я найду, в конце концов. У меня в итоге все может получиться, вы же знаете, как я могу работать.

— Вы не изменили своего решения по поводу какого-то маленького десерта, скажем, или мороженого, на худой конец? Нет? Все так же непреклонны?

— Зачем вам это мороженое? — неловко задала свой вопрос Аня.

— Хорошо, можно и без него. Можно просто пойти... скажем, пойти в гостиницу. Как вы на это смотрите?

Аня изумилась: все, к чему она готовилась, весь ее разговор и пылкость снова свелись к идиотскому предложению теперь уже не пообедать, а еще хуже. Куда он загибает? Да это же нарочно, это неспроста, это он проверяет, до какого предела она дошла. Ну, нет, это невозможно!!!

— Я не готова. Думаю, что не готова.

— У вас что, платья подходящего нет? Так это не проблема.

— У меня все есть. Все!

— Так что же мешает?

— Вы! — снова выпалила Аня и чуть не провалилась сквозь изумительной красоты паркет.

— Это вы серьезно? Хотя, да, вы же не умеете шутить, все больше в лоб, все прямо, без изысков, без поворотов. А слушайте, хотите получить заслуженную? Вот прямо на следующий сезон?

— Ой, я не знаю, что сказать, не знаю, вы так странно строите разговор. За дуру меня держите.

Тут главный резко поднялся, подошел к Анне и взял ее за руку.

— Я скажу вам то, чего не говорил ни одной актрисе. Ни одной. Я ведь до сих пор холост. Может, слышали?

Аня неопределенно пожала плечами.

— Так вот, я это говорю вам для того, чтобы вы поняли: я не совершаю ничего предосудительного. Вы мне просто нравитесь. И нравитесь давно. Но, видно, вы непрошибаемы.

Он попытался приблизить Аню к своему лицу и даже уже коснулся губами ее щеки, но Аня вывернулась, отстранилась и все так же пылко сказала: «Боже мой, я не знаю, я не могу, понимаете, не могу. Мне ничего не надо, я просто больше не могу». Она вырвалась и

направилась к выходу, но он моментально перегородил ей дорогу, схватил за талию и снова попытался поцеловать. Однако и на этот раз Анна выскользнула и только провела рукой по лицу, потому что он все же успел снова коснуться ее лба губами.

— Значит, нельзя? Ничего нельзя? Я ждал, я много ждал, вы знаете. Но теперь достаточно. Вы сами выбрали свой путь.

— Вы что же, мстить, что ли, будете? — вспомнила она слова Новиковой.

— Там видно будет. Даю вам два дня. Всего два дня. Не одумаетесь — все полетит к чертям! До свидания! — и он резким движением открыл дверь и буквально выпроводил Аню из кабинета.

Улицы в тот день снова отчего-то корежились и словно теряли свою устойчивость, клонясь набок и искривляясь. Хотя шел прямой проспект, как все прямые и ровные в ее любимом городе. Однако она продолжала идти и даже не особенно вникала в происшедшее: ну, гори он, в конце концов! Другое дело, что театр, сам театр мог оказаться для нее закрытым, и это было самое страшное. При таком раскладе он пойдет на все, это уже ясно. Он не остановится только на том, чтобы снять ее с роли, нет! Выгнать, да еще с позором — вот его сверхзадача, его главная теперь линия. Такова месть, так он рассчитывается с Анной — теперь ясно! Но что делать, что? Не идти же, в самом деле, на уступки, на предательство самой себя! Какой, к черту, ресторан?! Мыть полы, подметать улицы, куда-то еще устраиваться, но только не это! А что, если... Нет, правда... Что, если сходить в этот самый ресторан? Ну, отобедать, и что? Что из этого? Не спать же с ним она будет? Да, но именно после такого похода он и поймет, и уверует в то, что все остальное — вполне возможно, все дело времени! Что это естественное следствие, такая понятная цепочка: поедите — в койку — получите вашу роль. Так, выходит? И ничего, ровным счетом ни-че-го по-другому? Не будет обеда, вообще ничего не будет! А пока не изгнали... пока не... Вот именно, пока

НЕ! Стало быть, надо что-то сделать самой. И это уже ясно — что. Уйти, уйти самой, не дожидаясь унижительного изгнания, пересудов потом, всей этой жуткой цепочки несправедливости, которая незамедлительно срабатывает. Уйти — вот главная задача, вот решение. Уйти, другого выхода нет!!!

И Аня прибавила шагу. До дома оставалось совсем немного, ее уже даже не пугало, что предстоит принять решение и там, и вообще... вообще-то куда-то деться. А деться-то было и некуда. Вот именно. Но на душе в то же мгновение сделалось легко и даже весело. Такое облегчение возникло от сознания полной, ну совершенной свободы. Свободы от всего: от работы и дома, от привязанностей и обязательств, от всего, что болело и казалось важным и требующим срочного исполнения. Ничего этого теперь не потребует! Живи себе как абсолютно голенький, только с природой сообразующийся человек. И все тебе будет подвластно, все! ты никому ничего не будешь должен, никому не обязан. Даже здороваться с ненормальной Соней не придется, а можно будет привольно жить и изучать эту самую жизнь. И понимать какие-то такие малости, такие мелочи, которые прежде казались непостижимыми или на которые просто не оказывалось времени.

Вставал, правда, один вопросик, но он маячил пока как-то неопределенно и не сложился еще в некие надобность и сложность. Это — на что жить? На те самые, заработанные от мытья полов? Ну уж! Но думать теперь, именно сейчас об этом не хотелось, и Анна решила, что всему свой черед, и, как говорил папа, все и должно идти своим чередом, а следовательно, исполнять задуманное надо последовательно и одно за другим. Постепенно, так сказать.

Вот завтра — это решено — пойти на репетицию, провести сцену с Гусятниковым так, чтобы у всех дух захватило, а днем, по окончании — подать заявление с завтрашнего числа. И — не медлить, ни в коем случае не поддаваться ни на чьи уговоры, разные там увещания. Действовать только самой, и только по плану!

Она купила бутылку вина, посмотрела, сколько еще осталось, и решила, что хватит вполне и на торт, купила и его. До дома оставалось совсем немного, она приготовилась к тому, что возникнут вопросы, ее так просто не оставят, начнут выспрашивать, по какому случаю и т.д. Но и к этому, казалось, она была готова. Ответит!

Как ни странно, но и дома ее подстерегали неожиданности. Так, она не увидела ни чемодана, ни вещей Игоря. Затем, уже оглядевшись, поняла, что и с вещами Марины что-то не так: в комнате царил беспорядок, платья, пальто, все содержимое шифоньера было разбросано по всей комнате. Создавалось ощущение, что хозяева в спешке то ли покидали квартиру, то ли... Нет, на посещение незваных нехороших людей все это было не похоже. Отсутствие порядка все же компенсировалось тем, что шкапулка, одна-единственная, стояла на месте, что любимое платье Марины почему-то аккуратно висело на стуле. И еще одна деталь: на плите стояла кастрюля со щами, и она была горячая. Это свидетельствовало только об одном: хозяйка квартиры еще совсем недавно была в доме, и что-то заставило ее спешно покинуть ее. Спешно — потому что щипы были нетронутыми.

Аня автоматически стала перебирать вещи, складывая их, убирая в шкаф, расставляя по местам, поскольку и ваза, тоже, надо сказать, единственная, и лампа сдвинулись со своих привычных мест. Она прибиралась и думала, что вот, через день-другой и эта квартира станет ее воспоминанием, что новое и неизвестное поджидает ее совсем близко.

По заведенной привычке и договоренности Аня налила себе тарелку супа и с удовольствием съела. Она вообще отметила, что принятое решение, сама мерзкая ситуация, включая театр, жилище, личные проблемы, вдруг расступились, и действительно очень полегчало. Словно отступило что-то тяжелое и страшное, что давило, мучало и не давало покоя долгое-долгое время.

Аня думала, что осталось с этим домом только одно: встретиться с тем человеком, о котором говорила Марина, и сделать это предстояло завтра. Что ж, все на один день! Это и к лучшему!

Хозяйка появилась так же внезапно, словно и не уходила. И снова осыпала неожиданностями. Ну, поначалу вот что: они, оказывается, были в ЗАГСе и подали заявление. Это первое. Затем купили зачем-то швейную машинку, которую и притащили в дом. Все это наперебой рассказывали оба, причем Аня поражалась словоохотливости и Игоря тоже. Обычно он не был столь многословным. Так что, сказали молодые, их стремительный поход был вызван приступом сильнейшего желания бегом отправиться в ЗАГС со всеми вытекающими последствиями.

Аня все выслушала, затем молча вынула свои гостинцы и выставила их на стол. «Как знала!» — сказала она. Игорь удивился даже больше Марины такой прозорливости. «Это хорошо, что они ничего не знают», — подумала Аня и была права. Хозяева, между тем, стали говорить, что все уже распределили и что им вполне хватит и одной комнатки, что Аня так и останется с ними.

Но сама Аня так не думала и понимала, что даже и задумываться не надо, стоит ли все менять: надо! И с этими мыслями она ушла к себе, выпив вина и окончательно расслабившись. И только наедине с собой, когда осталась одна в комнате, поняла, как тяжело ей дался и сегодняшний день, и все другие долгие дни и месяцы, в которые она пыталась бороться, как-то изменить ситуацию, просто осваивать роли и не думать, главное — не думать о том ужасе, в который ее опрокинула жизнь. Без дочки, без знания о ее местонахождении жить было почти невыносимо. И эта самая Бегак с ее чудаковатым характером, ну никак не вписывалась в жизненную Анину ситуацию. Даже работа на материале, который, как говорили в театре, шел «на сопротивление» этого материала, был не по ней. Все в ней казалось смешным и нелепым. И Аня не находила нужных чер-

точек в своем характере, чтобы оправдать героиню, которую предстояло сыграть.

Но неожиданно именно этой, как она считала, последней ночью перед расставанием с театром, ей вдруг то ли послышалось, то ли она воочию увидела, как открывается дверь и входит эта ее Нина Леонидовна. Она еще отчего-то подумала, что отчество ее дальней родственницы, вернее, дочери ее крестной, тоже такое же. И оно ей всегда нравилось. «Леонидовна» — в этом было что-то величественное. Да и сама дочь ее тети Тамары тоже была под стать своему замечательному отчеству: такая же высокая, гордая и величественная.

Вошедшая совершенно спокойно присела на край Аниной кровати, осмотрелась и сказала:

— А у вас тут неплохо. Даже очень. Запах какой-то хороший. Это чем так пахнет?

— Господи, — только и сумела произнести Аня. — Однако тут же наплась. — Это запах ладана. Нет, запах ладана и скорби.

— Отчего же скорби?

— Да стихи такие есть. Разве вы не знаете? Кажется, Вертинского. А моя мама с ним работала. Это кажется, что он такой неприступный и высокомерный. Мама говорила, что он замечательный. Ой, — спохватилась она, — вы что-то хотели сказать?

— Да, я, собственно, по делу.

— Вы же Нина, да?

— Да-да, правильно. Не стоит так резко менять жизнь. Вот я пошла на это, но вы же не знаете, как все там дальше сложилось. Скажу вам, ничего хорошего. Я повзрослела, поумнела, стала больше доверять самой себе. Эти дети, я до сих пор не знаю, сколько их на самом деле, так вот, они меня вконец измучили. То любят, то ссорятся со мной, то какие-то претензии по наследству.

— А что, разве Гусятников... он что...

— Да нет, в том-то и дело, что он жив. Но распри уже начались.

— Странно, такие дружные, вроде бы, были.

— Что ж делать, такова жизнь.

— А вы и впрямь повзрослели, мудрее, что ли, стали.

— Станешь тут!

— Нет, я все переживаю, что она мне не дается, одни нелепости и причуды. Не могу схватить характер, нащупать его.

Нина Бегак засмеялась. Да так заразительно, так громко, что Аня даже испугалась: не услышат ли их хозяева?

— А вы не тушуйтесь. Идите от меня сегодняшней, ну, той, которой я стала. Пусть этого нет в пьесе, но жизнь-то продолжается, а значит, есть и развитие, и вообще...

— Что вообще? — спросила Анна.

— А то, что человек не стоит на месте, все в динамике! Разве вы не изменились? Уж я не о годе жизни даже, а хотя бы о том периоде, что идет работа?

Аня сообразила мгновенно, что уж она-то как раз изменилась, да и события так спрессовались, что дальше некуда.

— Я тут такое надумала...

— Уйти захотелось?

— А вы откуда знаете?

— Ну, вы что же, законов жанра не знаете? Сейчас я — фея, значит, мне все известно, все я знаю. Уйти собрались. Нашли чем удивить! Вы вот сыграйте, докажите, а там и приставать перестанут. А то самое легкое избрали.

— Ну и нет! Какое же это легкое? Распроститься с любимым делом?

— Именно так! Пойдите с ним, отобедайте. В конце концов, вы не в пропасть летите. Дайте понять, кто вы такая. Уважения только прибавится. Покушать вместе — это еще не грех.

— Но тем самым я даю надежду!

Нина Бегак снова весело засмеялась и отметила:

— Не говорите глупости. Чем сложнее вы построите отношения, тем ему же создадите большие трудности. А так... И вы ушли, и он остался. Радость какая!

— Это не радость, согласна, но доказательство.
— Чего? — иронически пропела Нина. Что вы такая стойкая. Я и не думала, что так повлияла на вас.
— В смысле?
— В смысле прямолинейности.
— Ищите сложные пути, не надо все в лоб. Вы и так побиты, будь здоров, — заключила Нина Леонидовна и неожиданно предложила. — Послушайте, вот в той сцене, где Гусятников прямо обомлел от ее прихода, там надо не так пугаться, как вы это делаете. Вы же женщина. Ну, подзаведите его, ну, понасмешничайте. Чего вам стоит?! А вы и тут в лоб! Мягче, игривее, завлекайте его! Не тушуйтесь.

Аня слушала свою героиню, открыв рот: когда успела эта чудно одетая и без шапочки с помпоном женщина так преобразиться? Просто потрясающе!

— А как самой вам кажется, будут они счастливы?

— Скажу банальность: счастье — это ожидание счастья. Мне кажется, что и в этой пьесе, и в других нашего дорогого Арбузова присутствует это самое ожидание, которое всегда многократно действеннее, живее. Чаще всего его герои пребывают в процессе достижения, пути к нему, преодоления такого пути. Это и поиск, и собственно путь.

— А вы умная, — заключила Аня.

— Видите ли, понамыкаешься с мое, станешь мудрой. А ум... ум — это нечто другое. Ум ведь тоже всегда разный. Вот как вам кажется, Юля умная? Или другое что-то?

— Да, другое. Она больше... больше, наверное, птица. Которая и поклевать может, и щипнуть. И хитрая, и добрая одновременно.

— Во-от, точно. И то, и другое. Но не дура, правда?

— А что, разве... — тут Аня запнулась, потому что хотела спросить про саму гостью. Но та словно и так все поняла, даже и не услышав.

— Конечно, умная. Не дура, уж точно. Но не это в ней главное. Она — щедрый человек. Она не себе на

уме, она, наконец, вся состоит из отдачи. Ей легче отдавать, чем брать. А сама-то ты что, другая? Тоже отдаешь, иногда себе в убыток живешь, против принятых правил.

— Господи, сколько же вы знаете! Да еще и о себе самой! — заключила Аня.

На этом гостья встала, подошла к зеркалу, поправила прическу, провела рукой по лбу и, все так же глядя в зеркало, сказала:

— Любить всегда непросто. А уж счастливой при этом быть!..

И она... словом, ее не стало так же мгновенно, как и сам приход, неожиданный, сказочный, невероятный. А Аня стала думать о завтрашнем дне и о том, что за ним последует. Или может последовать.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ПАДЕНИЕ

Умирать, оказывается, вовсе не страшно. Это для окружающих, для близких в смерти есть потрясение, ужас. Словом, смерть, она и есть смерть. Но когда летишь, и полет все длится и длится, уже неважно, жив ты или нет. Главное – это движение, которое путает все на свете: то тебе кажется, что все, воздуха уже нет, дыхание вот-вот оборвется, а в следующую секунду видишь свет, и он по-прежнему яркий и, значит, жизнь еще здесь, еще продолжается, еще есть надежда.

Как же не хочется прощаться с жизнью, птица ты, человек ли, все равно живое существо. Но вдруг все переворачивается, земля отчего-то оказывается наверху, внизу – небо, и ветер гудит так сильно, так тревожно и так неистово, что сомнений не остается: случилось непоправимое.

Когда Аня проходила мимо курилки, то неожиданно столкнулась с главным. Он вынырнул так неожиданно, что она на мгновение растерялась и даже не сразу поздоровалась. Только приостановилась слегка и тут же услышала брошенное на ходу: «Итак, второй день на исходе. Жду в кабинете в пятнадцать часов. А сейчас... сейчас репетиция. Извольте быть». Он повернулся щегольски на своих неизменно начищенных каблуках и исчез.

Аня постояла еще какое-то время, потом, не дойдя до гримерки, повернула назад и направилась к репетиционному залу. Все актеры живо обсуждали новость: сегодня – первая репетиция на сцене.

Еще оставалось некоторое время, и можно было выпить чая в буфете. Там она увидела актрису Новикову, которая что-то живо обсуждала с Лизкой. Это показалось Анне тем более удивительным, что эти две актрисы не пересекались никогда: ни в гримерке, ни на сцене, а уж тем более в буфете. Но говорили они

так громко и не таясь, так были возбуждены, что сомнений не оставалось: предметом их обсуждения был кто-то. И этот кто-то находился совсем рядом с ними.

В какой-то момент Аня даже растерялась: не знала, входить ли ей в помещение или лучше уйти, потому что услышала обрывок фразы, не оставившей никаких сомнений. «Вы бы, милочка, лучше подруге помогли вместо того, чтобы сплетни распускать!» Точно, это про Аню. Про кого же еще? Так в третьем лице подумала про себя Анна, услышав выговор зрелой актрисы. Да, сомнений не оставалось, речь шла о ней, об Анне. Действительно, в последнее время Лизка сторонилась Аню, всячески ее избегала, а вот Новикова нисколько не изменилась, была по-прежнему приветлива и, казалось, даже нарочно выказывала свое внимание Анне.

Когда Анна появилась в дверях, обе заметили это и замолчали. Но через секунду Новикова вызывающе громко произнесла.

– Вот, Анечка, все спорим: годится ли в театре сплетничать, тем самым оскверняя сам храм искусства? Наверное, нет! Без сплетен, ясное дело, никуда, но и меру знать надо. Это, кажется, ваша подружка?

Аня пожалала плечами, давая понять, что не очень-то и хочет поддерживать этот разговор, тем более уличать кого-то. Нашлась Лизка.

– Ань, нет, ты скажи, я что такого сделала? И в больницу к тебе приходила, и вообще...

– А позвольте полюбопытствовать, вообще – это что? Как это, про что? – И с этими словами Новикова обернулась совсем к Анне. – Видите ли, моя дорогая, услышала я мерзкую совсем вещь, даже и повторять не хочется, но что поделать, придется. Жаль, дуэлей нынче нет, да и женщин к ним не подпускают. А то бы я!.. – Она не закончила фразу, как Лизка попыталась выскользнуть из буфета, но Новикова схватила ее за рукав и строго сказала:

– Нет, дорогая артисточка, не выйдем! Извинитесь

за вашу клевету! А то, что это клевета, я не сомневаюсь. Аня, скажите, скажите ей, что вы не по своей воле без дочки. Что все так вышло. Как это и водится обычно! — И она повернулась снова в сторону Лизки, по-прежнему норовившей улизнуть. — Советую вам впредь помнить, что есть я, а я не прощаю оговоров и всю жизнь с ними борюсь. Идите прочь! — и она царственным жестом указала молодой артистке на дверь. — Будет тут всякая мелкая рыбешка строить из себя крупную рыбу! — сказала Новикова и тоже покинула помещение.

Пить чай почему-то расхотелось, и Аня отправилась в сторону сцены, отчетливо сознавая, что день сегодня не просто важный, но особенный и что сегодня, возможно, многое переменится в ее жизни.

Актеры весьма осторожно передвигались по сцене, пытаясь не задеть выгородок, которые пока, до монтажа декораций, выполняли их роль. Говорили тоже негромко, вполголоса, но даже в этой осторожности чувствовались и напряженность, и повышенная возбудимость артистов.

Так, один молодой, недавно пришедший в театр актер, которого почему-то все звали Харис, хотя он был Харитоном, споткнулся и чуть не снес выгородку. Раздался смех, но очень скоро прекратился, потому что на смеявшихся зашикали. Молодой человек поднялся, отряхнул штанину, тоже пытался засмеяться, дабы скрыть неловкость, и все понимали, что и сцена, и сами люди находятся в состоянии повышенного ожидания, все взволнованны и несколько взвинченны.

Предстояло репетировать большую сцену, в которой участвовали все занятые в спектакле артисты, включая, конечно, и Нину Бегак, и Юлию, бывшую жену главного героя, Юлию, приехавшую в их маленький город в надежде все вернуть: прошлое, любовь, детей, своего мужа. Но на пути оказывается препятствие в виде маленькой хрупкой женщины, этой самой Бегак, роль которой досталась Ане, которая полюбила героя, Гусятникова, и надеется выйти за него замуж.

Начали парную сцену, к которой впоследствии присоединяются и остальные участники комедии.

Г у с я т н и к о в. Умоляю вас, говорите тише! Я и так страшно боюсь, как бы не прибежали сюда все остальные, услыша, как сильно бьется при виде вас мое сердце. Ну, не предполагал я, что могу кого-нибудь полюбить вот в такой мере.

Н и н а. Я тоже не предполагала, что могу так полюбить, что возьму вот и влезу в чужое окно.

Такое странное объяснение возможно, действительно, только в комедии. И Аня давно это поняла. Она в этот момент словно примеривалась к своему Гусятникову, словно что-то размечала и высчитывала. Тем более это было сделать непросто поскольку очки ее куда-то запропастились. Так вот, она в какой-то момент возьми и запрыгни на руки к мужчине, который этого совершенно не ожидал. Не ожидал и растерялся, а потому чуть не уронил ценную ношу, покачнулся, перевернулся с Ниной-Аней на руках, удержал-таки равновесие и... осел на пол. Раздался хохот. Было так весело и так неожиданно вовремя, к месту, что актеры даже зааплодировали. Бедный Гусятников, роль которого исполнял Костя Пирогов, которого все в театре любили, так был потрясен Аниной находкой, что только и мог сказать, что это здорово, но что надо предупредить. Он вытирал бесконечно со лба пот, тер свой платок, и это только усиливало комический эффект, потому что еще какое-то время все еще продолжал оставаться на полу. А Нина уже соскочила, поправила свое платье, неизменную шапочку и тянула за руку Костю, которого и в жизни звали тоже Константином. Он все упирался, все не мог подняться, и актеры уже просто валились от смеха, так непривычно и неожиданно все складывалось. Наконец, отдышавшись, Костя поднимается и пытается говорить текст, после которого герои целуются. И это у них получилось

превосходно, все так же в жанре, так же без комикования и плюсовки, а органично хотя бы потому, что оба запыхались, пытались отдышаться, и вся сцена была построена на этом физическом действии: стремлении Кости обрести былую форму, а Нине сохранить нынешнюю, да еще и помочь мужчине.

Однако реакция самого режиссера была более чем странной. Так, он не разделил восторга артистов-зрителей и объявил перерыв. Причем без всяких комментариев. И Костя, и, конечно, Анна были в замешательстве: что это могло значить? Сама-то Аня догадывалась, что за этим стоит, но развивать печальные мысли не хотела и медленно пошла к себе в гримерку, зная, что в это время там не должно быть никого. А просто потому хотя бы, что все актеры ринулись в буфет, а те, что сидели вместе с ней, не были заняты в репетиции.

Она села у своего столика и стала всматриваться в свое лицо. Увидела женщину с копной светло-русых волос, еще ничего себе, вполне даже, молодую, но какую-то печальную. По крайней мере, взгляд ее не был горящим и озорным. Томило, непременно что-то тяжелое томило и мучило эту молодую особу. Она провела рукой по лбу, как это обычно делала, и не заметила, как в дверях появился он! Именно так: он вошел без стука и молча смотрел, как Аня сидит и рассматривает себя. Поэтому она и не обратила внимания на осторожный тихий приход, так была увлечена стремлением понять, отчего же такая грусть зависла над ее лицом. Ответа не нашлось, попросту не успела решить, что и почему, поскольку на нее неотрывно и так же молча смотрел этот человек, как она еще мгновенно успела подумать, — кровопийца. Почему именно кровопийца, она не знала, но слово это сквозануло сквозь это рассматривание, его приход, молчаливое обоюдное вопрошание: так да или нет? Что за всем этим последует, кто кого?

Нет, Аня даже не стремилась больше сопротивляться, спорить, приводить доводы: она сдалась, ей так казалось, что и спорить-то не с чем, настолько все оче-

видно. Неужели бросать роль из-за — подумаешь?! — похода, всего одного похода в кафе?

Она поднялась, взяла со стула шарф, именно тот, что купила совсем недавно, и буднично спросила: «Так как, когда мы идем?» Главный почему-то все так же строго смотрел на нее, не произнося ни слова, а потом вдруг резко отстранился от стены и порывисто обнял ее. Аня молча поддалась, по-прежнему держа в руках шарф, что также мешало сопротивляться особенно рьяно. Они вместе вышли из гримерки, он сказал, чтобы она подождала его внизу, и Аня пошла к выходу. Вскоре показался он, и они пошли по улице, но куда именно, Аня, естественно, не знала.

Так они и шли, и молчали какое-то время, пока не оказались перед красивой парадной, дверь которой легко поддалась, и они оказались в подъезде. Никакого кафе не было, это, скорее, был обычный жилой дом, по лестнице которого и поднимались мужчина и женщина.

Где-то на третьем, кажется, этаже он приостановился, достал ключ и открыл дверь. Вошли, увидели, как полумрак скрывает отдельные предметы, как солнце, которое к трем часам дня еще не заходит, едва пробивается сквозь плотные коричневые шторы, и как сама большая, просторная квартира кажется почему-то продолжением театральной сцены, ну уж, по крайней мере, самого театра. Такое ощущение создавала атмосфера жилища с его многочисленными фотографиями по стенам, какой-то такой добротностью и спокойствием, которое словно обнимало весь дом, так он был хорош и полон достоинства. А коричневые плотные шторы только довершали впечатление.

Было понятно, что в квартире не одна комната, и что она такая большая, что ее еще надо понять и изучить.

— Вы можете пройти чуть дальше по коридору, — сказал он, жестом указывая, куда именно нужно было пройти.

— Спасибо, — только и сказала Аня и двинулась вперед.

На душе было смутно и невесело. Какое-то равнодушие затащило все ее существо, и она даже не предьявляла никаких себе претензий, смирясь с тем, что делала и что еще предстояло испытать.

А он, между тем, накрыл стол, благо, все было припасено в холодильнике, оставалось лишь вытащить и расставить тарелки. И когда Аня вернулась, то увидела невероятную картину: он (ОН!) сервировал стол, расставлял приборы и что-то мурлыкал себе под нос. Но, увидев Аню, почему-то прекратил все это хлопотное для мужчины занятие и так же, как и в театре, спешно, порывисто подошел к ней и обнял ее. Она по-прежнему и не сопротивлялась, и не говорила ничего, и вообще... вообще вела себя словно механическая кукла. Он вдруг осознал это, встряхнул ее и спросил: «Ты что же (при этом перейдя на «ты»), думаешь так дальше фальшивить? Нет, так не надо. Вот, вышей немного», — и он протянул сиреневого цвета бокал с игристым вином, которое так прелестно переливалось и светилось сквозь стекло, что Аня, как будто зачарованная этим зрелищем, да и самим убранством стола, смотрела и смотрела на фужер. И вдруг, словно опомнившись, сказала: «Действительно, что это я, в самом деле? Нехорошо!» — и она даже погрозила кому-то неведомому пальчиком. И снова повторила: «Нехорошо!» Потом сама подошла к нему, отстегнула ворот рубашки, первую верхнюю пуговицу. Оттянула шелковый галстук и почему-то совсем развеселилась. «Что об этом думать много, и так хорошо!» — вспомнила она слова Наташи Ростовской из отрывка, который делала еще на первом курсе института по сценречи. Действительно, и так хорошо! Она рассмеялась и села на диван. Он оказался тут же. И теперь уже он старательно и аккуратно, даже бережно, наверное, расстегивал все ее пуговицы, молнию с правой стороны платья и затем столь же осторожно поднимал вверх ее руки и выгаскивал

ее из одежд. Потом поманил куда-то вперед, и оба оказались в комнате, которая была еще лучше и загадочней. Аня только успела спросить: «Это все ваше?» На что он уже теперь рассмеялся и ответил, что это не имеет никакого значения.

Аня погладила шелковистую простынь и подумала, что все, что сейчас происходит, не имеет отношения к реальной жизни, что она, скорее всего, просто маленькая принцесса, волею судьбы попавшая в дивный дворец. А рядом с ней... вот тут она затруднилась сказать, кто же рядом с ней, только решила, что нечего так настойчиво искать ответ на этот вопрос. Кто-то, кто не желает ей зла, — вот так, пожалуй! И она обняла этого человека, так нежно, так одновременно порывисто прижавшегося к ней. К счастью, не было в этих объятиях ни грубости, ни насилия — Аня словно сама подталкивала мужчину к тому, чего он так давно и так жадно жаждал. И ее уступчивость, некапризность завершили то, ради чего и был весь этот дом с его великолепной породой, обходительностью и молчаливым достоинством. Он словно раскрывал свои широкие объятия, чтобы принять двух людей, так неожиданно и так одновременно ожидаемо оказавшихся в этих самых объятиях. Он ждал их, это было ясно, и они с готовностью поддерживали намерения и дома, и раскрывали уже свои ладони, губы, тела, чтобы закрепиться в этом таинственном пространстве, так странно, так загадочно притягивающем обоих.

Все свершилось, и на душе у Ани не было — что странно — ни сожаления, ни раскаяния. «Так, так пусть будет так», — думала она про себя и была, к удивлению, весела и раскованна.

А он буквально обомлел от счастья: куда-то подевались его петушиная выправка, вечное стремление пронизировать и подавлять. И был он тоже весел и счастлив. И так это было странно, что Аня едва не заплакала от какого-то такого непривычного чувства, что понять, решить не могла: что это, раскаяние, запоздалое со-

жаление или невесть откуда взявшаяся беззаботность и просто беспечность. Ну, ведь женщина же она, в конце концов! И это слабость такой милой, такой замечательной женщины!

Но сколько бы ни уговаривала себя Анна, сколько бы ни силилась казаться веселой, и беззаботной, и раскованной, не могла не сознавать, что все происшедшее стремительно отодвигает ее от нее самой, что она падает, и падает куда-то вниз, и уже в ванной. Смотря вверх, на потолок и смывая с себя грязь, она думала лишь о том, что этого уже не вычеркнуть из ее жизни, что теперь липкая и мерзкая гадость прилипла к ней навсегда.

Спустя время она услышала у дверей: «Ты жива там, полчаса прошло. Надо собираться». Вот оно что, собираться! А это, стало быть, такой роскошный, такой призрачный и нереальный дом свиданий? И вообще, чей он? Да-а, какая разница!

Аня вышла, пытаясь не уронить своего якобы хорошего настроения и подошла к столу, чтобы перехватить что-то. Там были приготовлены бутерброды с черной икрой, разлит по рюмкам коньяк и светилась на тарелочке, блестя золотистыми прожилками, неведомая рыба.

Она с удовольствием съела все, что ей было предложено, и когда чокались, он спросил, склонившись к ней: «Не знаю, как ты, но я очень счастлив. Хотя... это такая категория... Но... не будем загадывать. Что будет, то будет. Правда же?» Такая его искренность и даже некоторая беспомощность сразили Аню, и ей не очень хотелось обижать этого человека, с которым почему-то оказалась в одной квартире и в одной постели. «А это ваше жилище?» — только и спросила она. Он помолчал, налил еще коньяка и, подняв рюмку, произнес: «Очень надеюсь, что когда-то оно станет не только моим, но и нашим». Аня подумала, что на их театральном языке, языке действенного анализа роли, это называется уйти от ответа. Что ж, пусть так, ей-то что от

этого?! Не хотелось думать, что через день-другой она просто окажется нигде, на улице. что в ее жизни отнюдь не пахнет такими роскошными яствами, и что семья ее тоже неизвестно где. И тут он спросил.

— А ты, говорят, живешь где-то на квартире? У знакомых, что ли? А что же твой собственный дом, куда делся?

— Нет теперь никакого дома, да и не будем об этом.

— Отчего же, очень даже будем. Я готов снять тебе квартирку, пока все не утрясется.

— Да? А что должно утрястись? — храбро спросила Аня. — А мне и не нужно ничего.

— Но у тебя же есть дочь.

— Есть. Но где она теперь, не знаю. И никто не знает.

— Это никуда не годится. Я помогу, — сказал он и посмотрел на часы. — Однако, пора!

И они стали собираться. Разговора, того самого, к которому готовилась и которого ожидала Аня, не случилось. И может быть, так было лучше.

Был момент, как потом вспоминала Анна, когда ей показалось, что не все так плохо и что, может быть, даже и к лучшему, что не так много они говорят, в особенности о ней, о ее судьбе. И все же царякнуло: если он так рвался к ней, так ожидал эту встречу, почему все скомкал, не расспросил? И ответила себе, что, скорее всего, это связано с первой неловкостью, с первым свиданием, когда разводить разговоры вроде бы и ни к чему. И что первоначальный смысл самой встречи был ясен и определен.

Они вышли порознь, он дал знак при этом, и она пошла по улице одна. Шла и думала, что теперь она уже не та и что той, прежней, Ани уже не будет, и это надо принять. Однако какой другой и что такого страшного она совершила? Но как бы ни хорохорилась она в поиске ответов и в робкой попытке себя оправдать, не получалось. А получалось почему-то совсем обратное: боль, неловкость и страшное желание стоять под струей воды так долго, как только возможно. И смывать и

смыть с себя все за день нынешний и даже за предыдущие, когда она готовилась к событию.

Изменила! — вот слово, которое определяло все! Изменила себе, своему представлению о честности и достоинстве. Предательница, одним словом. Но ведь никого другого не обидела этим, так? Только себя, больше некого. И пусть, пусть! Через такое стоит пройти, наверное. Да, именно, что наверное. Откуда тогда это ощущение грязи и скверного воздуха вокруг? Откуда это чувство брезгливости к себе самой и нежелание видеть и ощущать этот мир?

А он, между тем, пах, этот солнечный, все ближе и неотвратимей устремляющийся к весне мир! И было в нем все: и боль, и страстное желание быть и видеть краски подступающего розового цвета мая, и еще необъяснимый аромат воздуха или чего-то там такого в нем, что и словами не передашь.

Она вздохнула полной грудью чудный, словно подтаявший воздух и оказалась возле той забегаловки, где совсем недавно ела мороженое и пила кофе. Но это не было кафе, поскольку рядом толклись люди, желающие выпить, и делали это с превеликим удовольствием, и говорили безумолку, и все ходили туда-сюда, и переставляли с места на место какие-то вещи. И трогали друг друга за рукава плащей; словом, вели себя таким образом, что Аня начинала догадываться: каждый здесь — сам по себе, и никому до другого нет никакого дела. Вот так!

Однако кофе пить не хотелось, как, впрочем, и есть мороженое. Она вошла, увидела все разом, ухватила целиком картину человеческого невнимания к жизни. И снова вышла, и снова двинулась по улице. И путь ее был так долог и так окружен противоречивыми чувствами греха и стыда и — одновременно — беспечности и соглашательства с жизнью, что она расплакалась. Села на лавочку у знаменитого театра и горько плакала.

И вечер, и ночь, и весь следующий день она переби-

рала в памяти все подробности роковой встречи, вспоминала тон, настроение, сами фразы и то, с чем справиться уже никогда не станет возможным. Она не сможет принять то новое, что произошло в ее жизни, что стало ее частью. Надолго ли? — ответа на этот вопрос не было.

Шли репетиции, и — что странно — Аня все лучше и лучше овладевала ролью, привнося в характер своей Нины Бегак такие черточки и такие штришочки, что становилось понятным: она, эта маленькая хрупкая женщина, совсем не слабая, в ней есть некий чертенок, который мастерски и лепила Аня.

Встречались они с главным теперь уже регулярно, и все в том роскошном доме неподалеку от театра. Так и осталось непроясненным, чья это была квартира, кому принадлежала. Да Аню это и не особенно интересовало. Больше всего она ждала, что он наконец скажет ей что-то относительно дочери, всей ее ситуации. Но рассказав однажды все подробности последних лет своей жизни, она вдруг заметила, что он замкнулся и стал обходить тему, которая была для нее дороже всего. Только однажды она решилась и спросила.

— А не удалось узнать что-нибудь? Куда они уехали и можно ли их увидеть, вернуть дочь?

— Ах, милая, сколько у вас вопросов! — При сложном течении разговора он переходил на «вы» и на неизменную «милую», «милочку».

— Да, это для меня большой вопрос и интересует больше всего.

— Что ж поделаешь, судьба! А ее, сами знаете, ни на чем не объедешь.

— Но почему? Почему я не могу знать, где моя Полина, повидаться с ней? Все уходит от ответа, просто даже от темы. Что это, такая запретная тема?

— В какой-то мере. Кто станет в наше время утруждать себя такими сложностями. Да, я попробовал. Но мне сказали весьма просто и недвусмысленно — не тревожьте, не время!

— А когда, когда же придет это время? Сколько же еще ждать?

Он подошел, как всегда порывисто обнял ее, притянул к себе и сказал:

— Вряд ли этой проблемой стоит омрачать наши встречи. Иначе я разочаруюсь в вас.

Это звучало угрожающе, и он даже не спохватился. Она снова, как и обычно, покорилась и снова подумала, что летит в пропасть и что конец падения совсем близок.

Неизменный ритуал встреч стал так тяготить ее, что она решилась однажды уклониться и сослалась на неотложные домашние дела. Он хитро посмотрел на нее, как это и водилось у него, пронизывающе и прямо, а потом заметил:

— Надеюсь, что такие дела не станут привычной отговоркой. А то... — Он не продолжил, но и этой незаконченной фразы было достаточно, чтобы понять — он не шутит.

А дома, в том доме, куда она еще все продолжала приходить, складывалось таким образом, что и вправду оставаться там можно было ровно два дня. Причина была простая: люди женились и хотя и отговаривали Аню, но с каждым днем делали это все менее активно. А она и не знала, куда пойдет, что с ней станет. Обращаться за помощью к нему не хотелось, да и события последнего месяца показали, что готовность и стремление помочь — не его удел. Он брал и делал это стремительно и умело, не зная отказов и превращая свою личную жизнь в игру в гольф: взмах руки, прицел, попадание в лунку. Вот и Аня для него, скорей всего, была одной из таких лунок. Но поначалу она его зацепила. И отказом, и долгим сопротивлением, и просто своей необыкновенной честностью и прямоотой. Однако насладившись ею, постепенно приходило пресыщение. Он не любил обязательств, долгих привязанностей: они начинали его тяготить. И он готов был к решительным действиям на короткое время. И такое время стало постепенно наступать. Или, наоборот,

проходить. Стало таким это время, что сомнений не оставалось: скоро все закончится, и Аня так и останется с этим грузом греха, вины, неразберихи в себе.

Ничего нового о дочери она не узнала. Тот человек из органов, с которым его свела Марина, встретившись с ней прямо на улице, откровенно заявил, что, хотя и располагает некоторыми данными, советует больше не вторгаться в это дело и что придет, очень даже скоро придет хорошее (так и сказал) время, когда все изменится, и все можно будет узнать. А сейчас посоветовал просто молчать. Забыть обо всем и молчать, затаиться.

— А то что? — спросила Аня.

— А ничего, заметут, — был ясный ответ человека из органов.

— Но почему, и что я такого сделала? Кажется, наоборот, со мной поступили... — Она не договорила, так как он решительно отмел ее доводы, завершив разговор весьма прозрачно:

— Он — физик или стал таковым.

— Но как же так? Он всегда говорил, что занимается философией или чем-то близким, историей...

— В физике тоже есть своя история, — ухмыльнулся военный человек.

— И это все, что вы можете мне посоветовать?

— Все! При чем для вашего же блага. Выждать — вот все, что вам нужно. Не спешите, не торопите события. Намекну только на одно: он еще проколет, еще наследит. Победа будет за вами, это же ясно, но наберитесь терпения.

Аня поблагодарила военного человека и решила, что больше тянуть нельзя, надо решать. Решать все и сразу: личные проблемы, житье-бытье. При чем в самом прямом смысле. И в тот же день собрала свои вещи и отправилась в театр. Она думала, она еще надеялась, что сможет решить вопрос каким-то таким образом, что он поймет и выделит ну хотя бы общежитие, какую-то служебную жилплощадь.

Она знала, что подобные ситуации случались и театр выделял квартиры. Толком она не знала, где, кому, но что такие случаи были, все и она знали. И когда после репетиции она сама подошла к его кабинету, постучала и услышала знакомый голос, разрешающий войти, то не сразу сообразила, что подобное совершает в театре впервые и неизвестно, как он это воспримет. И ее сомнения оправдались: он не был в восторге от ее появления.

— Что такое? Разве не было уговора никогда ничего не обнаруживать в театре?

— Не помню, по-моему, ничего такого...

— Плохо, что не помните, не помнишь, — поправился он.

— Но что тут такого? — не унималась Анна. — Ведь ничего в этом страшного нет.

— Для тебя — быть может, и нет! Но мне все эти разговоры и обсуждения ни к чему.

— Понятно, я не предполагала, что мы так засекречены.

— Послушай, девочка, я далеко не молодой человек и прошел многое и многое. Но репутацию не подмолил. Еще не хватало, чтобы через тебя все изменилось и поплыло!

— Ну, что вы! Как можно? У меня просто ужасная, просто безвыходная ситуация.

— Слушаю. Только поскорей!

— Дело в том, что мне негде жить. Совсем!

— И это все?

— А разве этого мало?

— И что же ты хочешь? В ту квартиру?

— Ни в коем случае! Я хотела попросить какую-то служебную площадь, если можно. Может быть, даже общежитие. Но мне, правда, негде. Мои, те, у кого я жила, женятся, им не до меня. Больше там нельзя, я забрала вещи.

— Понятное дело... Но что я могу?! В пару часов такие вопросы не решаются. Я, впрочем, подумаю. —

И добавил совсем другим тоном, более примирительным, что ли. — Ладно, не на вокзал же идти, в самом деле. Встретимся после репетиции у самого подъезда. Я подумаю, — еще раз пообещал он, и Анна вышла.

Облегчения не наступило, она сама себе была противна из-за такого разговора. И все же еще надеялась, что как-то утрясется, сложится. Но нет, наверное, нет.

Когда она стояла у парадной и ждала его, то заметила актрису Новикову, которая шла по противоположной стороне с сумкой и, к счастью, не видела Анну. В этот момент Ане стало очень не по себе, ей никак не хотелось быть застигнутой врасплох. Она впервые подумала, что осторожность и впрямь не последнее дело, и, наверное, правильно, что он так осторожничают и соблюдает всяческую конспирацию.

Она оглянулась, поняла, что он запаздывает, и вновь осмотрелась. Весна, как же она была кстати, как вовремя, и как на нее надеялась Анна! Еще немного, всего несколько дней, и состоится премьера! Она — в одной из главных ролей. Правда, по театру поползли слухи, что во втором составе, который, к слову, так и не был задействован пока, будет играть Нину новая молодая актриса, только закончившая институт и пришедшая совсем недавно в театр. Аня видела эту девушку и отметила про себя, что та очень привлекательна. Говорили еще, что она прекрасно показала себя главному, что блестяще закончила институт, осталось только получить через месяц диплом, и все — театр ее брал, об этом говорили все. Вот она-то и должна была оказаться во втором составе. На последних репетициях она сидела в зале, на сцену пока не выходила, и что-то Ане подсказывало, что появление ее в театре не пройдет бесследно и для нее самой. Так отчего-то казалось.

Она снова оглянулась и снова не увидела никого. Времени прошло более получаса, такого прежде не бывало. И Аня впервые подумала, что, скорее всего, просто напрягла его своими проблемами, к решению которых он был не готов. И еще она поняла, что тако-

му положению дел и должен был рано или поздно прийти конец. И неважно, чем было вызвано такое поведение, что такое неожиданное стряслось, что не позволило прийти на свидание, но это было замечательно. Замечательно, что такая неожиданность подвигла на решение. Не будет, больше ни за что не будет Анна приходить к этому подъезду! И к другому тоже. И вообще встречаться больше не будет! Ни за что!!!

И она пошла, пошла по улице, увидела издали театр, решила не заходить в него и уже шла, скорее, просто автоматически, без стройного плана, без какого-либо понимания, что делать дальше и как быть.

Она и так прекрасно понимала, что не просто отступилась, но куда-то упала, наверное, в самую глубокую пропасть. И решила выбраться любой ценой! Однако и понимала, что силенки не те, что вымотанность не одними лишь репетициями, но недавней больницей, всеми перипетиями со сменой жилья, отсутствием на сегодня хоть какого-нибудь, и — главное — тем, что стала понимать: в театре что-то сильно изменилось, и далеко не в лучшую сторону. Та отчужденность людей после ее больницы и разных сплетен на ее счет, вроде бы, изменилась, как-то пообмякла, но Аня не могла бы сказать, что это все тот же сплоченный коллектив, в который она пришла всего несколько лет назад, и что там все по-прежнему замечательно. А может, и было так всегда, просто она этого не замечала?

Она затруднялась ответить на этот вопрос. Почему-то снова оглянулась и тут же едва не столкнулась все с той же Новиковой. Она отчего-то насмешливо посмотрела на Анну и, помолчав, сказала:

— Эх, девочка, не послушалась ты меня. Нет, что-то усвоила, судя по подъезду, это так.

— Какому?

— Ах, ладно, не морочь голову, я все знаю. Это заслуженный подъезд. Он такое помнит и таких видел! Но ты молодец, однако, хвалю.

— Так в чем же я не послушалась? — спросила Аня.

— А вот в чем. Не поняла, не учла характера театра, снова, как девчонка, вляпалась. Надо было просто хвостом покрутить, а ты — словно в петлю. Зачем тебе это? Знай, тебе это так просто не пройдет, он не позволит. Посмотришь!

— Кто? Что не позволит? — совсем разволновалась Аня.

— Тот самый, сама знаешь, нечего спрашивать.

— Надо было осторожно, без свидетелей, а ты!..

— Что я-то? Что?

— Жалко мне тебя, Анька, хорошая ты деваха, но, думаю, готовится тебе уже замена. Это ясно. Дай Бог, премьеру хоть отыграть.

— Куда вы? — спросила Аня, потому что актриса уже было направилась уходить. — Подождите, прошу вас.

— Ну, что еще? — довольно недружелюбно спросила Новикова.

— Да нет, я так...

И Аня отступила, предлагая пройти статной, известной актрисе, у которой тоже собиралась спросить, что же ей делать, куда деваться. Но было уже поздно, та удалялась.

А куда было деваться, куда? На вокзал — вот прямая дорога! И Аня отправилась туда. Но по дороге решила, что это уже самое, ну, просто самое последнее дело. А что же тогда предпоследнее? И тут она подумала о Лизке, хотя понимала, конечно, что та в последнее время очень недружественно к ней относится. Она подошла к телефону-автомату и набрала ее номер.

— Да! — вызывающе громко ответила Лизка.

— Это я, Анна.

— А-а, очень хорошо. Что делаешь? Давно тебя не видела.

— Лиза, тут такое дело. Ведь послезавтра премьера...

— Ну, знаю, хотя и не занята.

— Так вот, я спросить хотела...

— Как жить, с кем жить? — и Лизка громко засмеялась.

— Да, пожалуй, что и так. А ты знаешь, как?

— Ой, что-то ты меня нагружаешь.

— Ладно, не буду, но ты могла бы на один день, может, на два приютить меня? Дать ночлег, в смысле.

— В смысле — нет!

— Ясно.

— Ничего тебе не ясно. Все так запуталось, у меня тут такие проблемы с моим боем. В смысле, с френдом. Ну, ты же слышала, наверное?

— Нет, я ничего не слышу в последнее время.

— Да уж куда тебе? Ты вся в ухаживаниях, ублажают тебя. Но... Не обольщайся, скоро новая пассия займет твой пьедестал. Не обижайся, не могу. На премьеру приду. Пока.

И Лизка положила трубку.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

А КРУГ ВСЕ УЖЕ

До края пропасти оставалось совсем немного, несколько взмахов крыльев. Не долететь — явная смерть, хотя и там, в этой манящей, непроглядной тьме, еще хуже. Силы, куда утекают силы? Почему какая-то железяка способна лишить живое существо сил, воли, всяческих желаний, а значит, жизни? «По-мо-ги-те!» — кричала птица, распластав крылья и устремляясь в черное безмолвие. «Кто-нибудь!» — звала она, забывая прикрыть глаза и только краешком сознания, каким-то его маленьким осколком понимая, что все начинает кружиться, земля переворачиваться, а небо почему-то, наоборот, приближается совсем близко. И уже не пропасть, черная и похожая на воронку, оказывается внизу, а светлое, похожее на голубое море, небо, с его переливами и облаками. Именно оно, с его чарующей глубиной, манит и кажется спасительным прибежищем. «Может, и не все еще? Может, это только кажется, и никакая это не пропасть? Почему же все такое голубое, почти синее?..»

Анна шагнула в ледящую глубину вокзала, в его таинственные недра, и даже в мае ей показалось, что стоит промозглая холодная пора: так было холодно и неуютно в его стенах. Но ничего не попишешь, пришлось идти и высматривать место. И что это должно быть за место и какое оно, Анна не представляла. Только вспомнила, что еще в институте, давно-давно они делали этюд на тему беспризорников тридцатых годов. Местом действия как раз и был вокзал. Тогда кто-то из студентов позвал ее жестом в аудиторию, и Анна, придя в новеньких туфлях и с шиньоном на голове, которые были очень модными в те далекие шестидесятые годы, храбро шагнула внутрь, не особенно заботясь о том, что там вообще происходит, каковы предлагаемые обстоятельства и что именно ей предстояло делать. Шагнула себе, и все! И что же тут началось!

Оказывается, она была, судя по внешнему виду, не из числа беспризорников, а, наоборот, из недобитых или недорезанных. И на нее-то и напала вся могучая крепкая масса ее сокурсников, большинству из которых и отведена была роль хулиганствующего элемента. Аню схватили, оттащили куда-то в угол, схватили за волосы и кто-то даже пытался на нее сесть. В ту минуту она не подумала ни о системе Станиславского, ни о предлагаемых обстоятельствах, а лишь о том, что ее новые туфли почему-то оказались уже не на ее ногах, а где-то громко шмякнулись об пол; прическа была напрочь испорчена, и шиньон лежал совершенно отдельно от нее. Когда она очнулась от громкого крика и всей неразберихи, возни и пихания ее из стороны в сторону, то поняла: такие глупости проделывать никогда не стоит. Важно все же применять великую систему на себя, знать условия этюда, хотя бы тему и последовательность его развития. Когда она подбирала в полной тишине свои вещи, то услышала, как их педагог, тоже довольно долго молчавший, наконец откинулся на спинке стула и произнес: «Да, лихо. Долго ж вы, видимо, репетировали. Я бы так не смог!» — заключил он, и все поняли, что натворили чего-то такого, что о выполнении сверхзадачи и представлении о сквозном действии, а также о конфликте, его природе и реализации они не имеют ни малейшего представления.

Как же было стыдно! Но все тот же Василий Алексеевич Козлов сумел снять напряжение и засмеялся первым. Студенты только того и ждали: они хохотали так, что из соседней аудитории заглянул вечно шляющийся по коридору Борька Мальцев с соседнего курса и задал сакраментальный вопрос: «У вас все в порядке?» Хохот только усилился, все просто валились со своих стульев, падали на пол и уже только постанывали, не в силах смеяться дальше.

Это был урок, урок незапланированной импровизации, но не той, от которой что-то такое живое и колышущееся раскачивается внутри твоего организма, а той,

которая напрочь сбивает с толку, ослепляет, и логика остается далеко за поворотом твоего сознания.

Однако все равно было хорошо, Аня помнила это, несмотря на испорченные туфли, затертую на них замшу и съехавшую набойку, несмотря на свой помятый вид и выдранные клочья искусственных волос из шиньона. Как же было им всем хорошо, и какое вообще это было замечательное время! А-у, где ты, где?

— Выпить не хочешь? — услышала она над собой вопрос, явно адресованный именно ей. Оторвавшись от воспоминаний о давнем и хорошем, она подняла голову и увидела мужичка. Он был маленького роста, бородатый, с какой-то котомкой на плече. Он смотрел на нее и улыбался. Она хотела возмутиться, но отчего-то гнев не вылился наружу, она оглядела его, а потом неожиданно спросила: «Вы что же, один будете?» — «Хм, будете... — передразнил он. — Ну, будем, а что? Вот и ты, давай, будь. А то так и скиснешь, не проснувшись».

Это было что-то новенькое в ее биографии. Вроде бы, было все, но чтобы на вокзале еще и выпить предложили — нет, это уже был перебор. Но, однако, спорить и говорить, из какой она семьи и что вообще-то актриса знаменитого театра, не то, что не хотелось: в это в данной ситуации поверить было невозможно. И она ответила: «Пошли». Ее короткий ответ вдохновил кавалера, и он жестом указал место, в какое следовало идти. «Тут рядом», — коротко пояснил он, в явном удовлетворении от ее скорого согласия.

Они вышли из здания темного, холодного вокзала и оказались на улице. Место было приветливое, и там почему-то особенно явно вдруг запахло весной. «Ну, и противоречия!», — только и успела отметить Анна, как ее новый друг произнес: «Не бойсь, не обижу. Я людей по дыханию понимаю. А у тебя нормальное, даже нездешнее». Анна удивилась такой формулировке, но переспрашивать не стала, а только смотрела на странную привычку нового знакомого поглаживать свою

бороду, которую он содержал в удивительно приличном виде: поддерживал и холил, видно.

— И что, прямо тут пить будем? — спросила Анна.

— Да, тут, место тихое, даже приличное, — добавил бородач, снова уважительно проведя по волосам. — Вы что предпочитаете?

— Я бы предпочла сейчас борщ, а потом поспать и чтоб никто не беспокоил. Но... — И она не стала продолжать, что же это за «но» такое.

— И борщ возможен, и прочее. А пока — вот вам. — И он вытащил из-за пазухи стаканчики, бутылку водки и спокойно налил жидкость, равным количеством изумив Анну. — Прошу вас.

— А где же третий? — развеселилась Анна.

— А третий сегодня лишний, — глубокомысленно заметил мужчина.

— Это почему же? — спросила Анна, чокаясь с незнакомцем и отхлебывая из стакана.

— Неправильно пьете, значит, мало употребляете, — заключил человек с котомкой, и Анна поняла, что та пропасть, в которую она шагнула несколько месяцев назад, перед самой больницей, а потом с важной театральной персоной, еще не пройдена, еще даже краев не видно, так далеко и темно ее днище. И лететь туда, скорей всего, придется долго.

— А как надо?

— А вот как, — показал мужчина и отправил содержимое стакана одним глотком в рот. Потом крякнул, но осторожно так, с удовольствием и снова предложил: — Вот, попробуйте, бесплатно ведь угощаю.

— Ой, — захлебнулась Анна, которая и в счастливой-то жизни редко употребляла спиртное, а уж что до вокзала... и вовсе.

— Точно, вот теперь отлично, можно сказать, — потер свои щеки одной рукой мужчина, краснея прямо на глазах Анны и набираясь какой-то новой силы, которую она почувствовала.

— А что у вас сегодня? — спросила женщина, немного расслабившись и словно сбросив какое-то давящее

ярмо. Действительно, становилось легче, и разговор начал ее увлекать.

— Сегодня? А что сегодня? — жизнь, как и обычно, как всегда. Ты вот почему на вокзале? Всем, кому плохо, идут, как правило, сюда. Что-то есть в нем, в этом тайнике.

— И что, хорошо вам?

— А чего ж плохо? И дом у меня есть, ну, почти дом, — поправился он. — И борщ при желании можно соорудить, и прочее. А у тебя, видать, проблемы.

— Проблемы, — подтвердила Анна. — Дома у меня, действительно, нет. С некоторых пор.

— И с этим подмогнуть можно. Не спеши. — Он собрался налить еще Анне, но она решительно отстранила свой стакан и накрыла его рукой.

— Нет, больше не могу.

— Напрасно, полегчает.

— Нет, больше не буду.

— Ну, и ладно, чего ж там! — сказал бородач и снова отправил полстаканчика в рот. В бутылке еще оставалось прилично, но он закрыл ее чудной пробкой, записнул снова за пазуху, а стаканчики отправил туда же.

— Я пойду, — сказала Анна. Но он почему-то очень уверенно взял ее за локоть и задержал.

— Не торопись, успеешь. Да и куда идти-то?

— Найду, — ответила женщина.

— Ладно, понял, пошли, — уверенно сказал бородач, и они двинулись к воротам вокзала, затем по улице, за знаменитую гостиницу, в какие-то дворы и переулки. Анна почему-то не сопротивлялась, да и зачем? Все равно деваться было некуда, водка делала свое дело, и мир предстал не в той трагической насыщенности, которым казался еще недавно.

Она только однажды притормозила, сказала, что нужно позвонить, и снова набрала тот же номер, что и некоторое время назад.

— Да, — раздраженно сказала Лизка, — слушаю!

— Это хорошо, что ты слушаешь. А я уже думала, что ты разучилась и слушать, и воспринимать.

— Что ты хочешь? Я же сказала, что у меня проблемы!

— Помню. В отличие от тебя я многое помню. Например, как ты кантовалась у меня в квартире, когда тебе твой любовник все справлял то платье, то жилье. Помню, представь! И клятвы твои в верности помню. Ну и сука же ты, Лиза! — закончила свою речь Анна и положила трубку.

На душе еще больше полегчало, она бодро шла за своим поводырем и понимала, что все, что происходит, наверное, давно должно было случиться. Слишком задержалась она во всех своих приключениях. Расплата всегда придет, как бы долго она ни задерживалась где-то. Вот она, вместе с ней шагает по центру города! Бодро, в образе неведомого мужичка, ее самой, Анны, что так резво поспекает за ним и еще чего-то нематериального, но очень существенного, что олицетворяет сегодняшний день, его промахи и неудачи, и ничего, ну, вообще ничего не маячит впереди!

Вскоре бородач остановился, посмотрел куда-то вверх, убедился в чем-то, что было ведомо только ему, и отправился наверх, снова жестом приглашая Анну.

Когда поднялись на четвертый этаж, мужчина почему-то позвонил в дверь (хотя Анна думала, что он станет открывать ее своим ключом), вскоре дверь эта распахнулась, и на пороге появилась женщина, весьма привлекательной наружности, держа в одной руке какую-то банку, а другой удерживая кота, норовившего выскочить на площадку.

Ничего не спрашивая, не задавая лишних вопросов, она распахнула дверь шире и пропустила пришедших в дом. Такая миролюбивость еще больше озадачила Анну, которая совсем не ожидала наличия в доме кого-то. А дальше ее удивление только усилилось, потому что дом был похож на вполне обжитой и даже уютный. С кухни доносились весьма приятные запахи, и Анна даже подумала, что такой дом не может быть жилищем этого бородача. Но ее сомнения тут же развеяли.

— Да не тушуйтесь, заходите и грейтесь. После вокзала здесь как-то потеплее и полегче. — Это произнес именно он, на что женщина кивнула и прошла к столу, чтобы поставить свою банку. Потом она обернулась и снова дружелюбно посмотрела и сказала:

— Да, располагайтесь, а я на кухню, там у меня борщ. — И она вышла.

Анна огляделась и удивилась. Да и было чему. Она-то думала, что придет в какой-нибудь клоповник, а тут... Тут было вполне симпатичное жилище с разнообразной мебелью, чистыми занавесками и вазой с цветами на столе. Было чему удивиться.

Мужчина понял, что Анна в замешательстве и пояснил:

— Да, вот вам и разочарование. Думали, мыши бегают, а тут еще люди живут. Бывает, не отчаивайтесь.

— Но почему вы?..

— Да, почему... — не просто повторил вопрос мужчина, но и сам как-то призадумался. — Выходит, жизнь такая. — Он снова погладил свою бороду, снял, наконец, что-то типа тужурки, положил у стула свою котомку и вздохнул.

— Выходит, так надо. Жизнь познать — не поле, то есть не вокзал перейти.

— Ну а вы, вы-то почему?.. — Она снова не договорила, так как не знала, как завершить свой вопрос.

Тут бородач привстал со своего стула, галантно поклонился и представился: «Андрей Валентинович, если позволите. А в сумке у меня всего-навсего... Вот... — и он расстегнул какие-то пряжечки, откинул закрывающую тряпичную крышку и вынул большую пачку газет. — Всего-то! — радостно проговорил он.

— Но зачем вам столько?

— А-а, — протянул мужчина, — это не сразу поймешь. Здесь понимание нужно. Приобрести — дорого, вот я и собираю их. Кто-то оставит, кто-то бросит, кто-то забудет, а я хожу, присматриваю, складываю.

— А потом? Вы что, их все читаете?

— Видите ли... — снова продолжил Андрей Вален-

тинович, — не все читаю, это ясно. Но они содержат... — как бы вам это сказать? Словом, в них — определенный срез времени. У меня все антресоли в них. Кое-что вырезаю, храню в особенной папочке, другие сортирую и оставляю часть, некоторые даже и выбрасываю, бывает... Но более всего нужной информации, как вам ни покажется это странным, в трех газетах. Причем резко отличающихся друг от друга.

— И какие же это газеты? «Литературка», наверное?

— Молодец, правильно! Но не только она. Еще «Известия» — очень уважаю, и... только не смейтесь.

— Так что же, что-нибудь про медицину?

— Не угадали. Это всего-навсего «Труд»!

— Понятно. Но в конечном счете, в итоге, так сказать, зачем вам этот срез?

— Время изучаю.

— Вы что же, историк?

— Почти. Теперь — уже почти. А был именно им, историком и даже географом.

— Вот уж не любила никогда эти предметы.

— Это вы от незнания. В них — вся прелесть жизни. Столько жизни, света, ясности!

— Да вы поэт?

— Может, и так.

— А как же все это с тем, что на вокзале было, совместить?

— Самым прямым образом. Под это дело думается лучше, да и жизнь светлее выглядит. И запах от нее — совсем особенный. Вот, как от вас, примерно.

— Ну, Андрей Валентинович, вы преувеличиваете.

— А вот и нет! Вы случаем не из творческого цеха будете?

— Буду!

— Уважаю!

— А я уже и не знаю, уважать или нет.

— Напрасно: все творчество, какое бы оно ни было, где бы ни было, если оно только от сердца, искреннее, нужно.

— Скажите, ну а кому нужно, вы знаете?

— Нет! Этого и не нужно знать. Все, что касается творчества и искусства, не вмещается в границы логики, просто даже обыденного смысла.

— Вы что же, философ?

— Правильно! Именно так!

— Теперь понятно.

— Что же вам, милая барышня, понятно? Если великим умам до сих пор ничего не ясно?

— Вы говорите, география и история. А что общего?

— Ну, насмешили! Что? География — это не один город и страна, а рельеф, изменения климата, расовые особенности. А история — все это в совокупности, движение и закономерности, какие-то отличия и подопытия. Само развитие жизни и там, и там. Разве мало?

— Вот и театр занимается развитием жизни: судеб, характеров, их проявлениями.

— Понятно, вы — это театр. Правильно?

— Да, может быть. Наверное, ничего другого и нет, и не было, один он. Но сейчас... — Она не договорила, так как вошла женщина, вытирая руки, и сказала, что можно идти есть борщ. И снова ничего не спрашивала, не задавала вопросов, не укоряла своего бородача.

— Машенька, очень хорошо, сейчас идем. Это вот наша... как ваше имя-то?

Анна ответила, все засмеялись: столько говорили, а прежде и другое проделывали, а она даже не назвалась. Пошли на кухню, где уже был готов стол, налит борщ, а тарелки были самые замечательные. За весь день Анна так намучилась, что поняла только теперь, как голодна. Они ели, что-то переспрашивали, но того разговора, что случился в комнате, уже не было, испарилось настроение, вытеснено было горячей вкусной едой. Женщину звали Марией Федоровной, она действительно была женой бородача и вела себя так, словно ежедневно только и принимала девушек с вокзала, да еще выпивших.

— Мы бы вас и оставили, но комната одна, сами видите, — сказала женщина, и Анна удивилась, как точно она поняла проблему, которая настигла Анну.

— Ну, что вы, я что-нибудь придумаю, — не стала отнекиваться Анна. Она не любила врать, и сейчас, в такой душевной домашней обстановке, делать этого не следовало тем более. Даже несмотря на и впрямь имеющиеся проблемы.

— Да что вы можете придумать? Дома у вас нет нынче? — снова задала вопрос женщина.

— Нынче нет, это правда.

— А работа?

— Она еще есть, вот завтра, к примеру, у нас генеральная репетиция, скоро премьеры, через день. А я вот... — и она не смогла закончить, так как слезы буквально задушили ее.

Хозяева стали утешать девушку, приговаривая, что они что-нибудь да придумают сообща. Но Анна понимала, что, попав сюда случайно, оставаться здесь нельзя, нет ни места, ни условий, а стеснять хозяев — дело неблагородное. И Анна решила, что встанет и уйдет, только посидит немного еще, уж очень хорошо у них было. Только странно, почему он ходит по вокзалу, пьет водку, газеты какие-то собирает. Зачем все это? Что за странности? И Андрей Валентинович, словно услышав, о чем размышляет его гостя, взял и сказал:

— Не думайте, я не странник какой, хобби у меня, ничего с этим поделаться не могу. Бывает, по два-три дня все брожу, к жизни, к людям присматриваюсь. Очень они мне интересны. Так, иной раз и выпить можно.

— Как же — иной раз! — не смолчала его жена. — Любишь ты это дело, что скрывать?!

— А я и не скрываю, — был ответ мужчины, который в доме, как заметила Анна, даже и не попросил выпить, и на столе ничего такого не было. Видимо, его, и правда, манила именно улица с его обитателями, характерами, странностями. Что-то было и в его судьбе, что-то нескладное, лишнее, что выгоняло его прочь из дома, диктуя свой уклад жизни, привычки, свои сложности в связи с этим и проблемы. А то, что они были, стало очевидно чуть позже.

Аня допивала чай и вдруг посмотрела на стены: неужели и здесь будет тот же цвет? Однако вокрут были покрашенные в зеленый стены. Странно хотя бы потому, что по обыкновению кухни как раз окрашивали в синий. Но, к счастью, хотя бы здесь его не было. «Что это за жилище такое? — думала Анна. — Вроде бы все нормально, но есть в этом доме, в его обитателях нечто такое, что говорит о совсем непростой их жизни. Чего он обхаживает вокзалы, а она — ни словечка, кормит, гостей с улицы принимает? Не альтруизм же это до такой степени?»

Когда снова прошли в комнату, а женщина снова осталась на кухне, Анна взяла и спросила об этом. На что хозяин дома сказал.

— Не ищите никакого скрытого смысла. Все проще.

— Но ведь что-то должно было случиться, что вы пошли на вокзал? Не за знаниями же? Там истории с географией нет.

— Там есть свой климат, свое развитие событий, и, как ни покажется это странным, сегодняшний день тоже станет историей. И климат, погода, особенности этого дня останутся в ней.

— Но почему вокзал? — попытывалась Анна.

— Там есть все! Или почти все! И приличные, и спивающиеся, и воры, и шпана, и нищие — все, кто хочешь. И ведут себя, и говорят по-разному.

— А вы что же, наблюдаете?

— Именно!

— А потом?

— Что потом? Потом раскладываю свою добычу — газеты и начинаю думать. Сопоставляю, анализирую, пишу.

— И пишете?

— Конечно, у меня и книги есть. И степень даже. Но я давно не у дел. Не нравился в университете мой стиль работы, дотошный я очень. А там нужен был стереотип. Никто не против, все — за! А я редко бываю «за».

— Вы бунтарь?

— Есть что-то.

— А скажите, что делать, что делать человеку...
— Вам, стало быть?
— Да, мне, если ничего не складывается, если тебя начинают избегать, игнорировать? Если ты влетаешь в какие-то обстоятельства, противостоять которым не можешь. Так случилось и покатило, покатило...
— Что, говорите? Уходить! Уходить и искать что-то другое. Пусть менее престижное, но дающее право называться человеком. Право на свои оценки, позицию.
— Что же мне, уходить?
— Наверное. Вам виднее. Но, судя по всему, уходить. Что-то вас совершенно запутало. А вы все медлите, причины подбираете.
— Да, — хмыкнула Анна, — только куда?
— Ищите. Ищите и найдете.
— Понимаю.
— Вы любите кого-то?
— Любила. Очень любила. Наверное, и теперь не все прошло. Но он бросил меня, это было в другом городе. Уехал. Так ему, видимо, было нужно.
— И где он теперь?
— Не знаю. Может быть, здесь, в городе. Уезжал именно сюда. Но я ничего не знаю о нем. Даже адреса не знаю. И работает где — тоже.
— Это ничего. Если судьбе будет угодно, встретитесь. Только много на вашу голову падет, да и уже упало, испытаний.
— И сколько же еще ждать?
— Никто не знает! В этом и прелесть. Ищите! — снова подтвердил он, и почему-то в комнате сделалось грустно. Еще было светло — май все-таки, белые ночи, но по часам уже вечер, и Анне стало казаться, что вот сейчас, сию минуту что-то открылось ее сознанию, что, может, долго-долго она не выпускала наружу: так боялась даже во сне, даже наедине признаться себе, кого до сих пор ждет и о ком думает.
Посидели молча, вслушиваясь в удивительную для центра города тишину, в этот май за окном, в то, что только ненароком посетило эту комнату, слегка задер-

жалось и вышло. Надо было и Анне завершать свое пребывание у милых, странных людей, так неожиданно приютивших ее. Куда идти только? Снова на вокзал? Но почему-то страшно уже не было, и Анна поднялась. Какое-то подобие плана созрело в ее голове, и она стала прощаться.

А на улице царил праздник. В ее день рождения, именно сегодня, о котором она просто-напросто забыла, гуляли выпускники школ. Группы веселых людей, одетые исключительно в белое, шествовали по улицам, неся свое освобождение от уз школы вдохновенно и отстраненно. Люди эти, если присмотреться, были совершенно отличны от тех, в ее воспоминаниях, одной из которых когда-то была она сама. Тогда, наверное, была большая сдержанность. Так подумала Анна, наблюдая, как то там, то здесь вспархивают отдельные парочки. Кружатся, иногда улыбаются, громко говорят и смеются. Вроде бы все то же самое. И все-таки есть отличия. Например, в том, как они одеты, — на это обратила внимание Анна, сама не особенно придававшая значения одежде, моде, стилю. Она знала, всегда четко знала, что ей идет, что — нет, и одевалась невзирая на требования времени. Иногда это было плохо, не попадала в общий какой-то настрой, приоритеты, но потом все привыкали к особенному ее стилю и так и считали, что пусть она остается самой собой, иначе что-то поменяется, она изменится, и что-то ценное нарушится.

Группа поющих молодых людей почему-то исполнила совсем не веселую песню, отдельные слова которой Анна запомнила. «Спи, ночь в июле только шесть часов». Песня была скорее грустная, но была в ней щемящая нота, которая говорила о том, что есть в ней что-то настоящее. Грусть, может быть? Она подумала, что до июля далеко, и ускорила шаг. Куда она шла?

Чудный пахучий май, гуляющие, поющие люди и ее взяли в свой водоворот праздника. Она даже подумала, что не все еще потеряно и что главное событие предстоит завтра — генеральная репетиция. И к ней хоро-

шо бы подготовиться. Нужно одно, самое простое — выспаться. Но где? И она придумала.

Войдя через проходную в свой театр, она миновала сначала коридоры, затем прошла в свою гримерку, убедилась, что все уже ушли, и, довольная, стала придумывать, что постелить на стоявший топчанчик и как соблюсти осторожность, чтоб ее никто не увидел и не услышал. Ей повезло: когда она проходила проходную, там никого не было, видно, тетя Люся просто-напросто отошла, зная, что все актеры давно покинули театр, спектакль давно закончился. Это-то и спасло Анну. Вечер был теплый, и ей даже показалось, что днем было холоднее, чем сейчас. Поэтому можно было обойтись той шалью, которая всегда, во все времена года находилась в этом месте. Вне театра Анна не носила ее, но часто набрасывала ее на себя именно здесь. Потом, когда появился модный, другой палантин, шаль лежала неостребованная, но все же оставалась в комнате. Как же она была кстати! А уж вместо подушек она собрала все халатики, что висели тут же, подложила еще валик от топчанчика, и ложе было готово. Оно получилось восхитительным!

Аня легла и подумала, что впервые оказалась в театре, где никого, совершенно никого нет. Страшно не было, она знала, что вот-вот и тетя Вера ляжет спать в своей комнатке, и тогда она и вправду окажется в театре совершенно одна. А пока... пока можно было послушать, как дышит театр, появляются ли в нем по ночам привидения, слышно ли улицу. На ее столе горели две лампочки, так она решила вывернуть слегка одну, чтобы света стало меньше.

«Здравствуй, театр! Это я, преданная тебе Анна. Ты меня слышишь? Я так люблю тебя, ты даже не знаешь. У меня такое чувство, что что-то вот-вот произойдет, может, даже меня попросят оставить тебя, но не думай, я никогда, слышишь, никогда не разлюблю тебя, даже если стану нищей, бездомной, больной. — Аня постучала по дереву и на мгновение отвлеклась от главной своей мысли: снова вслушалась в молчащий, та-

кой загадочный, весь синего цвета организм. — Везет же мне! Ну, и что, что так складывается жизнь! Но кто может похвастать тем, что имеет возможность вот так лежать и дышать в такт самому театру. Только не предай! — взмолилась она, — не отвергни, не брось, я всегда буду верной твоей... кем же? Хочешь — дочкой, хочешь — невестой, а хочешь — даже любовницей или падчерицей. Нет, последнее не подходит, какая-то в этом есть половинчатость. Нет, только женой, на меньшее не соглашусь!»

«И еще — подданной!» — подытожила Анна свои признания театру, который действительно дышал вместе с нею, и это общее дыхание делало их чуть ли не заговорщиками. «Вот лежу здесь, и никто, ни одна живая душа не знает, где я. Даже, может, и не извела никогда того, что сейчас чувствую. Он, и правда, дышит!»

Точно, она услышала вдруг скрежет, похожий на чье-то тяжелое перешагивание ступенек. Анна напряглась, но никто не вошел в ее гримерку, и вскоре скрежет прекратился. Затем возник новый звук, совсем непохожий на первый, и длился он долго, и сравнить его можно было разве только с запутавшейся в чем-то птицей. Но откуда тут могла быть птица! Звуки, сменяя друг друга, наслаивались один на другой, и в какой-то момент Аня решила, что не выдержит целую ночь так напрягаться и вычислять, кому или чему принадлежит тот или иной звук. Потом, совсем поздно, когда она успокоилась немного, а звуки все продолжали нараспев вести свою нестройную мелодию, Анна поняла, что это неизбежность, что все, что она сейчас слышит, так или иначе принадлежит театру, и с этим ничего не поделаешь, это просто нужно принять.

«Действительно, а чего бояться?! Что, кто-то придет, возникнет привидение? Глупости! Ну, поскрипывают декорации, гуляет ветер по пространству сцены, пустому и ничем не заполненному в этот час, и что же? Умирать теперь?» Нет уж, лучше дослушать все до конца, насладиться представленной возможностью,

которую сама же и предоставила себе, и еще больше влюбиться в таинство, в величавую загадку, которой театр и является.

— Ну что, как дышится? — услышала она над собой голос и вскрикнула. Даже натянула шаль на голову — так испугалась. Голос раздался прямо у нее над головой, и она не заметила, чтобы кто-то появился в гримерке.

— Да не переживай, это всего лишь я, твоя Нина Бегак, с которой ты время от времени встречаешься. И завтра, надеюсь, повидаемся. Ты как? Не все силы еще растратила? — насмешливо спросила героиня арбузовской пьесы, что в общем-то было ей несвойственно.

Аня пережила первый шок, осторожно выглянула из-за шали — своего укрытия и сказала, едва переводя дух.

— Я знала, что здесь случаются чудеса, но не до такой же степени.

— Ах, дорогая моя, кто же определяет эту самую степень?

— А вы, что же, из сказки, из сна или так, плод моей фантазии?

— Да трудно сказать. Да и надо ли, сами подумайте! Всегда ли правда важнее всего: реальности, здравого смысла, истинного хода вещей?

— Я не знала, что вы — философ.

— А вот и напрасно, — оживилась Нина Бегак. — Мы все в той или иной степени этим грешим. И вы философ, я уверена.

— Я уже даже и не знаю, кто я есть. Все покатилося. Я даже не уверена, что мы завтра с вами встретимся. Или послезавтра. Что-то мне подсказывает, что меня ждут просто непроходимые трудности. И это касается и нашей встречи.

— Знаете, я вам так скажу. Не встретимся — ну и ничего! Вы все равно поняли, что я не такая уж дурочка. И нелепость, и неуверенность — все это от трепетности, от хрупкости душевной. А люди норовят объяснить это на свой лад, удобный им. Плюньте! На вашем

пути будет еще столько прелестных встреч! А я... ну, что же, я не самое главное ваше попадание. Но все же готовьтесь, может, не все еще потеряно.

Аня всматривалась в силуэт, который переместился на стул перед зеркалом, поправил прическу, шапочку, остался, видимо, собой доволен и... так же неожиданно испарился. И все!

Аня подумала, что сегодня вряд ли уже уснет, так беспокойны шорохи и движения этой театральной, в прямом смысле, ночи. Однако решила, что это ничего, что такой опыт вряд ли когда-то приобретешь и нужно впитать каждый шепоток этой ночи.

Другие звуки, звуки с улицы, сюда не проникали, так, иногда только слышно становилось, как где-то тормозила резко машина. А голосов гуляющих молодых граждан, только что окончивших школу, — нет, их не было слышно, словно и не было этого мая, этой ночи с ее выпускным балом и с Аниным днем рождения. «Надо же, на вокзале отметила, а сама и не заметила, что мой день сегодня!» И он прошел, и никто, ни одна живая душа так и не узнала, что у Ани сегодня свой праздник. А, может, и к лучшему. Одни только расспросы, поздравления. Кому это теперь нужно?! Теперь начнется — Аня почему-то это ясно чувствовала — совсем что-то иное, такая жизнь, какой прежде не было, которой и не пахло.

«Все же особый здесь запах. И чего-то несвежего, и затхлого, и терпкого, но одновременно и вполне живого: свежесмытых полов, тонкого запаха табака, который проникал из курилки; запаха грима, лигнина, старой одежды, которой был наводнен театр до самых краев. Все смешалось в нем: и живое, ароматное, и давно отжившее, выцветшее, почти утратившее признаки жизни. И все это был театр, дороже которого для Ани не было ничего. А с утратой близких, с ушедшей любовью, разрушенными связями, дружбами — и вовсе.

Песня ворвалась внезапно, как сегодня и многие другие события. «Прощай, любимый город, уходим завтра в море. И ранней порой мелькнет за кормой

знакомый платок голубой»... Замечательная, со щемящим каким-то тоном песня почему-то прозвучала явно и совсем близко. И Аня поняла: окно гримерки было совсем недалеко от поворота на главную улицу. Видно, там и остановились гуляющие, так здорово, проникновенно певшие эту песню. Текст ее вроде бы и не особенно подходил к данной ситуации, но само событие — прощание — очень даже органично вписывалось в эту ночь, ее прозрачность и белизну.

Постепенно Анна проваливалась все глубже в чудесные ароматы и запахи ночи, с ее загадками, тайнами и тем самым загадочным, что представляет собой театр. И ничто потом уже не тревожило ее в этой ночи, напротив, она успокоилась, приняла все звуки и шорохи и спала, довольная и счастливая.

А утро началось с неожиданного. В дверь заглянула всегда дежурившая на проходной в театре тетя Люся и, нисколько не удивившись, сказала, что ее вызывают к директору.

— А что, что-то случилось? — спросила Аня, еще никак не желавшая отрываться от грез и видений минувшей ночи.

— Да чего там случиться может? Все своим путем, как и положено: одних ругают, другим — премии. А что тебе — сама и узнаешь.

И с этими словами тетя Люся вышла. Анна поняла, что никто пока не знает о ее ночном пребывании в театре, быстро собралась и спустилась вниз, к кабинету директора. Когда она вошла, ее там уже ждали. И не один только директор театра, в свое время уверявший ее в своем хорошем к ней отношении, но и главный. Оба сидели, и по позам их было понятно, что разговор у них давний, серьезный. Оба молча посмотрели на Анну, пригласили затем сестр, и начал директор.

— Вы, Кремнёва, где теперь проживаете?

Аня настолько была огорошена и тоном, и самим вопросом, что не сразу нашлась что ответить.

— Говорите, вы же где-то живете, правда? — продолжал директор.

— Живу, — тихо ответила Анна.

— И где же?

— По-разному, — вымолвила Аня, понимая, что совершает что-то страшное, что вот сейчас, сию минуту и совершается та глобальная ошибка, которая обернется потом самым плохим, непоправимым. Вообще чувство непоправимости и чего-то страшного, посетившее ее еще вчера, вдруг окрепло и сделалось едва ли не зримым.

— Понятно, стало быть, нигде. И законов на этот счет, судя по всему, не знаете. Так?

— Так, — произнесла Анна.

— Но ладно, мы не об этом. Это — к слову, так сказать, — все продолжал директор. — Здесь посложнее дела. На днях, а именно вчера, мы из соответствующих органов получили письмо, в котором сообщается о вашем муже.

— Что с ним, что с дочкой? — едва ли не выкрикнула Анна.

— Успокойтесь, речь не о их мирной или какой другой жизни. Речь о другом. Ваш муж, ученый, уехавший за границу в научную командировку, взявший с собой дочь — правда, так я и не понял зачем, — так вот, он попросил политического убежища у Соединенных Штатов. А это, сами понимаете, не может остаться незамеченным. Вот мы и реагируем.

— Подождите, какого убежища? А что с дочкой, скажите же!!!

— Подробности нам неизвестны, — продолжал развивать мысль директор, в то время как главный молчал и только изредка извлекал какой-то звук, похожий на странное междометие. В разговоре он не принимал участия, он только наблюдал, что совершается на его глазах.

— И что же теперь? Вы говорили, что можете мне помочь? Как моя девочка?

— Успокойтесь. Нам известны весьма незначительные подробности. А в этой связи всякое дальнейшее сотрудничество с вами становится невозможным.

— И что теперь, что? — уже чуть не плача, громко спрашивала Анна. И слышала приговор.

— А теперь только одно: вы не можете оставаться в стенах нашего театра. Это бросает ненужную тень, пойдут кривотолки, а мы... мы слишком дорожим репутацией. Правильно? — и он назвал имя главного, обратясь к нему.

Тот наконец оторвался от своих напряженных внутренних размышлений и твердо сказал всего одно слово: «Да!» Анна уже развернулась, чтобы уйти, но потом чуть ли не закричала: «А как же премьера?!» На что ей очень спокойно все тот же директор ответил, что при таких обстоятельствах это теперь невозможно. «Что, я и играть не буду?» Директор посмотрел на нее, потом перевел взгляд на главного, словно ища поддержки, но тот упорно молчал, и тогда директор снова вполне уверенно сказал: «Выходит, так».

Анна вышла, задержалась на мгновение в предбаннике, заметила, что секретарша намеренно не поднимает головы, углубившись в свое печатание, и направилась к выходу. Идя мимо проходной, она слышала сквозь сильный шум, который мощно гудел у нее в голове, через этот шум во всем ее теле она уловила слова, сказанные тетей Люсей: «Ань, ты шаль свою не забыла?» Аня не ответила, даже не взглянула на дежурную и хотела лишь одного: чтобы сильное жужжание в ушах, невыносимый шум, который, казалось, становился все громче и явственней, прекратился и смолк.

Актеры, скорее всего, уже находились в театре и готовились к генеральной, поэтому, к счастью, никого у служебного входа она не встретила. Смешанное чувство владело ею: с одной стороны, обиды и отчаяния, осознания абсолютной, вселенской несправедливости, а с другой — облегчения и освобождения. И трудно сказать, какое из них перевешивало. Она шла, смотрела на лица, которые улыбались под стать майскому дню, и думала о том, что ни за что не забудет эти ощущения, они когда-нибудь ей пригодятся. Празднующие

ночью молодые люди тоже свое освобождение, от школы еще попадались на улице отдельными малочисленными стайками, но прежнего ночного веселья уже не было, все иссякло и направлялись, скорее всего, по домам. Гул, который так начал донимать ее в театре, прекратился понемногу, уступив место другим звукам, которые рождались прямо здесь, на улице, и заполняли все ее пространство, становясь отличительным признаком, приметой Невского проспекта. Дышалось свободно, на душе творилось нечто невообразимое, что тоже, однако, не помешало ощущать беспрекословное вхождение весны в свои права. Осознание этих прав проявлено было повсюду: в одежде и походке горожан, в некоторой даже небрежности, с которой люди шли и размахивали слегка своими сумочками; в спокойном взгляде на пришедший май, с которым уже не поспоришь и не повернешь куда-то обратно; в том царившем духе свободы, который читался на лицах, был пристегнут к плащам и курткам, доносился из приоткрытых дверей магазинов и просто составлял аромат того, что называется весной, которая наконец наступила, и это было ясно всем.

И вдруг простая до нелепости мысль овладела ею: «Ну, и что?! И без театра прожить тоже возможно. Хотя бы временно», — добавила она, устремляясь в какие-то глубины дворов и арок, с их колодцами, которых на самом деле никогда не было, а осталось одно только название. «И ничего не сжимается, вот, шея совсем свободна, даже удавки нет, значит, жить еще можно. Другое дело — как?! Ладно, посмотрим».

На ее пути попала подворотня, чуть в стороне от которой стояли двое, мужчина и женщина, и пили водку. Их-то она и увидела. И... подошла.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ТАКИЕ СИНИЕ-СИНИЕ СТЕНЫ

А что смотреть в этот омут, который так же бездонен, как и сама жизнь, наверное? Что там увидишь? Пропасть, новый виток этой жизни? – что? Да и что есть пропасть? Просто глубина, странный соскальзывающий куда-то в тартарары рельеф земли или нечто такое, куда и заглянуть страшно? Ах, ерунда все это. Лучше присмотреться и понаблюдать, есть ли и там хоть какая-то жизнь? Что-то действительно шевелится, трепыхается, даже вот и взлетает; то вдруг срывается в виде кусочка земли, ветки, еще чего-то и стремительно несется вниз, на самое дно. Где оно? Если закричать, кто-нибудь услышит? А-а, какой смысл?! Черт, что значит смысл? Он есть, он есть всегда, стоит захотеть его увидеть, приблизиться к нему и попытаться рассмотреть.

Но как же заманчиво сидеть вот так у самого краешка, у самого-самого обрыва, и понимать, что пока еще все тебе подвластно. И только дно остается загадкой, таинственной и непостижимой.

Синий цвет, синие портьеры, кастрюли, сны – все, совершенно все синее. Что это, попахивает психушкой? Но ведь и на самом деле все это имеет такой синий цвет. И ладно бы, но он проникает во все щели, становится навязчивым, и кажется, что даже те двое в арке ворот временами приобретают его стойкий оттенок. Наваждение, да и только!

Вот и на днях приснился сон. Идет по совершенно синей улице сама Анна. А навстречу ей кот, а хвост у кота синий. И если присмотреться, то и морда, и вся остальная часть тела – тоже. Скажешь – глупости, но как тогда быть с метро, с излучающей синей поверхностью, когда проносятся или приближаются поезда? Нет, не все так просто! – синий, он повсюду, он заградил улицы и мосты, проник в глубь Невы и обернулся нескончаемым потоком брызг, которые отчего-то не

высыхают, а тоже превращаются в тот же оттенок. То ли синий, то ли лиловый.

А жизнь, ее многочисленные оттенки и переливы, какого они в основном цвета? Да, понятно, что разные, но главный, самый что ни на есть определяющий? Белый? Вот бы никогда не подумала! И что же, из этого белого и тот, что уже надоел невесть как, составляется? Или вклинивается, проникает? Надо же, сколько загадок преподносит мир! И поди, разберись во всех! Вот сегодня около метро (опять же у самой синей его стены с улицы) подошел нестарый еще человек, а если присмотреться, то вполне еще молодой даже, с густой шевелюрой слегка поседевших волос, нагнулся и уже собирался бросить монетку, как почему-то вздрогнул. Оддернул руку и чуть ли не побежал со всех ног. Странный какой! Что-то в его облике показалось Анне знакомым: то ли манера протягивать руку, то ли слабый запах, напоявший что-то давнее. Но прежде всего шарф, именно его она уже видела когда-то. Но когда? В далеком и прекрасном детстве, юности, в том любовном месяце, месяцах, когда акации свешивали свои тяжелые гроздья в том стареньком дворе, куда они приходили и были так счастливы? Когда? Но тогда было еще тепло, откуда же шарф? А, понятно, была же осень, вот он откуда! Значит, хозяин его жив, и ходит по этому городу, и даже собрался подать монетку, уже и руку протянул. Но что же, что же его остановило? Почему он ушел?

Аня стояла по-прежнему тихо, прислонясь к стене, а сама почти ничего не видела, только один исчезающий из памяти силуэт мужчины с шарфом в полоску и тот жест руки. Его руки, это было ясно! Как же билось сердце! Отчего это оно бьется, как только жизнь делает свой, ей одной ведомый поворот и устремляется в какие-то новые, известные только ей пересечения и просеки? И что же, выходит, и Анна со всем ее нынешним багажом пустоты и отчаяния, тоже жива, раз так дрожат ее руки и все никак не уймется сердце? Где он?

Жив? Вот и все, пожалуй, другого знания и не нужно. Достаточно!

Она преодолела сильное волнение, ссыпала мелочь в сумочку и оторвалась наконец от стены. Только посмотрела вслед той тени, тому давно исчезнувшему силуэту, который показался ей знакомым и никак не вписывался в привычный синий круг. Нет, он был, скорее, другого тона и цвета, похожий на белый, но не кипельный и яркий, а какой-то остепененный и приглушенный, если цвет вообще может быть таковым.

Вот оно что, ничего никуда не уходит, все здесь, в памяти сердца, в том волнении, с которым преодолевается нежелание помнить, знать, вообще думать. Никуда! И поразительное самое в том еще, что и сама любовь, оказывается, тоже никуда не девается, если она истинная. И все равно, сколько прошло лет, стоило мгновению засветиться, дать возможность увидеть хотя бы не лицо, а только силуэт, движение руки, мелочь такую, как старенький шарф, — и все: все вспыхивает вновь, обнажая память и сами чувства, освобождая давящее нежелание знать и вспоминать. Оказывается, эта плутовка-память наделена такими полномочиями, что с ней и не поспоришь: она все подчиняет, все знает наперед, только до поры таит это где-то глубоко в запасниках, в своих чудных глубинах, исхитриться и попасть в которые совсем непросто.

И как теперь жить? Так же ходить к тем людям, которые вот-вот съедут с их знаменитого чердака, и она снова лишится пристанища? Убеждать себя, что ничего не произошло и только показалось, что кто-то из другой, еще прекрасной жизни, жив и способен помочь нищему? А может, она просто ошиблась? Но как тогда быть с запахом, с тем, что никогда, ни при каких обстоятельствах не покидало ее и всегда было готово освежить ее память? И вот эта самая память вышла из-под контроля, нарушила все запреты и отправилась в собственное путешествие по старому и дорогому прошлому.

Анна решила, что больше никогда не отправится на ту «точку», сменит место и снова будет находиться ближе к церкви, где меньше контролирует «начальство», но где действуют свои, внутренние правила: кто и на каком расстоянии стоит, просит или смотрит молча, где распределено не только место, но и время, продолжительность пребывания там.

Так Аня и сделала, бывала по большей части у храма, хотя до дома добираться было довольно далеко, нужно было ехать на троллейбусе, потом идти пешком. Но все это она проделывала только затем, чтобы не искушать судьбу и чтобы никогда больше не увидеть старенький шарф.

В ее жилище, которое она про себя все же называла упорно домом, ее жильцы Новиковы уже готовились к переезду. Что за судьба ожидала чердак, сказать было трудно, но доходили слухи, что его расчистят и никаких жильцов там больше не будет. Действительно, середина семидесятых, какие чердаки?!

Верить в это не особенно хотелось, но и думать о том, что же с ней станет, тоже не получалось. Она уже за несколько лет привыкла не рассуждать на тему, что будет и чем обернется то или иное событие, какой-то поворот в ее биографии: принимала все таким, как есть, и реагировала, что называется, непосредственно в то самое время и на конкретном месте, но никак не до того. И теперь не особенно задумывалась над тем, что станет с нею самой, куда ей деваться и как жить дальше.

Однажды она изменила своей привычке и оказалась на том месте у метро. Но без своей неизменной шапочки, от которой давно оторвался помпон, изменился с розового на неопределенный цвет, и сама она стала такой старенькой, что Анна брала-то ее не всегда, довольствовалась то пакетиком, то алюминиевой плошкой. Она даже себе объяснить не могла, зачем пришла на то место, — просто стояла и смотрела вперед себя. В руках у нее ничего не было, она держала старенькую сумку, одна из ручек которой давно облезла и держала

лась на нескольких ниточках. Но Аня, увидев словно впервые этот атрибут своего гардероба, повернула его той стороной, которая была поопрятней, и даже потеряла его, чтобы расправить замятины. Однако движение ее руки было совершенно бесполезным.

— Не холодно? Вам не холодно? — услышала она над собой вопрос, повторенный дважды, и не сразу подняла голову. Так и продолжала стоять, разглядывая старую свою сумочку. И только запах, которого забыть она так и не сумела, вдруг подсказал, кто перед ней. Она еще медлила, но голос, голос, забыть который она тоже не смогла бы ни при каких обстоятельствах! Все тот же густой и словно насыщенный каким-то внутренним содержимым, может виноградом или яблоками, как она думала тогда, давно, еще в родном городе, этот голос прозвучал снова.

— Наверное, ждете кого-то? Извините.

И человек, так почувствовала Анна, собрался отойти. Уйти собрался! Нет, только не это! Она подняла голову и увидела его. Она не смогла бы описать, что именно она увидела, только искала глазами шарф. Но его не было, и Аня даже смутилась: не ошиблась ли она? Но и голос, его звук, запах и что-то такое еще, что исходило от этого человека, словно подтверждало: она не ошиблась.

— Нет, не жду, — просто ответила Анна и скользнула взглядом по лицу мужчины.

— Это хорошо, — почему-то ответил он, как показалось Анне, совсем невпопад.

Она снова замолчала, как-то сжалась внутри себя, спряталась, словно маленькая девочка, которая залезает под одеяло, ее ищут, а ей кажется, что ее нет, и так бывало и с ней, когда искал ее под одеялом в комнате ее папа. Но и теперь, как, впрочем, и тогда, спрятаться не удалось, к ней приблизились и снова задали вопрос.

— Вы... извините, конечно, но не хотите ли пройти? Погода такая...

— Я?..

— Вы, конечно. У меня такое чувство, что лучше бы здесь не находиться.

— Не знаю, — неопределенно ответила Анна.

— Идемте, здесь недалеко, — предложил мужчина, и, что удивительно, Анна поддалась и сделала несколько шагов.

Некоторое время, совсем немного прошли молча, и он пытался придержать ее за рукав кофты, но в какой-то момент она все же высвободилась и тихо, все так же спрятавшись, шла рядом. Он молчал, словно сам боялся спугнуть мгновение, которое вот, все же настало, и кто скажет, нужно было его торопить или лучше бы обождать, никак не обнаруживая свою заинтересованность и нетерпение в том, что ожидалось долгие-долгие месяцы, годы, времена.

Так они и шагали, каждый — в своем, и все же каждый — в чем-то таком едином, общем, что постепенно становилось ясно: ни молчать, ни длить этот молчаливый диалог, происходивший в душе каждого из них, больше нет никаких сил, нужно что-то предпринять. И жизнь, как это обычно водится, сама же и подбросила выход. К ним подошла девочка, совсем недалеко от царственной статуи и спросила, не нужен ли им котенок. Живое существо, смилившееся со своей участью, тихо сидело у нее на плече. Девочка заглядывала в лица двух людей и с надеждой продолжала и спрашивать, и убеждать, что котенок хороший, очень послушный и любит молоко.

Мужчина улыбнулся, погладил серого котенка по шерстке, даже наклонился к нему и сказал: «Правда, хорошенький. Но... Не знаю, что делать, у меня уже есть один, право, не знаю. Наверное, воздержимся. Правда?» — он обратился к своей спутнице, по-прежнему молчавшей и тихо думающей, как бы еще поглубже спрятаться, чтобы никто и никогда не смог найти ее. — «Вы ведь тоже не возьмете, да?» — обратился он к Анне, на что она молча кивнула. И они снова медленно пошли. Почему она не убегала, не находила причины, чтобы покинуть его?

Молчание становилось таким оглушительным, что слышно было, как глубоко под ребрами Ани стучит сердце. Она даже подумала, что его звук может испугать и котенка, и самого мужчину, который спокойно и с достоинством вел свою спутницу по прекрасным улицам великого города.

Было начало осени, и казалось, лето никак не отпустит и город, и увядающие, почти пожухлые уже деревья, не отпустит того могучего уклада, в который, как в кокон, была помещена природа. Наряд этого города все более приобретал отнюдь не зеленый, а желтовато-охровый окрас. И это ему очень шло. Над самими же улицами временами нависало что-то вроде патины, легкой такой накидки, словно говорящей, что все, пора летнего неистовства закончилась и наступает спокойное, вдумчивое времястояние. Действительно, людей становилось на улицах все больше и больше, заработали институты, дачники покидали свои участки, но самые упорные все еще возились на них, все что-то закрывали, прикапывали, готовились, словом, к зиме. А пока... пока только осень осматривалась и примерялась к городу. Еще порой и баловала то хорошим, погожим днем, то яркостью солнца, то просто светом, какой бывает именно летом. Но все это был только перелом, на самом же деле, и по графикам, и по ощущениям, а главное — по тому рассеянному воздуху, который не спутаешь ни с чем, было очевидно: осень! Воздух, именно он — основной безошибочный признак наступающей осени. Вот по этому воздуху, очищенному от смога, бесконечных летних костров, пожаров, какой-то суеты, и очищался город, а вместе с ним вдыхали его нематериальную прозрачность и его обитатели.

Аня шла по тихому в этот час городу и впервые за долгое-долгое время думала, что в любую пору он хорош. Она так и не смогла за все годы решить, какой же из городов ей дороже: ее родина, Ташкент, или этот, совсем другой, но любимый не менее. А время было послеполюденное, казалось, что уже все должны были заканчивать учебу, заполнять улицы. Но что-то, види-

мо, задержало молодых исследователей и будущих ученых в их важных стенах. А город и впрямь пребывал в ожидании: людей, насыщенного их гула и ропота, а самое важное — все более уверенного наступления осенней поры, которая и так была неминуема.

Они расстались очень странно. Просто Аня не справилась с собой и дальше идти не смогла. Она приостановилась и коротко сказала, что ей нужно возвращаться. На этом, не попрощавшись, она медленно повернулась и так же не спеша двинулась в другую сторону. И только через мгновение услышала: «Аня!.. Она вздрогнула, что-то снова громко ударило внутри нее (может, сердце, а может, и все, чем наполнен организм, все эти бесконечные сосуды, артерии, большие и малые круги кровообращения), но она не оглянулась, а только слегка ускорила шаг.

Значит, он узнал ее, это ясно, да и как иначе, не к чужой же женщине такого странного вида подошел этот вполне прилично выглядевший гражданин.

Настал день, когда пришли в их дом, а точнее, на чердак, странные люди и велели очищать чердак. Некрасовы все дни активно готовились к переезду в новое свое жилище, а Аня снова оставалась в неведении, куда, в какую сторону?

Так складывалось, что у нее было несколько дней на решение своего вопроса. Вопросы! Что решать и куда податься? Да и есть ли оно вообще, это решение?

— Ань, может, им взятку дать: пусть повременят, оставят тебя в покое?

— И много у тебя денег? — парировала Аня.

— Да нет, конечно, но все же... Кое-что есть.

— Нет, не надо, я придумаю, — сказала Аня.

— Да что же ты придумаешь? Вот выметут все, отрежут свет, тепло и — привет. Пока осень — еще ничего. А потом? В нашу однушку не поместимся. Только уж на крайняк если.

— Да ничего, я что-нибудь придумаю.

Продолжать этот никчемный разговор не хотелось, люди собирались, Ане собирать, кроме пары вещей и

пальто, было нечего, и она решила уйти. Пошла, как водится, в арку, где знала, что в этот час те двое будут там.

И, правда, Витька и Кира стояли и, вопреки заведенному ритуалу, не выпивали. Так, говорили. Аня удивилась, подошла и спросила, ничего ли не случилось.

— Да так, ничего серьезного, — нехотя ответил Виктор.

Помолчали.

— Снова день какой! — нашлась Анна. — Давно здесь?

— Что день?! — философски заметил мужчина. — Тут такие дела! Кира вот у нас... отличилась, словом.

Снова молчание, снова пауза, и все же Витька продолжил, так как Кира по-прежнему молчала. Собственно, как она делала это по большей части.

— Тут у нас Кира, — замялся отчего-то Виктор, — так вот, рожать вроде решила. Так, Кирочка? Говорит, время подошло! А какое время, если весь организм водкой пропитался? Какой такой организм?! Даже не пьет когда, и то запах слышен. Ты вот слышишь? Ладно, не отвечай. Волнуюсь я потому. Что молчишь, Кира Алексевна?

Женщина смотрела куда-то в сторону и вдруг неожиданно, как это и было ей свойственно, сказала.

— Хорошо пахнет. В смысле вокруг. Ребеночка очень хочется. Так, сию после работы одна, тоска. А тут бы!..

Речь не была завершена, так как Аня прямо спросила, что, уже все состоялось и ребенок будет, или это только мечты?

— Хочется, — неопределенно ответила Кира, и было непонятно, мечта ли это у нее такая или дело уже сладилось.

— Кира, так что же делать? Виктор прав: опасно вам. Может, обождать немного? А потом... потом и все хорошо будет?

— Нет, не получится, все уже, уже пить нельзя.

— Так, понятно, — сказала Анна и еще подумала,

что творится что-то плохое, что к ребенку, к будущей светлой жизни это событие в действительности не имеет отношения. Так, случайность, нелепая и глупая, не больше. Разве так готовятся к появлению ребенка? Ну почему случайность начинает управлять человеком, а не наоборот? Почему так?

Все трое стояли в подворотне, понятное дело, что за пазухой у Виктора все же было припасено — как же без этого? — но никто не решался предложить по-старому. Предложить выпить. Молчали снова и вот, наконец, Виктор решился.

— Да что мы тут за упокой развели? Ну, хочет женщина родить, так и пусть себе. Что за ужас? В деревнях раньше что, иначе было? И били. И пили, и никаких важных мер не предпринимали, а численность росла, увеличивался в количестве российский народ. Постойте, я кое-что и припоминаю. В последнее время, вспомните, Кира наша все больше молчала и смотрела куда-то. Наверное, в сторону своего кировского завода. Действительно, пила немного, ну, чуток. Ань, помнишь?

Аня не стала отвечать, потому что не об этом думала теперь, а о том мгновении, когда услышала звук голоса, того, который окликнул ее, произнеся: «Аня!» Она отвлеклась от своих мыслей, так как неожиданно Кира предложила.

— Ты, Ань, перебирайся ко мне, мне теперь одной совсем немоготу.

Аня чуть не села прямо там на корточки, даже и опустилась, но все же поднялась, отряхнула юбку и молча посмотрела на женщину, предложившую ей то, в чем она теперь нуждалась больше всего.

— Кира, ты это как, серьезно?

— А то!..

— Ты уверена?

Кира не ответила: было понятно, что столь напряженный разговор утомил ее, и она даже оглянулась, наверное, в поисках места, где бы присесть. Неподалеку лежало перевернутое ведро, на которое и проводи-

ла Аня свою товарку и усадила. Кира даже помахала перед собой рукой: видно, что ей было плоховато.

— Да, Ань, я давно хотела сказать, все не получалось.

— Но а твой, который... — Витька не договорил, так как было и так понятно, что никого у Кире не было: все та же нелепая случайность, не более.

— Так, кореша, бросаем это мутное дело, баста! — воодушевленно заявил единственный мужчина в этой троице.

— И что, встречаться не будем? — задала Кира уже теперь бессмысленный вопрос.

— Теперь — у вас своя жилплощадь, да, Ань, у меня... Ладно, еще свидимся, надеюсь. У тебя телефон-то есть, Кир?

— Ну, — утвердительно ответила Кира и написала на обрывке газеты свой номер.

— Да-а, дела. Столько времени вместе, а толком ничего и не знаем, даже телефона. Теперь вот породнитесь, — сказал Виктор, имея в виду двух женщин. — Ты, Ань, че молчишь? Нравится предложение-то? А то с твоего чердака скоро сгонят?

— Почему «скоро»? Уже согноли. Мои завтра и съезжают. Мне дали два дня на всякое такое.

— И не нужны теперь два дня, сегодня и перебираемся. Мебель там, что у тебя?

Аня даже рассмеялась, когда услышала Витькин вопрос. Мебель! Надо же!

Стали потихоньку собираться. Да, особо и не надо было ничего собирать. Просто стояли, осматривались, словно с местом прощались. Кира поднялась со своего места, тоже бросила взгляд на укромное местечко, возвращаться к которому, судя по всему, уже вряд ли придется, и вместе с Аней пошла под арку.

Когда оказались внутри, Аня посмотрела на давно не крашенные стены и снова с удивлением отметила, как много и здесь синего цвета. «Надо же, мыкаешься, бегаешь, словно белка, по какому-то кругу, а он все синий и синий. Неужели не найдется другого цвета,

кипельно-белого, например? И круг бы тогда поменьше показался». А то, что синий — совсем не из этой уже жизни, было ясно и так. Так его много было в прошлом. Ну, один синий! Везде: в театре, на чердаке, даже одежда Нели, и вазочка, что стояла на кухне, — все, все синее! Надоело!

Договорились сегодня же совершить перенос порток на новый шесток, и Аня двинулась к себе, в сторону дома. Но прежде все же не удержалась и зашла на ту станцию метро. На ту самую, где стояла тогда и где встретила его. Ее товарки были на месте, всего двое. И одна из них неожиданно окликнула Аню.

— Вот, передали тебе, — сказала она, протягивая Ане листок. Он был просто сложен вдвое.

Аня взяла белый лист бумаги, развернула и прочитала: «Каждый вторник и четверг буду ждать здесь с 16 до 18. Лев». Женщина смотрела на Аню довольно равнодушно: видно, так притерпелась к своей никудышной жизни, что даже такое экстремальное событие в их немногочисленном коллективе не вызвало ее интереса.

«А больше он ничего не сказал?» — спросила Аня. Та немного помолчала, соображая, потом потрясла своей кружкой и выдохнула: «А чего он может сказать? Видать, нужна ты ему зачем-то. А зачем?» — вдруг проявила она интерес. Аня промолчала, не в силах удовлетворить любопытство женщины, поблагодарила и отошла от этого места. Вспомнила, какой сегодня день, и поняла, что как раз четверг и будет. Но стала удаляться от этой точки быстрее и быстрее, словно за ней кто-то шел. А на часах — она увидела это — было около четырех часов дня. Самое подходящее время для встречи! Но нет, не готова она была к ней, поэтому стремительно уходила оттуда.

Она несколько раз перечитала записку, затем аккуратно сложила ее еще раз пополам, положила в карман своей курточки и зашагала к дому.

Осень заметно упрочивала свои права, всячески напоминая о том, что холод — он вот, совсем рядом, и

упреждала население города то дождем, то слякотью, все настойчивее переходя от прекрасной переходной поры к своим четким проявлениям. Безусловность и неотвратимость сменяемости временных циклов всякий раз наводили Анну на размышления. Она убеждалась, как и все человечество, в том, что как и что бы ни происходило в жизни каждого, как бы ни заигрывала природа, делая вид, что оттягивает, отодвигает наступление того или иного времени года, оно неизменно настанет и ничего с этим не поделаешь. И это было замечательно!

Странная квартира была у Киры. Действительно, неподалеку дымил кировский завод, все вокруг свидетельствовало о принадлежности района не к самой симпатичной части города. Однако было в этом углу Ленинграда и свое что-то, особенное. Простота в обращении людей, множество стареньких домиков, обилие магазинчиков, в которых в эту пору тоже было почти пусто. То есть был свой уклад жизни, который весьма отличался от царившего в центре. Но это несколько не смущало Аню, а уж саму хозяйку квартиры — тем более. Значилась она как однокомнатная, но был в ней своеобразный аппендикс, который позволял им воспользоваться в качестве дополнительной комнаты. Туда-то и поместилась Анна. Комната имела даже маленькое оконце, была, наверное, метров семи, не более, но это был угол. Свой угол! Кира, по всей видимости, так настрадалась от одиночества, так ее заела тоска и это странное времяпрепровождение под аркой, что была рада приходу человека, поэтому стала даже разговаривать, выражать свои мысли не только жестами и мимикой, но вполне членораздельно объяснять, что, и как, и где: расположено, действует или наоборот. Она не была излишне навязчивой, раз объяснила — и все, а Анне только того и надо было. Так и сошлись две души, где у каждой было свое обособленное место, но где каждая нуждалась в существовании другого человека. По большей части, когда Кира еще не уходила на свой завод, они общались, разговаривали мало. Потом, ког-

да Анна оставалась одна, — тем более — говорить-то было не с кем. Ну, а вечерами пили чай, иногда перебрасывались отдельными словами, но длительных, а уж тем более душещипательных бесед не вели.

Это устраивало обеих. Поэтому отношения сразу заладились. Анна могла уходить, когда ей надо было, Кира — тоже, но постепенно назрел вопрос — а что дальше? Что делать Анне? Не век же просить милостыню, тем более что посиделки под аркой закончились. И однажды Кира предложила.

— У нас место есть, пойдешь?

— И что делать? Я же ничего не умею.

— Там особого труда не требуется. Сортировать изделия — и все. Сможешь, приспособишься. Все же — работа как никак. Не куда-то там ходить. Неизвестно еще, куда... — долго и пространно сообщила Кира об Аниных возможностях и обстоятельствах дела.

— Можно. Можно и посмотреть.

— А чего? И рядом, и выучка особая не требуется.

Договорились на другой же день отправиться на завод и все обсудить. А пока был свободный день, вторник, и Анна отправилась в центр города.

Осень постепенно убавляла день, это становилось все заметнее, и уже к четырем часам дня на город напоздали сумерки. Потемневший день отражался на настроении граждан, и Аня тоже испытывала неуютность. Осень словно предупреждала: все в моей власти, готовьтесь, дорогие, к еще большим холодам и непогоде. А то, что непогода плотным кольцом сдавила весь город, было совершенно очевидно. То просто моросило, то активно и надолго покрывал город дождь, то солнце, которого и так не было особенно много в любые времена и погоды, совсем покидало город, и становилось грустно.

Аня принимала любимый город любим, разным, ей и осень с ее капризами была в радость. А больше всего нравилось рассматривать, как охровые охапки листьев, слипшиеся от дождя пучками и так и лежавшие по обочинам или там, где не особенно тщательно убира-

ли тротуары, едва ли не взывали к прохожим: ну, возьмите, такой получится букет! Аня подолгу рассматривала эти ковры разноцветного цвета, где преобладающими были, конечно, желтый, все его оттенки, багровый, даже красный, и вдруг однажды разглядела даже семейство синих. Да, они так слаженно сгруппировались и такого были пронзительно синего цвета, что Аня не удержалась, наклонилась и потрогала мокрые охапки. И снова подумала, что этот цвет в ее жизни почему-то вытесняет все другие. Просто какое-то навязание, да и только! Но про себя она знала, там, далеко, где-то совсем внутри, откуда и мысль извлекается нечасто, в этих самых потемках памяти, каких-то особенных ощущений, Аня отыскивала свои смыслы и понимала, что это не пожизненно, что иной, более тонкий и прозрачный цвет когда-нибудь станет определяющим и вытеснит все другие оттенки. Может быть, это будет белый, может, еще какой-то, но непременно другой. Этот синий уже успел надоесть ей: так его было много.

Когда она подошла к старому своему месту, где три недели назад ей передали записку, она сразу увидела его. Он стоял возле стены, не заходя внутрь, не суетился, не высматривал в толпе людей ее, а просто стоял и думал. Это было особенно заметно хотя бы по тому, что его спокойная, молчаливая фигура резко контрастировала со всем остальным потоком людей, которые входили и выходили из метро, и затеряться в этой гуще народа было очень легко. Но он словно положился на судьбу, доверясь ей и ожидая, что станется. Стоял и ждал.

Аня, заметив его так быстро, не нашла в себе сил подойти тут же. Она издали смотрела на фигуру человека, который заметно возмужал, стал слегка сутулиться, виски его тоже поседел, но было все же в его облике нечто такое, что когда-то так сильно зацепило ее, а потом и вовсе... Это «вовсе» сопровождало ее все годы, он, этот человек, как бы ни складывалась ее судьба, куда бы ни заворачивали жизненные пово-

роты, был с ней, так или иначе присутствовал. Она помнила все, что связывало обоих: и его, и само время. И в самых дальних закоулках памяти, к которым почти не обращалась, всегда находилась мысль, простая и ясная, как осень или ее любимый май, в которых все определено и закономерно. Она знала, что это не конец, что когда-то, может через много-много лет, времен родится опять что-то. Или проснется, или опомнится, но как-то даст о себе знать, сообщит, что вот она, другая жизнь, настает.

Эти мысли не носили какого-то четкого, оформленного характера, скорей, это было похоже на глубоко спрятанное чувство, которое-то и подсказывало, что ничто не умерло и что живые люди должны будут встретиться. Хотя когда-нибудь!

И все же она подошла. Он, еще не увидя ее, оторвался от стены и повернулся к ней.

— Ну вот, пришли, пришла, — поправился он. — Я ждал.

— Да, здравствуйте, — только и сказала Анна.

— Идем, идем куда-нибудь, — сказал он, и они пошли.

Шли и долго молчали, не знали оба, как начать говорить, да и о чем. Но и в молчании была своя прелесть. Можно было рассматривать листья, их узоры, сплетения, цвета, разглядывать мельчайшие прожилки и понимать, что благодаря этой осени что-то наконец сдвинулось в их жизни и они встретились.

— Тогда, давно, — заговорил он, — тоже была осень. Но день был другим, долгим-долгим. И еще ночные звезды, я это так хорошо запомнил. Не замерзла?

— Нет, почти нет.

— Мне хотелось бы произносить имя, твоё имя. Много раз, долго. Анна, Аня, Анна Васильевна. Ничего не знаю, но это и не важно. Жива, и слава Богу.

— Жива? Не знаю, не знаю, жива ли?

— Что-то такое в твоей жизни, что даже страшно приближаться к этому.

— Ну, и не будем.

— Нет, может, не теперь, но когда-нибудь... Счастье, что жива.

— У меня теперь такая жизнь, что порой и не знаю, где я, кто я, да и жива ли, в самом деле. — Такую длинную фразу Анна сказала неожиданно для самой себя.

— Да, я понимаю. Давай зайдем куда-нибудь, — предложил Лев.

— Нет, наверное, не смогу, да и мой вид, — посмотрела на себя Анна.

— Глупости, что значит вид?! Тебе нужно просто много и хорошо питаться, и все наладится. Лицо, лицо же осталось прежним.

Анна отвернулась, ей нелегко было слушать что-либо о себе: за последние годы ни она сама, ни кто-то другой никогда не говорили ей, как она выглядит, как чувствует. А уж вопросы тем более не задавал.

— В другой раз, наверное, — сказала Анна. — Пройдемся просто. А, может... может, и этого не смогу.

— Что значит — «не смогу»?

А то и значит, что я — давно не человек, не женщина, никто вообще, — выпалила Анна.

Он схватил ее за руку, сжал ее, посмотрел очень внимательно и сказал:

— Я все вижу, это неважно, это преодолимо, все можно пройти, если столько уже... если уже... — Он не договорил и едва не разрыдался.

Аня смутилась, высвободила руку и сказала:

— Я ничего пока не смогу. Наверное, еще долго. А может, навсегда.

— Нет, что ты! Что значит — навсегда? Теперь этого не будет!

— Посмотри на меня. Видишь?

— Я все вижу, но не в этом дело, я все, я все сделаю. Идем в кафе.

— Неудобно, я в таком... — Аня не закончила фразы, так как Лев снова взял ее за руку и сказал:

— Никаких возражений, мне совершенно все равно, в чем ты. Ты есть — вот что. И больше ничего. Ничего, — добавил он и потянул Аню в сторону кафе.

Аня упиралась, она сознавала, на что похожа, как выглядит, но Лев словно не замечал этого. Он упорно настаивал на кафе. Наконец, Аня дернулась и уже прямо и твердо сказала, что никуда не пойдет. Он, наверное, понял, что слишком сильно настаивал и что Ане трудно сделать этот шаг, и тогда он сказал.

— Поверь, мне действительно все равно, в чем ты, как выглядишь. Я все, все вижу. Но что из этого следует?

Аня молчала: что она могла ответить! Он снова взял ее за руку, и они вошли в помещение. Там было, на удивление, светло и как-то даже празднично. Народу немного, а те, что уже сидели, были настроены, как показалось, довольно миролюбиво, каждый был занят своим. Вообще, мягко говоря, атмосфера царила вовсе не свойственная тому периоду времени, в котором оказались герои. Не было обычной толчеи, сутолоки, люди едва успевали пробраться в подобные заведения, обычно выстаивали приличные очереди, а тут... Может быть, объяснялось это тем, что еще не наступил окончательный вечер, еще не все закончили работу, да и сам будний день тоже означал, что не все готовы к веселью и отдыху.

Аня оглядела убранство кафе, отметила, что синего как раз немного, а, наоборот, преобладает какой-то желтовато-золотистый оттенок. Стулья тоже были под стать: светло-бежевого цвета, на столах лежали чистые скатерти, стояли крохотные вазочки с цветами, свет был вполне в духе самого кафе: такой же спокойный и слегка приглушенный. Ну, а самое главное, что здесь, и вправду, была атмосфера какого-то удивительного настроения на неспешность и негромкость.

Лев заказал кофе, потом, словно спохватившись, спросил, что бы еще хотела Анна. Однако не дожидаясь ответа, сам сказал, чтобы принесли как можно больше горячего: и супа, и второго, и — добавил он уже шутливо — компота. Официантка не поняла сразу и переспросила, правда ли, нужен компот, и что, может, заменить чем-то, но Лев развел руками: приносите, что хотите, только поскорей.

— Может быть, немного выпьем? — предложил он.

Анна колебалась: она не хотела пить, но и ответить надо было так, чтобы он понял — не все в ее жизни так замечательно, скорее, наоборот. И она, словно отбросив робость, решительно заявила:

— А я и пила, знаешь! И много. И где!

— Ладно, ладно, не стоит сейчас об этом, я и так многое вижу. Ну, пила, что из этого?! Я тоже прошел через такое. Все бросил три года назад, как Галя умерла, я остался один. Она хотя и была замужем, но только формально, бывало, приходил, ухаживал. Дочка наша с ее сестрой так и осталась. Через что только не довелось пройти! Скажи лучше, как себя чувствуешь, где живешь, где ты вообще?

— Я-то? — усмехнулась Аня. Я и не знала, что у тебя была дочь. Сначала рассказывать или как?

— Не сердись, не надо колоть, понимаю... Да, дочь, она и есть сейчас.

— Что ты можешь понять, что?

— Ну, хотя бы то, что я сам виноват, я раскаиваюсь. Я много страдал. И сейчас понимаю, что...

— Что? — переспросила Анна. — Говори.

— Нет, не могу, не все сразу. Сейчас я смог бы помочь тебе в профессии. Я и на студии, и на телевидении. Занят много. Ты работала?

— А ты не искал меня?

Как же! Я звонил в Ташкент, но там сказали, что связь потеряна, что ты замужем, никто ничего не знал. Да и не хотели, видимо, обиделись на меня за тебя. Это и понятно.

— Я давно уехала оттуда. Да, замуж вышла, дочку родила.

— И где он... твой... — он не завершил вопроса, так как принесли суп, от которого поднималась струйка какого-то тепла, и он замолчал, сказал только, чтобы Аня все съела.

Вместо компота девушка действительно принесла им что-то вроде морса из ягод, целый графин. Они ели

суп, и он все поглядывал, нравится ли Ане и все ли она доела. Потом откинулся и снова спросил.

— Ты сейчас тоже замужем?

Вопрос прозвучал так резко, так внезапно, что Аня не сразу нашлась. И все же она ответила.

— Трудно сказать. Сама не знаю.

— Но ты...

— Молчи, пожалуйста, не все сразу.

Хорошо, я не буду. Понравилось тебе здесь?

— После моих-то приворотных кафе — это ничего себе, смотрится.

— Аня, столько лет прошло, я понимаю, не просто начать заново.

— А что можно начать заново? Жизнь, собственную историю?

— Нас! Хотя бы это. И больше ничего не надо.

Заиграла музыка, она и прежде звучала, но кто-то бросил в автомат монетку и она стала громкой, чуть ли не пронзительной. Они оба молчали, только оба понимали, как трудно поддерживать разговор и как непросто вообще продолжать то, что, казалось бы, давно-давно закончилось. Пережидали, когда закончится эта резкая мелодия, словно подтачивающая изнутри, и она наконец прекратилась, даже оборвалась резко-резко.

— Ты не мучайся, все уже в прошлом, — сказала Анна и этим словно еще больше растянула и без того натянутую пружину в глубине его сердца.

— Не говори так, не все! — пылко ответил он. — Раз жизнь продолжается, значит, все еще возможно. Вот, каким-то чудом нашел я тебя. А не знал! Ничего не знал. Ни где ты, ни с кем — ничего!

— Я — ни с кем. Я — сама по себе.

— Да, а дочь, она как?

— Ах, какой ты! Да если бы я знала! — отчаянно отмахнулась Анна.

— Ладно, я замолчу, ни слова о тебе. Но только скажи, ты... у тебя есть... ты работаешь? Ты же актриса! И всегда была замечательной актрисой!

— Я? — снова горько усмехнулась Анна. — Может, и была, да уже не помню. Да что говорить! Столько всего прошло, разве все расскажешь? Да и стоит ли? Может, я пойду?

— Что значит — ты? Еще второе принесут, погоди, не уходи.

Аня, однако, поднялась и уже хотела пройти к выходу, но он схватил ее за руку и так и держал эту руку, пока она сама не опомнилась и не отдернула ее.

— Потом, как-нибудь потом, я не могу, я пока ничего не могу, — сказала Анна и все же решительно направилась к выходу. На ходу уже бросила:

— Не иди, останься, я сама.

— Но где я тебя найду? Подожди, немного подожди. — Он вынул деньги, бросил их на стол и пошел вслед за Аней.

Когда они оказались на улице, то оба ощутили пронизывающий, пахучий запах вошедшей во вкус осени. Уже давно стало темно, и только отдельные искорки кое-где ссыпающегося снега подтверждали очевидное: зима не за горами. Прохожие, не все еще переодевшись в зимние пальто, поеживались от холода. Вот бывает же он таким пронзительным именно в это время года. Даже зимой, в январе, когда зима вовсю уже буйствует и только готовится к февральским вьюгам и заносам, не так холодно. Просто понятно, что зима, температура далеко за минус. А тут! Нет, что-то ноябрь таит в себе такое, что его точно не спутаешь ни с каким другим месяцем. Холодно, пробирает до костей, хмуро и темно. Вот то, что становится так жгуче темно, мучает больше всего. Не поймешь этот день: то он уже занялся, а ближе к трем часам кажется, что почти на исходе. И так длится и длится еще почти полтора месяца, до той самой поры, пока январская погода повластно и неостановимо не овладеет городом. А значит, и людьми.

Мужчина и женщина торопливыми шагами приближались к станции метро, и он понял, что она, его дорогая женщина, уже не остановится и напрасно взывать

к памяти, к прошлому, к тому, что когда-то объединяло. Должно, наверное, было пройти время. Опять это время! Ну что поделаешь, если она не была готова ни к откровениям, ни к новому витку отношений? Ничего! И это объясняло многое и в ее поведении, и в том, как она противилась продолжению чего бы то ни было. И было ли это правдой? Может быть, иначе, это уже была бы не Анна, кто-то другой продвигался вдоль по темной улице города к месту, которое опять на время стало ее пристанищем. Надолго ли?

Она шла и думала, что даже в этом кафе, где она только что была, даже там она заметила, что среди обилия золотистых и бежевых оттенков все же нашелся тот, который так утомил ее в последние годы: это был цвет самого пола, наверное, очень модного в то время, который даже и сочетался с бежевым, но он-то и поразил Анну — так напомнил бархатные синие кресла в театре, отдельные предметы в доме у Нели и вазочку там, где она проживала еще совсем недавно. Какое счастье, что в ее нынешнем доме ничего подобного не было, там присутствовал совсем другой цвет — промытого, чистого пола, беленых стен и скудной мебели, не имевшей к синему ни малейшего отношения.

И тут она вспомнила: рубашка у Льва была совершенно белого цвета.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

С 16 Д 0 18

Синяя стрела вмиг стала золотой, и уже казалось, что все: ничего не стряется больше, пронесется мимо, прямо как в сказке. Но она летела и летела, и, казалось, конца-краю не будет этому полету, этому свечению странной тоненькой штуки, которая так удивительно называлась – стрела. Она действительно обогнула плачущую, какую-то увядающую женщину, прилестилась на мгновение рядышком, обогнула снова тот уступ, на краешке которого прилестилась седая, похожая на старуху Изергиль женщина в когда-то сиреневом платье, и почему-то очень быстро взмыла в небо. Высоко-высоко! Так стремительно и так отрезвляюще, что стало казаться, она просто пошутила: приблизила миг опасности и... скрылась. И все!

Лев узнал, где жила Анна: он все же проводил ее, хотя она и не хотела этого, и шла молча, и ехала – все молча. И он больше уже не настаивал на разговоре, на откровениях. Просто шагал рядом, смотрел иногда, пытался понять, каково ей и что вообще у нее в жизни. Но более всего, наверное, что ни за что не должен потерять этого человека, что если случится подобное, уже не выжить. Причем обоим.

А будни снова полетели быстро, почти незаметно. С утра – на завод, где ей приходилось сортировать детали. Работа несложная, просто требовала внимания и сосредоточенности. А вот с последним делом обстояло не лучшим образом. Иногда она так уносилась в известные только ей дали воспоминаний, что могла кое-что и напутать. Например, ей поручали отделять металлические трубки по сортам. Но это только называлось так, на самом же деле важно было учесть, какой объем, диаметр, как выполнены, нет ли явного брака, то есть, применяя шаблон, сверять габариты. Вроде бы механическая работа, да не очень. Нужно было внимание. Сорт и прочее определяли в другом месте, а она

была средним звеном между этой последней инстанцией и ОТК. Промежуточная работа, чтобы уж совсем не запороть важную работу и выявить брак. Так она и разглядывала свои трубки, блестящие, металлические, оценивала эти заготовки, вертела их в руках, иной раз думая, куда и зачем приложила бы их она сама. Так, ей иной раз казалось, что они могли бы стать своеобразными поручнями для инвалидов в метро, поликлиниках, других местах. В том же кафе, например. Или другое. Она хотела бы из них смастерить подставочки для цветов, несмотря на их округлую форму. Собрав их несколько штук, они неплохо бы смотрелись в соединенном виде, поставь на них дома горшки с цветами или сделав из совсем тоненьких что-то похожее на гирлянды, свисающие с потолка. Да, а что? – закрутить на каком-нибудь станке и сделать совсем легкими, так, чтобы не ударили, а смотрелись изящно.

Словом, сортируя эти изделия, она время от времени отвлекалась на свои выдумки, придумывая разные назначения этим трубкам. Вспомнила даже Киша, мастеровившего свои палки. Ему тоже, наверное, они пригодились бы. Так и осталось непроясненным, для какой же цели приносил он свои заготовки и мастерил бесконечное количество палок. Зачем? Для кого? Аня почему-то думала, что когда-нибудь узнает ответ и на этот вопрос. А пока... Пока она отделяла бракованные, которые попадались крайне редко, от почти совершенных, ровных. Как вафельки причудливой формы, закрученные, и, глядя на которые, можно было по-другому рисовать мир.

Работа начиналась в восемь, а к четырем она уже была свободна, поэтому и смогла пойти на встречу к метро. Прошло, однако, уже много времени, наверное, целых десять дней, а она все стремилась не показываться дома сразу после работы, а шла куда-нибудь. Гуляла по улицам, по-прежнему одним из любимых занятий оставалось разглядывание витрин, а также лиц прохожих, угадывание их настроения, характера, профессии. К своему бывшему театру она старалась не

подходить и выбирала такие маршруты, которые запросто позволяли это делать. Огибая свой трагический участок, она попадала снова на ту же улицу, где жила с Олегом и где все так неожиданно и странно разрушилось. Внутри заходить не решалась, просто посматривала на подъезд, на окна и однажды увидела в них свет. Было около пяти, совсем стемнело в эту пору, и она удивилась не тому, что горит свет, а, скорее, тому, что заметила тени там, за окном. И она решилась.

Поднявшись на третий этаж, она перевела дух, помедлила и все же нажала на кнопку звонка. Довольно быстро открыла незнакомая ей женщина в халате, которая торопливо вытирала руки о полотенце. Была она некрасива, неухожена, смотрела не улыбаясь и выглядела недружелюбно. Аня даже растерялась на мгновение. Потом, однако, смогла преодолеть волнение и спросить.

— Вы не скажете, здесь жила семья Истриных, они как, уехали?

— Никаких тут ...как вы сказали, Истриных? — тут нет.

— А вы сами, вы давно здесь?

— А вы кто будете?

— Я? — удивилась почему-то Анна. — Я жила здесь несколько лет назад. И муж у меня был, Олег Истрин, потом, правда, все изменилось, они уехали...

— А вы куда же делись? — не понимала женщина.

— А я? Я вот здесь... — развела руками Анна.

И вдруг что-то в женщине переменялось. Она сделала шаг назад, сжала в руках свое полотенце и сказала:

— Что стоять-то? Проходите. — И она впустила Аню в коридор.

Как же здесь все изменилось! Появилась мебель, которой раньше не было, обои уже не висели клочьями, а сидели своими синими рядами ровно, сверху вниз. Женщина шла впереди ее по коридору и на ходу говорила.

— На кухню заглядывайте, вон у нас как. Так говорите, жили здесь сами? Ну-ну, так помните, что лет сто

тут никакого ремонта не было. А мы — вот как... — Она не договорила, так как в какое-то мгновение поняла, что Анне непросто и идти, и оценивать происшедшие перемены. — Вот, комната...

— Вы что же, одни тут? Я имею в виду — одна семья?

— А как же? Одна и есть.

— И что, ничего не знаете об Олеге, его маме?

— Девушка, какой Олег?! Что вы говорите? Ничего не знаю. Погодите, погодите, сейчас я кое-кого спрошу. Игорь! — позвала она.

Вышел из комнаты большой, рослый молодой человек в куртке, напоминающей домашнюю одежду девятнадцатого века. Все как-то не вполне вязалось во всем этом доме: и сами обитатели, их облик, контрастирующий с современной лаконичной мебелью. В этой гостиной, которая была самой большой в доме, тоже все смотрелось иначе: и новые обои, и снова мебель, и занавески на окнах. Ничего, кажется, не осталось в этой квартире от той, старой. Переменялись не только цвета, убранство, наполнение диванами, стенками, столами, но переменялся сам дух этого жилища: стал чужим, незнакомым, который и не хотелось узнавать заново.

— Игореш, а кто этот Олег, ты не знаешь? Вот, женщина говорит, жила здесь.

— Ты забыла, действительно, какой-то был здесь, но мы его уже не видели, он, кажется, за границу уехал. С девочкой, вроде.

— Да, с девочкой, это точно. А вы ничего о ней не знаете? Может, не сами, а те, кто знал их?

— Я одно знаю, тут и из органов приходили, да, было такое. Так вот, он чуть ли не обманом увез ребенка. А вы... вы жена, что ли? И ничего не знаете?

— Не знаю. А вы...вы поменялись, что ли?

— Да, тут же еще одна женщина была, бойкая такая. Она и поменялась с нами.

— Так, может, вы знаете, где ее найти?

— Конечно, мы же помним, где сами жили еще два года назад.

— Можно, я запишу адрес?

Игорь почесал лоб, взглянул на мать, а то, что это была именно мать, было ясно, а потом почему-то спросил.

— А сами вы... почему не остались в этой квартире? Что случилось?

— А все просто: та бойкая женщина, как вы говорите, все сделала, чтобы меня выселили. Да и есть, то есть была, но там теперь другие.

— Запутанно у вас что-то все.

— Возможно. Так как, дадите адрес?

Женщина почему-то подошла к Игорю, поправила почему-то воротник его домашней куртки, а затем обратилась к Анне.

— Вы нас правильно поймите. Адрес дать можно, но почему столько времени вы не появлялись? Можно было об этом и раньше спросить.

— Вы не знаете, я искала, встречалась... Да и с людьми из тех же органов. Но получила совет...

— И что же?

— Так, посоветовали не трогать эту историю. Но я должна, понимаете?..

Ане стало плохо: закружилась голова, и она чуть не упала на пол. Ее вовремя подхватил молодой человек и посадил на диван. Женщина побежала за водой, и этот момент сразу как-то изменил ситуацию — все поняли, что дело нешуточное, что пришедшая женщина не просто так интересуется этим домом.

— Пейте, пейте, — уговаривала женщина Анну, которая уже открыла глаза и тяжело обводила взглядом дом, в котором когда-то, всего несколько лет назад, была почти счастлива.

— Что же он так с тобой, милая? — перешла на ты хозяйка.

— Вы, наверное, разошлись к тому времени, да? — не унимался молодой человек, явно пытавшийся что-то припомнить и что-то сообщить. — Я обязательно, не

переживайте, дам вам адрес. Только что это вам даст? Поймите, вряд ли та женщина, ну, бывшая хозяйка этой квартиры, что-то знает и чем-то поможет. Ничего она не сделает, поверьте, я уж знаю. Она из нас-то всю кровь выпила, только деньги ей подавай. Даже на этом обмене заработала. Вы успокойтесь, сейчас чай мама даст.

Аня наконец совсем пришла в себя и, держа в руках стакан с водой, снова и снова пыталась понять, что такое произошло, что могло случиться, чтобы бывший муж так с ней обошелся. А главное — зачем ему надо было уезжать с ребенком? Неужели такой хитрый ход спас его от страны, которая дала ему все, абсолютно все?

— Спасибо, уже хорошо.

— Вы, наверное, плохо питаетесь, совсем худая. Вымотанная какая-то.

Аня усмехнулась: знали бы эти люди, что ей пришлось пережить, через что пройти!

— Ничего, я пойду.

— Нет, сперва чаю попьете, потом отправитесь. — И женщина вышла.

Впервые за долгое-долгое время Аня заплакала. Она смотрела на когда-то еще свою квартиру, ничего в ней не узнавала и только плакала. И вдруг она заметила в самом углу подвешенную на гвоздик игрушку. Маленького ежика, который был еще в той ее жизни и с которым любила играть Пелагея. Был он матерчатый, с яркими пуговичными глазками, колючки со временем пообносились и сложились вдоль по спинке, но сам он не выглядел старым и потрепанным. «Господи, как он тут оказался? Как уцелел?» Игорь посмотрел в сторону игрушки, затем подошел к ней, снял и передал Анне. «Да кто его знает, как! Понравился, видимо, хозяйка забыла. Для нее это не было ценностью». Аня взяла ежика, прислонила к себе и вдруг вспомнила, что он появился в тот именно день, когда у нее была премьера ее Катарины. Вечером после спектакля, когда они оба вернулись домой, Олег достал игрушку и передал жене. И еще сказал: «Ты тоже бываешь колючей. Но посмотри, какие мягкие у него иголки. Вот бы и тебе

так!» Точно, это было в тот день, когда слава и успех были совершенной реальностью в ее жизни, и ничего не предвещало ни подворотного образа жизни, ни безработицы, ни отсутствия всякого желания жить, общаться, быть кому-то необходимой. И тут она вспомнила, что есть он, взявшийся из какой-то неизвестной жизни, — Лев. И здесь тоже она сторонится, прячется, не хочет развития отношений. Его предательство, как она считала, — та преграда, преодолеть которую вряд ли возможно. И тут же себе возразила: «А может быть, все еще возможно?»

Она стала собираться, на этот раз решительно и упрямо. Однако вошедшая хозяйка уже вносила чай, и неудобно было покидать дом. Они еще посидели какое-то время, потом женщина сказала.

— Вы не терпите, когда плохо. Приходите. Старые стены тянут, я знаю. Мне самой на наш Васильевский так и хочется иной раз просто так взять и съездить. Приходите, — добавила она и дотронулась до Аниной руки. — Жизнь — она, знаете, по-всякому оборачивается. То лицом, то и наоборот.

Нехитрая эта мысль почему-то успокоила Анну, и она встала. Ежика так и держала на руках. Простились, она вышла и увидела, как в подъезд вошли мама с дочкой. Она вспомнила эту женщину, заметила, как выросла ее дочка, и поздоровалась. Ей ответили, оглядели, затем женщина всплеснула руками и спросила.

— Аня, это вы? Как вы изменились! Где вы?

— Да, я. А вас, кажется, Ниной зовут?

— Точно, вот моя дочка. — И тут женщина смутилась, вспомнила про Анину историю. — Выходит, вы где-то? Знаю, они уехали, но потом, что потом-то? — оживленно спросила она. — Вернулись? Где вы теперь?

— Я? — как-то тяжело ответила Анна. — Я — сама по себе, где мои... где, толком не знаю. А вы, вы слышали что-нибудь?

— Нет, знаю только, что он чуть ли не сбежал, разные слухи ходили. Вас бросил. Так ведь?

— Да, так. А о нем, о нем ничего больше не слышали?

— Извините, нет. Но у вас все еще будет хорошо, поверьте мне. Я вот тоже с мужем разошлась. А вы... все еще в театре? — неуверенно спросила она.

— Нет, теперь нет, — коротко ответила Анна.

— Жаль, вы нам здесь всем нравились. Ничего, все еще будет, — уверенно сказала женщина с дочкой и пошла вверх по лестнице.

Когда Аня оказалась на улице, то почувствовала внезапное облегчение: сама природа, пусть и такая недружелюбная в эту пору, казалось, примиряла с действительностью. Все же было и в этом времени года нечто такое, что влияло на настойчивое в последнее время желание жить, что-то такое нужное делать и находить силы. Для чего? А просто силы, чтобы видеть и вдыхать эту позднюю осень, временами уступающую права зиме, аромат улиц с их гражданами, спешащими, озабоченными, лица которых всегда нравились Анне. Силы, чтобы подниматься рано утром, идти на завод, сортировать трубки, выбирать из них совсем-совсем хорошие, потом отправляться на обед, снова приниматься за работу... А потом либо бродить по улицам, все думая, рассматривая, иногда вспоминая, иногда... Она тут же вспомнила о его записке и о том, что будет ее ждать каждый вторник и четверг с 16 до 18. Она взглянула на часы и поняла, что ее время уже прошло: было около семи вечера. Так долго она задержалась в старом своем доме. И еще она вспомнила о том, что давешний зарок не помнить ни о чем, никогда не ворошить прошлое постепенно утрачивает свою неукоснительную силу: к ней стала возвращаться память, и вспоминать было иногда очень приятно. Появилась даже потребность в этих проходах по прошлому. Она позволяла себе сначала иногда, потом эта потребность все настойчивее овладевала ею, и она уже не могла жить без воспоминаний, прогуливаясь закоулками и перелесками старого. Более того, находила в этом для себя теперь определенное убежище, своего

рода локальный очажок свободы, в который можно было прийти и постранствовать там.

У дома, до которого она добралась около восьми уже, она сразу увидела его. Он спокойно стоял у подъезда, и было понятно, что находится он здесь давно. Первой мыслью было убежать или, по крайней мере, спрятаться. Но поскольку она не готовилась к встрече и не ожидала его, то была застигнута врасплох: он ее увидел сразу. Мгновенно отделился от стены, возле которой находился, и подошел.

— Аня, что так поздно?

— Зачем ты здесь?

— Я теперь всегда буду здесь. Давай поговорим. Я только потом понял, когда все не заставал тебя, что ты где-то ходишь.

— Да, хожу.

— Понятно, в такой дом и возвращаться, наверное, не хочется? — спросил он. — А что это? — он показал на игрушку? Старенький уже, совсем иголки смялись. Твой?

— Нет.

— А чей же?

— — Сколько вопросов. Дом хороший, только не мой, это правда.

— И что, в него нельзя? Неудобно?

— Нет, конечно.

— Но почему — нет? Почему? Я же знаю, что ко мне ты не поедешь. Может, пока только...

— Не поеду, правда.

— Ты слышала сегодняшний вечер? Здорово, правда? Я шел по Невскому и вдруг перед театром увидел на ветке большого такого дерева круг. Его обмотали чем-то серебристым и просто повесили на дерево. Он очень выделялся из всех украшений, светился прямо-таки. Но был... был каким-то одиноким, что ли.

— Да, украшают уже.

— Так и будем здесь? — снова спросил Лев.

— Нам всегда некуда было деться, — вдруг вызывающе ответила Анна.

— Ну, это ты напрасно. У нас имелось пристанище. Да и сегодня, если бы... Послушай, я не буду, не буду об этом. Давай вот о чем. Ты смогла бы завтра после работы, часам к пяти подъехать на киностудию?

— Нет.

— Отчего же? — не унимался Лев.

— Зачем? Лев, зачем все это? Кому это надо? Мне — нет, нет и нет! Запомни это! — Она впервые, кажется, назвала его по имени, и он, несмотря на резкость тона, обрадовался.

— Понимаю, ты не можешь простить. Понимаю, — снова подытожил он. — Но были же и у меня обязательства, пойми. Да нет, я даже не прошу понимания, я просто надеюсь, что время, его прошло так много, время может справиться с виной, ну, скостить, что ли...

— Время? — мрачно спросила Анна.

— Да, именно. Время! Даже преступникам за давностью лет что-то прощается. Я же не преступник! Аня, дорогая, я больше не могу потерять тебя! — он попытался взять ее за руку, но она отодвинулась. Не так резко уже, но все же.

— А как ты узнал, что меня нет? Поднимался, что ли?

— Я уже знаю некоторые приметы этого дома и безошибочно могу сказать, здесь ты или нет.

— А ты не думал, что у меня может что-то измениться в жизни? Я совсем не та уже...

— Знаю, знаю. Но почему-то тупо верю, что мы не можем, не должны разъединиться. И не верю, к примеру, что ты любила своего Олега. Так, может, время подошло. Но я и не хочу этого касаться. Это твое, только твое дело. Я приму, уже и тогда, раньше принял все.

— А я? Смогу ли я? Ты не думал?

— Знаешь, я только и делаю, что думаю о тебе, — горько усмехнулся Лев. — Не всегда это помогает, надо сказать. Но ничего не поделаешь. Все годы, всегда я только и делал, что думал о тебе.

— Поздно, я пойду, наверное...

— Да, согласен. Так как, не подъедешь? Я приду через день, буду ждать здесь. — И он коротко повернулся и зашагал от дома Ани.

С тяжелым сердцем вошла она в нынешнее свое жилище, сознавая, что пока... да, пока она ничего другого предложить не может. Ну, так она скроена, что тут скажешь!

А Кира понемногу полнела, становилась все лучше, и трудно даже было сказать, смятена ли она таким поворотом судьбы или, напротив, приняла его и стала раскрываться. О вине в доме вообще не говорили, словно и не было страшных дней в подворотне. Этот запрет никто конкретно не устанавливал, сложилось так само собой. Обе понимали, что к прошлому нет возврата, а почему так, и нечего было размышлять, и так все понятно. Кира ждала своего будущего ребенка, Аня — чем могла помогала, готовила иногда, приносила продукты. Жили скромно, не особенно вникая в нужды друг друга, все больше молчали. И это обоим было на пользу: ни та, ни другая разговаривать не любили. Или, может, друг с другом не хотели? Кто знает!

Ане нравилось наблюдать за ней, когда она молча что-то делала: то шила, то почему-то рисовала, делала какие-то наброски или резала овощи, что-то готовила. Это потом уже Аня узнала, что Кира, оказывается, неплохо рисует и что не только теперь проявилась эта страсть к рисованию. Она показывала Ане свои натюрморты, и было совершенно непонятно, как, что побудило ее пойти к той арке, что ей-то изуродовало жизнь? Неужели тоже любовь?

Она не была той говоруньей, от которой хотелось убежать и закрыть уши. Обоим было удобно жить так: немного разговаривая, совсем немного что-то обсуждая, и самое комфортное — просто молчать.

Кира сразу сказала, что денег не возьмет, что сама была когда-то без жилья, все понимает. И Анна не настаивала, старалась потратиться на продукты, домашние приобретения. Она понемногу приводила квартиру в порядок, отмывала, красила, когда еще

Кира ходила на работу. И даже поклеила обои, которые сама же и купила, и успела к приходу Киры оклеить ее комнату.

— Ты как, сама, что ли? — был вопрос Киры.

— Сама, кто ж еще?

— Ну, лишнее.

— Тебя запах не мучает?

— Да нет, пока нормально. Кончился первый — второй месяц. Там не до красок было.

— Но, Кира, как ты раньше-то приходила к нам туда, под ворота? Ты же выпивала?

— А ты не заметила? Я так, слегка совсем, больше по привычке, наверное. Просто видеть хотела. Совсем тут одичаешь. Да и уверенности не было — оставлять — нет ли?

— Ты и об этом думала?

— А как же? Кто ж мне на блюдечке все принесет?

— Но вот, справляешься же.

— Так я и не одна!

— Какая от меня помощь, сама, как побитая.

— Не говори! Живая душа — это всегда в радость.

Аня однажды подумала, на какую героиню похожа ее молодая хозяйка, и решила, что, скорей всего, на кормилицу из шекспировской «Ромео и Джульетты». Какая-то и в той была своя тайна молодости, могла и крепкое словцо употребить, и не побояться все вылепить, что думает. Одно успокаивало: что сама Кира, тоже, как видно, носившая свою тайну, была, не в пример кормилице, молчалива и по большей части отлеивалась короткими фразами. Но и за словечком в карман не лезла. Что-то в ней было настоящее, крижистое, ненадуманное. И справлялась она со своими проблемами, не обременяя никого, не перекладывая ни на кого. Терпение — вот чего в ней было больше всего, и Аня понимала, что эта природная Кирина готовность к жертве и готовность сносить и сносить более всего подкупала в ней. Сносить? — Да все, что угодно, на что только жизнь ни расщедривалась.

Уже наступили последние дни декабря, любимое время года, после мая и сентября, конечно. А Аня по-прежнему уходила и возвращалась с завода, делала все то, что положено, и только неистовая сила ее молодости и энергии, ее сила ожидания и умение принять почти непереносимое, буйствовала порой, не желая мириться ни с участью, ни с отдельными проявлениями такой жизни.

В день рождения своей дочки, нагруженная продуктами, она возвращалась домой и уже на остановке снова увидела Льва. Он шел, на этот раз опустив голову, был задумчив и не видел, что совсем рядом была Анна. Так бы, наверное, и прошел, но на этот раз сама Аня почему-то, не справившись с собой, все же окликнула его, когда он оказался совсем близко. Он остановился, осмотрелся и увидел ее. В руках он держал цветы, что-то было и в пакете, но вся его фигура выражала некую скорбь, по крайней мере, так показалось Анне.

— Что-то случилось? — спросила нетерпеливо она.

— Вот, хотел цветы тебе подарить, — уходя от ответа, ответил Лев.

— Спасибо, но что-то не то, да?

— Ты всегда все умела видеть, даже если сам еще толком понять не мог ничего. Да, есть немного.

— Говори!

— Каждый несет сам свой чемодан.

— И что там, в твоём чемодане?

— Много чего. Но главное... главное — там моя память.

— Что она нам говорит? — Аня была явно возбуждена и сама провоцировала его на откровение.

— Она просит пощады.

— У кого же?

Лев усмехнулся, он явно не был расположен к откровениям. Однако попытался улыбнуться и сказал.

— А можно обо мне сегодня — ни слова?

Аня пожала плечами, тем самым давая понять, что она принимает его предложение.

— Я помню этот жест, — снова достаточно грустно

сказал Лев. — Ты всегда, когда была против, делала именно так — пожимала плечами.

— Не помню, — ответила Анна.

— Может, и к лучшему. А то память, умноженная на два, становится обременительной.

— Лев, я приглашаю тебя к нам.

Это было настолько неожиданно, что он даже приостановился.

— Ты уверена?

— Идем, держи сумки.

И они направились к дому, который, хотя и не выглядел презентабельно, сохранял свое рабочее достоинство и демонстрировал крепость своего телосложения, очевидно, тоже рабоче-крестьянского характера.

Кира не спрашивала, кто, зачем и по какому случаю: она и раньше знала, что сегодня у Ани какой-то очень важный день, поэтому впустила в дом гостя без всяких расспросов. Стол был накрыт, и Кира сообщила, что будет мясо с картошкой. «Типа кавардака», — добавила она. А Аня выгружала то небольшое, что удалось купить самой: бутылку вина, масло, сыр, немного колбаски. Лев поначалу растерялся, он не был готов ни к торжеству, ни просто к тому, что его позовут в дом, да еще к столу. И решил отойти не некоторое время. Однако его не отпустили, сообщили, что всего полным-полно и что ничего прикупать не требуется. Ане не хотелось раскрывать главное: что сегодня день рождения ее дочери, ее Пелагеи. А, значит... Но об этом он не должен знать.

Некоторая скованность, которая и была вначале, очень скоро растворилась в атмосфере легкости и неожиданного единения трех людей. Все они были такие разные, но вот ведь удивительно: сошлись вместе. Все было, хотя и скромно, зато чисто, вылизано даже, с любовью приготовлено. Скатерть даже топорщилась от своей чопорной накрахмаленности, а старый графин, в который налили морс, блестел, светился и игриво заявлял о своей родственной принадлежности к хрусталу.

Ни водки, ни еще чего-то крепкого на столе не было. Та единственная бутылка вина приобретена была, скорее, для проформы, для обозначения важности события, не более.

Когда наполнили небольшие рюмки блестящим красным вином, Кира попросила гостя сказать слово. Да его особенно и упрашивать не пришлось, так ему не терпелось самому сказать.

— Дорогие женщины! — торжественно начал Лев. — Я поднимаю сей бокал за здоровье, красоту и особенный характер Анны Васильевны Кремнёвой. Честь ей и хвала: столько выдержала, перенесла, столько испытаний пало на ее голову. А она все равно светится! Так и держись, Аня! Светись вопреки всему и вся! За тебя! — Он поднес рюмку ко рту, стусеивался немного, посмотрел на Анну и стоя выпил.

Женщины пригубили вино, Кира — та вообще сделала крошечный глоток, а Аня — только половину отпила. И сразу ей сделалось еще легче, еще праздничней на душе. Она поднялась и сказала.

— Знаю — не по правилам! Но я никогда им особенно не подчинялась. У меня они свои, мною написаны. Будем здоровы, нужны, будем делать свое дело и главное — будем верить! Во что? Просто верить. Придет день, и мы поймем, что нечего было отчаиваться, справедливость и правду ни убить, ни уничтожить! Спасибо! — Она пригубила вина и поставила рюмку.

И тут поднялся Лев и неожиданно заявил.

— Я долго, долго-долго шел к тебе, Аня. И не знаю до сих пор, дошел ли? Ты — не как другие, ты — правда, особенная. Это и замечательно. Я хочу кое-что предложить. — Все напряглись, и образовалась такая тишина, что стало слышно, как на кухне греется, подрагивая и постукивая металлом, крышка, под которой жарилось мясо с картошкой. Кира смотрела не в упор, но с напряженным интересом. Аня просто замерла, боясь, что Лев скажет что-то не то. Но такое напряжение было напрасным. О бестактности не могло быть и речи. — Я предлагаю Ане сменить работу, пойти своим привыч-

ным, Богом дарованным путем. Завод — дело, конечно, благородное, но не для этой миссии родилась ты, Аня. Институт, испытания, лишения и утраты... все было только для того, чтобы познать себя, понять то, что непременно когда-нибудь будет востребовано в профессии. И в благословенном Ташкенте, и в любимом Ленинграде — одна актерская школа. И везде учат наблюдать, фиксировать, запоминать, а потом интерпретировать. И еще, как ни странно, страдать. Только оно, страдание, умножает познание и раскрывает душу. Не настрадались ли ты, Аня? Не достаточно ли? Человек должен пройти свой путь так, чтобы выложиться сполна, без остатка в этой жизни. А твое призвание — это сцена. Посвящена ли в это твоя подруга, я не знаю, одно могу сказать: каждый должен идти своей дорогой, вещь известная, но вспоминаешь о ней не всегда вовремя. Так вот, время есть, еще ничего не потеряно, и ты, Аня, должна стать на этот путь, на свой путь. И идти им. За путь! — Он выпил рюмку, почему-то посмотрел куда-то вперед и сел.

Воцарилось снова молчание, и все теперь понимали его смысл, значение, его особенный привкус. Молчали, слегка перебирая металлическими вилками по тарелкам, слегка позванивая ими и наполняя тишину тоже своим особенным звуком. Кира поднялась, сказала, что сейчас принесет горячее, и Анна со Львом остались одни. И еще тишина осталась при них. Так и сидела себе тихонько, не шевелясь и боясь расплескать то, что так неожиданно и осторожно вошло в этот дом.

И вдруг Лев поднялся, подошел к своему пальто, залез в карман, вынул из него что-то и подошел к Анне. В руках у него была коробочка. Он открыл ее и приблизил к Ане. Внутри лежали сережки, и было понятно, что куплены они были не вчера, — это были старинные серьги.

— Ты что?.. Я не сказала, это день рождения Пелагеи, моей дочери.

— Это и к лучшему. Про твой я помню, как и обо всем помню. Этим и жил. Это серьги моей матушки.

Она завещала вручить их моей будущей супруге, жене, когда я наконец найду ее. Я нашел ее, возьми, прошу тебя.

— Но как же так?... Да у меня даже уши не проколо- ты...

— Подумаешь, малость какая! Это дело поправимое.

— Нет, ты не все разобрал. Я не жена. Тебе велели вручить жене, а я — нет!

— Но это временно, поверь, я знаю! И потом, я же помню, и ты, надеюсь: мы же расписывались там, дав- но, еще в Ташкенте.

— Я не все еще забыла. Но об этом не стоит. Столько всего утекло... Лев, как ты можешь знать то, что еще никому не известно?

— Мы оба это знаем, что тут лукавить? Ты будешь, обязательно будешь снова моей женой! А уши... ну, что ж, пока пусть полежат, дождутся еще. — Он наклони- лся и поцеловал Анну.

И в этот момент в комнату вошла Кира, держа блю- до с кавардаком. Как хорошо, что она не была ни лю- бопытной, ни говорливой, а только молча и терпеливо делала то, что положено. Везде: в доме ли, на работе, в консультации, куда исправно ходила. И еще... еще она успела привязаться к Анне, даже полюбить ее. Теперь ей было кого ждать вечерами, кому ужин готовить. Хотя не понимать того, что вся эта иллюзия может когда-то закончиться, она не могла. И, конечно, поня- ла, кто Анне этот человек, так неожиданно вошедший в их дом, и догадалась, что он ей небезразличен. И она почему-то сказала.

— Я тоже за Анну хочу слово сказать. Она — не как все! Молчать и терпеть умеет. Это у нас общее. Я хочу пожелать ей счастья. Ань, ты не гордись сильно, не пропусти его! Вот, может, оно не так и далеко убежа- ло. Осмотрись, подумай! — мудро заключила Кира, но вина не пригубила и стала накладывать свой дымящий- ся и вкусно пахнувший кавардак.

Еще говорили, но не шумно, не наперебой, пригля- дывались, молчали, думали — каждый друг о друге и —

о себе. На прощание Лев сказал, что послезавтра в пять вечера будет ждать Анну у входа на киностудию.

А потом наступила ночь, когда Аня осталась одна и стала отчего-то вспоминать, как давно в ее дорогом городе к ней подседа вот так же ночью мама и почему- то сказала.

— Дочка, не ходи замуж без любви, замучаешься. Вот, смотри на меня: как мне легко жить. Все потому, что живу по любви. И ничего не тяготит. А ты, именно ты не выдержишь или что-то нагрянет, случится. Не беги от себя, всегда к себе спеши. А с мужем... ладно, еще вспомнишь, может быть, меня. Только по любви, что бы там ни было. Поняла? — И она обняла и поцело- вала дочь, прежде чем уйти. — Спи себе, еще настрада- ешься.

Почему вдруг теперь вспомнила Анна теперь этот случай? «Эх, мамочка, как же трудно без тебя, все годы не становится легче. Если бы ты знала, как ты была права. Но и я со своим характером! И что делать, не знаю. Жить без любви не могу и простить не получается». И вдруг она услышала: «Прости, самой легче ста- нет, прости. Так, значит, нужно было. Оба любите, знаю». И все стихло, и, как бы еще ни силилась Анна вслушаться в тишину ночи и расслышать мамин голос, ничего больше не получалось. Никого не было, одна только темная-темная ночь и раздрай в душе. Однако спустя какое-то время смятение улеглось и понемногу полегчало. Аня даже решила, что это каким-то мисти- ческим образом связано с голосом, который она услы- шала. Но, поразмышляв, поняла, что стало легче от какого-то нового ощущения, которое ненавязчиво и вместе с тем неумолимо все больше и больше овладе- вало ею. Оказывается, от обиды можно освободиться! И в прощении есть своя сладость?! Сколько же еще лет таить эту боль, возлагая вину все на него и на него? И что? Жизнь-то не бесконечна. Может, стоит все пе- реосмыслить и начать и жить, и думать, и проявлять себя по-другому? Пришло такое время? Боже мой, как же долго оно приходило!

Аня решила пойти на встречу. Когда к вечеру они встретились, Лев был очень озабочен тем, как сказать Анне, куда, к кому и с какой целью они отправляются. А вышло все просто. Шли пробы к кинофильму, режиссер которого подбирал актрису, никогда не снимавшуюся в кино. Ему нужна была девушка с характером. Не тем, который все видели в кинокомедии сколько-то лет назад, а с настоящим, сильным характером, да чтобы и сам человек был явной, сильной личностью.

Он все, или почти все и сказал. Мол, героиню ищут, и нечего стесняться своей собственной природы — это только в счастье. И они пошли. Сначала по длинному, заворачивающему в какие-то неведомые лабиринты коридору, потом Лев заглядывал в какие-то кабинеты, и наконец оказались возле двери, которая и была самой важной.

Вошли. В комнате за очень большим столом, в которой не было ни камер, ни еще какой-то спецтехники, сидел грузный человек и курил трубку. Перед ним лежала газета, которую он тут же отложил, едва Лев с Анной вошли. Он приветливо махнул рукой в сторону Ани, Льву пожал руку и в упор посмотрел на женщину.

— Сразу видно, характер есть. Какой — пока не знаю, но точно есть. Сами как считаете?

— Соглашусь, пожалуй, — ответила Анна.

— В кино, значит, не снимались?

— Нет, — коротко ответила Анна.

— А вот скажите, что бы вы сами, к примеру, сделали, если бы оказались перед выбором: рожать или играть роль.

— Я бы сделала и то, и другое!

— Да-а-а.

— А время, в спектакль кого-то ввели бы...

— Был бы другой спектакль.

— Вы такой бескомпромиссный человек?

— Я, наверное, просто женщина.

— А сыграть хотите?

— Не знаю. Не знаю — что, не знаю, мое ли.

— Знаете, я в этом кабинете не только трубку курю. Иногда и с актерами разговариваю. И с актрисами. Не слышал еще, чтобы отвечали так. Кто-то сразу соглашается, кто-то даже просит о роли. Вы — нет!

Аня промолчала, и было видно, что человек с трубкой все больше заинтересовывается ею.

— Наряжаться любите?

— Вы это, глядя на мой наряд, спрашиваете?

— И на него тоже. Пойдемте, — предложил толстый мужчина и встал.

Оказалось, что они отправились в другое помещение, где техники хватало и где народу было много, и каждый знал, что ему нужно, кто ему нужен и зачем. Но все вместе напоминало гудящий улей: все ходили, суетились, что-то носили, едва успевали бросить на ходу одно-два слова. Словом, напоминало это ситуацию, давно известную Анне по театру. Только непосвященному человеку могло показаться, что царит чуть ли не хаос на площадке. На самом же деле каждый исполнял свою, именно ему отведенную роль.

Моисей Соломонович, так, оказывается, звали человека с трубкой, позвал кого-то из толпы, что-то коротко сказал ему, и все углубились внутрь помещения, зашли за угол, где было намного тише, и народа меньше, и где Ане велели сесть на стул, вручили лист бумаги с текстом и попросили сказать первые несколько фраз. Она пробежала глазами слова, написанные крупными буквами, словно кто-то боялся, что читающий может что-то не увидеть и не разобрать, и поняла, что речь идет о женщине, потерявшей мужа. И в данной ситуации она кому-то объясняет, как она жила годы без него. Кому-то, кого не видела давно. Скорее всего, мужчине.

— Читайте, ни о чем не думайте. Я имею в виду — о постороннем. Читайте, здесь нет никого.

Аня ничего не ответила, ей хотелось как можно плотнее примерить текст на себя, ухватить главный смысл, так отчаянно вырванный из основного текста. Она ничего не знала, что там, в этом будущем кино должно

произойти, но ей вполне хватало собственной судьбы и своего горя, бед, сложностей, чтобы вникнуть и понять сказанное на листочке.

«Мне кажется, я переживала каждый день — как последний. Не было ничего: ни работы, ни денег, ни жилья, не было — это главное — сил верить в то, что это не навсегда, что когда-то это может измениться. Как жила? Не знаю. Иногда — плохо, иногда — сцепив зубы, а иногда и совсем не жила...» Аня смяла бумажку, закрыла ею лицо и можно было услышать только сдавленное рыдание, которое вырвалось из ее естества. Она склоняла голову все ниже, так же комкая лист, уже ненужный, лишний, и закончила текст, который успела и прочитать и к которому лично ей особенно готовиться не приходилось: и так все было предельно ясно, слитно с собственной ее судьбой и пониманием жизни.

«Да, пожалуйста, все забирайте, все берите, мне не жалко!» — это были финальные слова, которые Аня сказала, поднявшись со своего стула, перестав плакать и бросив лист бумаги на пол.

Раздались аплодисменты, грузный человек поднялся со своего места и сказал, что осталось немного — фотопробы. Но вряд ли на этом стоит заикливаться. Так и сказал это слово — заикливаться. И еще он сказал одну вещь: «Вас сама жизнь заставила страдать? А вы еще так молоды!» Аня не ответила, она едва могла дожидаться, чтобы закончилась эта экзекуция, в которую ее опрокинули и пройдя через которую она снова с новой отчетливой ясностью и силой увидела, что и впрямь ей досталось в жизни. Ей хотелось лишь одного — поскорее уйти из павильона. Она не знала, идет ли за ней Лев, шла быстро и почти не путаясь в неизвестных закоулках переходов, которые со временем станут ее чуть ли не основным домом и пристанищем. А самое важное — возможностью выбраться из той ямы, в которой она пробыла долгое время.

Через некоторое время этого долгого пути сквозь коридоры, павильоны, комнаты, приветствий Льва со

многими людьми, молчаливых вопросов в ее сторону стало ясно, что они, кажется, оказались у выхода. И тут перед ними выросла грузная фигура Моисея Соломоновича, который оказался здесь каким-то образом раньше их и сказал: «Фамилия моя — Бант. Не слышали? Ну, думаю, теперь вы ее запомните! Я так думаю, — прибавил он. Жду вас послезавтра в 18 часов. Без опозданий! Все вам расскажет этот молодой еще человек, — он указал на Льва, — и начнем, пожалуй. Кстати, по фильму, вы — его жена. Сценарий вам сегодня привезут». Анна хотела возразить, что, мол, и работа у нее, и еще не знает, согласится ли, но ее и никто не спрашивал. Ей четко нарисовали план действий, и все! «А вы же не знаете, где я живу?!» На это грузный человек со смешной фамилией Бант рассмеялся и сказал: «Мы хуже милиции, знаем все! А тут и Лев — он подмигнул Льву — поможет. Так ведь?» Лев кивнул, и Бант остался на пороге студии. Стоял и смотрел им вслед, и произнес снова: «18 часов», — обозначив тем самым именно то время, которое в последнее время стало для Анны почти определяющим: с 16 до 18!

Анна шла и думала, как странно: такой огромный человек, а фамилия смешная, маленькая какая-то. Лев задрал свои плечи, вышло уморительно, и Анна неожиданно засмеялась. Ей действительно отчего-то так стало весело, хорошо, что она, идя по улице с мужчиной, смешно задирающим плечи к самым ушам, звонко и заразительно засмеялась. Лев не удивился, напротив, сам подхватил Анины смешки, и так они шли, смеясь в полный голос, привлекая внимание прохожих и понимая, как видно, что что-то случилось, то ли лед сломался, то ли солнце ярче обычного засветило? Кто ж скажет!

— Ну что, зайдем в кафе? Ну, хотя бы сегодня? — спрашивал Лев.

— А можно и зайти, — отвечала Анна.

— Не убежишь? — задавал вопрос Лев.

— Попробую, — отвечала Анна.

И они снова громко засмеялись. Чему были так рады

эти люди? Что наметилось что-то новое в их отношениях? Что сам смех, его заразительность и неожиданность тоже так подействовали на обоих, и они раскрепостились? Но смех, ясное дело, — это уже следствие. А поначалу было иное: что-то торкнулось у обоих, что-то засветилось, да так ярко и так независимо, что не понять, что произошло, наконец, произошло, было невозможно. Ах, что делает с людьми любовь! Только недавно — холодность, даже отчуждение, явный страх, обида, чувство вины — все смешалось, превратившись в прямую противоположность. И оба чувствовали, что пойдут только вперед, назад пути нет. И осознание этого еще больше сближало, еще больше настраивало на лад всепрощения и любви. Только и исключительно ее, хозяйки положения, насмешницы, царицы всего и вся. Может все, что захочет! Хочет — шею свернет, и мир перевернется, и не очухаться в этом мире, а захочет — так приподнимет, так вознесет, что опомниться не успеешь: так и окажешься повязан по рукам и ногам.

Зашли в кафе, и Лев заказал два бокала шампанского.

— Предлагаю тост.

— Ты что, пьяница?

— Я? Нет! Это точно. И ты не будешь. Только иногда.

— Хорошо!

— Так вот, не просто за нас, но за нас в профессии! Согласна!

— Да, согласна.

Они выпили, Лев стал рассказывать особенности сценария, что он давно сам утвержден, но все не могли найти актрису, и вот — все получилось.

— Тебе понравится, там много из нашей жизни. Посмотришь. Но сквозь все это — война, ожидание. Ты письма с фронта отца не сохранила?

— Да, они есть, но как до них добраться? Все вещи, которые не унесла, по квартирам слоняясь, остались у знакомых. Думаю, никуда они их не дели.

— Так, значит, это мы решим. А что с работой на заводе? Надо уходить.

— Да что ты так сразу? Может, я еще не понравлюсь?

— Бант, как ты заметила, человек хитрый и уверенный. Он рисковать не станет. Раз сказал, так оно и будет.

— А как же трудовая книжка?

— Так, я кое-что еще решил. Но связь с тобой затруднительна. Ладно, скажи, теперь ты не убежишь от меня? — Аня кивнула, но как-то неуверенно. — Нет, скажи твердо, прямо за мной повторяй: «Не убегу, не скроюсь, ничего не сотворю!» Аня засмеялась, ее сегодня решительно веселил и Лев, и все происшедшее, и сам день, морозный и солнечный.

— А как же послезавтра, когда послезавтра почти Новый год?

— Но ведь только «почти». Моисей Соломонович будет, он слов на ветер не бросает. Не дрейфь! А идея с трудовой... словом, есть у меня идея. Ты можешь завтра убежать? Ладно-ладно, или уйти пораньше?

— Нет, у нас не положено.

— Та-а-ак, сделаем так. Встречаемся вечером, я тебя буду ждать на Невском, у метро, и пойдём. Там недалеко. По всем фронтам вдарим! Ночью вспомни что-то из старого, подумай, помечтай, ладно?

— А куда ты меня решил вести? Уже, кажется, сходили?

— Нет, это другое, это совсем, просто-таки совсем твое! Завтра, скорей бы завтра!

— Лев, ты как ребенок! Ну, что может измениться завтра?

— Завтра мы отправимся в театр! «Любите ли вы его так, как...?» Помнишь?

— А я не знаю уже, люблю ли его? Столько с ним связано горя и потерь. Веры.

— Нет, не смей и думать так! Какой веры? Он вечен, ты понимаешь?

— Не знаю, наверное, не готова...

— Не принимается. Пойдем. Давай выпьем до конца! За нас! За нас и только за нас!

— Выпьем!

Аня почувствовала, что давным-давно испытываемое ощущение покоя, стабильности, уверенности в будущем может возвратиться. Она поймала себя на мысли, что ей становится все более спокойно с этим Львом. Но загадывать ничего не хотелось. Кто знает, к чему все приведет? Она сама только спросила его, наконец, о нем. Где он, что случилось с женой, кто растет у него? Хотела даже задать вопрос, с кем он живет, но не решилась, осеклась.

— Анечка, я всегда знал, что мой, наш час, — поправился он, — придет. Тебе не кажется, что нам может что-то засветить? Ну, типа солнца, например, или большего круга луны?

— Ой, нет, луны не надо. От нее и свет какой-то не праздничный.

— Принимается. Только солнце, и ничего больше. А на меньшее мы и не согласны.

И они пошли. Он проводил ее до дома, снова напомнил о том, что с работой надо решать и что затягивать не стоит, в любую минуту начнутся съемки, а это уже — не 18 часов! И тут Анна спросила.

— Ну, а тебя кто ждет?

— О, меня? Ждут! — бодро ответил Лев. — И знаешь, кто? Кот Шух и певчая птичка, имя которой Вера.

— Вера?

— Ну да, так уж получилось. Я сам понимаю — нелепость. Но привыкли. Так что, ждут. Есть еще живность, но о ней, пожалуй, не стоит. А из людей... нет, из людей — нет, никто. Дочь, Алиска, живет не со мной, привыкла. Уж так сложилось, что она со своей теткой, ей так лучше, наверное. — Лев заметно ссутулился, погрузился, но все же преодолел состояние грусти и сказал. — Видишь ли, я нагло надеюсь, что в скором времени ситуация эта кардинально изменится. Ты не считаешь так? Я надеюсь, я так верю, что мой пустой дом вскоре задышит и дыхание это вдохнешь ты. Молчи, только

ничего не говори, я это знаю, этим живу. Может, надо было похитрее, но что поделаешь, годы! Столько упущено, столько ушло в никуда — и лет, и надежд, и много чего еще. Больше не допущу. Пообещай, что Новый год, который вот-вот уже, на подходе, мы встретим вместе. Прошу, пообещай!

— Я подумаю...

— Не принимается!

— Я очень хорошо подумаю.

— Нет, не согласен. Осталось — всего ничего. Говори сейчас!

— Наверное, да!

— Так-то лучше. Я пошел. Готовься. В 18-00! Завтра.

Лев прикоснулся к Ане, притянул ее к себе и выдохнул: «Как же я люблю тебя. Ты самая моя дорогая!» — и пошел.

Она стояла и смотрела и вспомнила, как однажды, когда они с Витьком и Кирой стояли днем в арке, внезапно их молчаливая Кира вдруг вот так же выдохнула: «Как же хочется любви! Да... некого!» И еще Анна подумала, что теперь не может сказать так же, как ее подруга, теперь уж — нет.

И поздно вечером, и почти полночи она вспоминала роли, думала, что же именно можно будет почитать и наконец поняла, что именно. Повторила про себя и на удивление спокойно уснула.

На заводе она долго и по-новому присматривалась к окружающему, отметила про себя, что люди все по большей части хорошие, что делают они важное, правильное дело и что как ей подступиться со своим уходом, просто не представляет. Однако решила, что время у нее есть, что, может, ничего и не понадобится, и, не дай Бог, все изменится, и тогда совсем плохо получится. Поэтому решила выждать и даже Кире ничего до времени не сообщать. Одно маленькое событие чуть вообще не изменило все планы. В обед к ней подошел мастер, высокий черноусый дядя Яша, которого так все и звали, постоял, покрутил зачем-то ус и наконец сказал.

— Гляжу на тебя, Анна Васильевна, и радуюсь: с душой работаешь, с огоньком. Бывает, чуть не светишься. Не взорвешься?

— Это вы к чему, дядя Яша?

— Есть, к чему. Тут мы совещались в дирекции, — важно уточнил он. — И вот что решили. А не обустроить ли нам такую самостоятельность, чтобы постановки всякие делать да с концертами ездить?

— Ой, что вы, я не режиссер!

— Это нам известно, заважничал мастер. — Речь о другом, — и он поднял палец вверх. Аня даже отметила, какой он черный почти, в масле. Но сам мужчина выглядел опрятно, даже казался ухоженным. — Нам героиня нужна. Так их в театре называют?

— А почему вы решили, что я подойду?

— Ну... — замялся дядя Яша. — По всему видать, что ты — не наша какая-то, другая, не из заводских. Так вот бы и занялась чем другим, более к тебе подходящим. Не против?

— Наверное, я не сумею. Словом, подумаю.

— Да чего думать?! Вперед — и все тут! Думать...

— Спасибо, я, правда, подумаю.

Дядя Яша посмотрел внимательно на Анну, помолчал и, вытирая руки тряпкой, направился в другую часть цеха. «Вот так поворот!» — подумала Анна, с трудом представляя, что именно она могла бы делать и каким образом проявить себя в качестве героини на Кировском заводе.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ И ПРИШЕЛ НОВЫЙ ГОД

За стеной было совсем тихо, но не настолько, чтобы не понять: там, далеко, что-то происходит, раздаются отдельные невнятные звуки, то похожие на выстрелы, то на шум водопада... Но откуда тут быть тому, кто может выстрелить? Откуда взяться водопаду? Только казалось, что стена, серая, с какими-то выступами и горбинками, слегка накренилась и вот-вот упадет. Что там, за ее серой мощью откроется совсем другое пространство, совсем не похожее на это, мрачное, недружелюбное, какое-то унылое.

И стало казаться, что порыв ветра, внезапный и ошеломительный, так неожиданно налетевший, действительно коснулся и этой стены, и даже поколебал ее неприступные стены. Она слегка качнулась, даже немного наклонилась вперед, совсем, как живое существо, и... так и осталась стоять. Однако то пространство, что угадывалось за ней, стало видимым и прозрачным, открылось то, что подтверждало простую мысль: даже серая пыльная мощь может поддаться чьей-то воле и желанию. А может быть, мечте. Тогда подбитая птичка взяла и пересекла преграду.

Аня увидела Льва еще издалека. Он томился у входа в метро, наверное, придя заранее. Но она не опоздала, они смутились, вспомнив вчерашнее свое состояние, подобрались, только протянули руки и задержались на мгновение в таком рукопожатии, долгим и значительном. И — пошли!

Путь оказался недолгим, они пару раз заворачивали за угол, прежде чем оказаться у входа в театр, который совсем не выглядел помпезно и парадно. Это был вход очень скромный, почти неприметный, ничем не напоминающий вход в тот ее театр, синий и величественный.

Лев знал и здесь, куда идти, где поворачивать, и только успел спросить Анну, сумела ли она что-то вспомнить и подготовиться. Она кивнула, и они прошли еще вперед, оказавшись перед закрытой дверью зрительного зала. В этом Аня не могла ошибиться, поскольку сам запах и еще что-то особенное, принадлежащее только и исключительно театру, сразу подсказало ей, что она права. Действительно, это было довольно уютный зал, не наполненный, к счастью, роскошными бархатными креслами, а полукруглой формы стульями, преданно смотрящими вперед, на сцену.

В проходе, за маленьким столиком, как это обычно водится во всех театрах всего света, сидел человек, которого в темноте зрительного зала почти не было видно. Горела лампа, на сцене не было никого, и только этот человек что-то внимательно читал. Лев подошел ближе.

— Александр Владимирович, здравствуйте. Мы здесь, — он протянул руку в Анину сторону.

Человек повернул голову и, прежде чем поздороваться, почему-то долго рассматривал девушку.

— Так, проходите на сцену. Готовы что-нибудь показать?

Аня поднялась по боковой лестнице на сцену, осмотрелась, сделала паузу и ответила.

— Я читаю стихотворение.

— Слушаю вас.

Сделалось тихо-тихо, Аня все молчала и уже стало казаться, что она не приступит никогда, что ей, наверное, что-то мешает. И тут послышался звук, похожий... похожий на звук падающего металлического предмета. Тишина еще больше зазвенела, потом стала успокаиваться, и Анна стала говорить.

Ну, что еще спросить у Бога,
И далека ли длинная дорога?

И также будет ветер пыльный биться?
И из ручья прохлады не напиться?
И не стереть следы погасших связей,
А разговор мой мелок и бессвязен.

И только тихо совершать молитву,
И говорить — прости, и помнить нашу битву,
И не сжигать мосты, и все тебе перечить,
И ждать опять звезды, готовясь к нашей встрече.

И медленно вращать в полуденное чудо,
И обещать, что врат я никогда не буду,
И припадать судьбой к признанию и тайне,
И знать, что непокой найдет меня в нирване.

И я легко взлечу, на чудо не надеясь,
И тайну замолчу, и у любви согреюсь,
И станет мне вослед Бог посылать прощенье,
Средь вторников и сред я откажусь от мщенья,

И пролетая вновь над нашей старой крышей,
Пошлю тебе любовь — она во мне все дышит.
И больше не скажу ни звука, ни словечка,
Пока еще дышу, прощай, — твоя узбечка.

После паузы человек за столом поднялся и спросил: «А почему узбечка?» Аня перевела дух и ответила.

— Я долго жила в Ташкенте, стала там почти узбечкой.

— Так это что, вы, что ли, написали?

— Да, — Аня кивнула и тут же подумала, что не стоило, наверное, читать именно это стихотворение. Однако было поздно.

— Стихотворение так себе, а вы... — Он сделал паузу. Походил по проходу, сел, затем попросил: «А вы не могли бы еще что-нибудь прочитать, ну, не такое грустное, скажем?»

— Да, сейчас. Я могу. Вот.

Ну, растревожьте вы меня молитвой
И перезвоном золотых колоколов,
Иначе к утру я погибну,
Ну, сколько можно не считать врагов?!
Не видеть снов, не спать рассветным утром,
Не выводить теленка за порог?
Ну, почему должна я поминутно
Бросать вам вызов: Бог — вот, вот — порог?
Зачем спешите вы меня насытить
Чужой растленной молвой?
Я вам кричу — я не хочу предвидеть,
Когда паду я ниц, пронзенная мольбой?
Когда за сеновалом стылой ночи
Я упаду, зарывшись в вороха
Сухой соломы, плача, что есть мочи,
До дна души раздавши потроха.
Заставьте сожалеть о дне вчерашнем.
О птичьем пенье, о веселье рос,
О лютиках, попавшихся на пашне,
О красоте багровых роз.
Но только сохраните покаянье
Молиться втайне Богу и любви,
Пусть растревожит позднее свиданье
И запоют, как прежде, соловьи.

Аня замолчала, молчали и двое в зале. Наконец режиссер сказал: «О теленке — это хорошо. Снова — вы? А чье-то не свое знаете? Кусочек монолога, например? Хотя, ладно, и так достаточно. Мне сказали, вы Катарину играли? Да, есть в вас этот характер. Спускайтесь вниз».

Аня подошла, все еще волнуясь и дрожа, вспоминая, как она писала эти строки там, на чердаке у Нели и Киша, как ее собственная жизнь казалась ей уже беспросветной.

— Видите ли, не знаю, слышали вы или нет, сейчас многие ставят пьесу американца Теннесси Уильямса «Трамвай Желание». Не слышали?

— Нет.

— Так вот, есть там роль одна, зовут женщину Бланш — белая, стало быть. Жизнь скомкана, попала к сестре, а там этот мерзкий Стэнли Ковальски. Словом, никакого просвета. Попивает. Ну, да что я вам рассказываю? Разве дело в сюжете? Это ерунда, сюжет. Все дело в том, что между сюжетом, между строк, все в характерах. Сами, небось, знаете, учились? Вы как по жизни, не очень веселый человек?

— Я? Наверное, теперь не очень.

— А почему теперь?

— Ну, я, наверное, как эта Бланш, побита очень.

— Так, это годится. Вы извините, но мы, режиссеры, циники, все извлекаем на свет божий из человека, и туда, туда — на сцену! Всего его вывернем наизнанку и радуемся. Да не смотрите вы так серьезно. Я убивать вас не собираюсь. Что-то в вас есть. Но придется потерпеть. «Трамвай» начнем весной, сейчас пока подбираемся к нему, думаем, ищем. И вы подумайте пока. Пьесу почитайте.

— А потом?

— А что потом? — переспросил режиссер Александр Владимирович. — Потом непременно придет. Думаю, и вы к тому времени напишите что-то другое, может, и с Львом покажете что-то. Но это и не так важно. Мне кажется, я зацепил что-то, схватил в вас. Не грустите! У вас все сложится.

— Спасибо, — сказала Анна, и они с Львом направились к выходу.

Покидая зал, Анна оглянулась и посмотрела на обивку ярусов, отдельные вставки на стульях и увидела, что они отнюдь не синего, а какого-то бордового, традиционного цвета. И еще мелькнула мысль, нелепая и неожиданная: «Пока до свидания, но я еще вернусь».

Какое-то время шли молча, потом Лев вынул пакет из своего портфеля и передал Анне.

— Что это? — спросила она.

— Сценарий. Был сегодня на студии и решил сам отдать. Читай, там многое про тебя, про нас. А про

театр, ну, ничего, что не сегодня, не завтра. Даже к лучшему. Успеешь полноценно сыграть в кино, привыкнешь, вспомнишь. Расстроилась?

— Нет, совсем нет. И театр мне понравился. Главное — что он не синего цвета.

— Как это?

— Да это я так, воспоминания.

— А ты не вспоминай, начинай мечтать. Это помогает. Иди не к прошлому, а вперед. Там есть теперь за что ухватиться.

— Я думаю, начинаю и мечтать. Раньше вообще себе это запрещала. Перестала на какие-то годы думать, вспоминать, помнить, а уж тем более — мечтать.

— Может быть, поедem ко мне, посмотрим сценарий, что-то разомнем?

— Лучше после завтрашней встречи. Как думаешь, действительно будут снимать?

— Да они уже давно работают, но только к главным сценам не подступятся: не с кем было.

— Теперь, думаешь, есть?

— Не думаю, уверен. Идем, посмотришь, где живу, на моих домочадцев...

— Нет, как договорились, через два дня. С Кирой что делать? Она же одна совсем, не смогу ее бросить.

— У нее что, и родственников нет?

— Не знаю толком, мы все больше молчим. Правда, однажды она сказала, что под Саратовом у нее кто-то есть. Тетка, что ли. Может, приедет на праздник.

— Уговори ее, иначе что нам делать?

— Не знаю.

— Ничего, придумаем. В крайнем случае...

— Что? — спросила Аня.

— Ну, заберем ее к нам, потом, утром уедет. Ты как, согласна?

— Нет, наоборот надо: мы встретим у нас, чтобы ей не тяжело было, а потом...

— Точно! А потом... потом уедем, да?

— Посмотрим.

— Вот, узнаю тебя снова и снова — никакой надежды.

— Я уже жила верой и надеждой.

— Ну, ладно, не обижайся, решили же, что не будем возвращаться к обидам старым. Ты лучше скажи, это ты, правда, сама написала? Стихи эти?

— Сама.

— В них есть что-то, что не оставляет равнодушным, так и колет. И бьется. И мысль пульсирует. Но видно, что автору ох, как тяжело было.

Он приобнял Анну и весело, как совсем недавно сказал: «Милая моя, Анечка, мы... Ой, ладно, молчу. Провожу?» — «Нет, я сама, подумать надо, перебрать все, ну, как раньше», — улыбнулась Анна.

— А завтра, после всего давай пойдem в музей, — предложил Лев.

— Ты что, забыл? Все музеи уже будут закрыты.

— Тогда пошли сейчас.

— Посмотри на часы!

— А-а! Точно! Я обо всем забыл. Тогда пошли в театр.

— И туда мы тоже опоздали, — парировала Анна.

— Сдаюсь. Но накануне праздника куда-нибудь да сходим.

— Непременно, — ответила Анна, и на душе сделалось совсем светло. Она вдруг вспомнила, что когда была в Русском музее, а было это пять лет назад, то решила тогда ходить туда каждую неделю. И еще вспомнила, что больше всего ее поразила картина, название которой она уже теперь забыла, помнила только, что она была очень-очень большая. И она решила, что обязательно увидит ее снова. И сдержит обещание приходить каждую неделю.

— Лев, а ты не помнишь, в Русском музее была, да и есть, наверное, одна картина, там двое мужчин. Один — на коленях, другой стоит, а с правой, кажется, стороны тоже люди, и что-то есть горестное и одновременно светлое в этом полотне.

— Да, светлое, точно. Но ты, скорее всего, напутала. А, может, я? Скорее всего, это Рембрандт. Но я точно не могу сказать, у нас он или нет... Пойдем, увидим.

Наконец они простились, и Анна поехала домой читать сценарий.

Слава Богу, что у ее Киры был такой характер: не мешала, не болтала зря, а давала дышать и думать. Вот Аня и думала всю ночь, когда к двум часам закончила читать и когда решила, что кто-то подсмотрел в неведомую щелочку и многое-многое запомнил из ее жизни. Другое дело, что ее героиня не позволила себе того, что совершила Анна, она не ходила по городу, не маялась в подворотне, не стояла с протянутой рукой. Но лишения коснулись и ее. Она, однако, выстояла. И еще — у нее был ребенок, только мальчик, и звали его Михаил. А мужа она то хоронила — пришла похоронка, то снова встретила, уже живого. И жила одна, и терпела лишения, но не сдавалась, хотя никакого театра в ее жизни не было, а было то, что роднило ее с Аней: вера и великая любовь.

Лежа у себя в комнате и думая о судьбе женщины, Анна решила, что просто обязана сыграть эту роль, так ей было понятно все в ней. Она даже вспомнила о своем нехитром гардеробе и снова решила, что все там кстати: и ее серое платье с круглым воротничком. И черная шляпка, оставшаяся с прошлой жизни и из лучших времен. Она поднялась, порылась в вещах и нашла сумочку, с которой ходила еще ее мама, с металлическим твердым замочком, жесткую, с короткой ручкой, которую спутать нельзя было с современными. Она точно совпадала с тем далеким временем. Потом она стала думать о прическе, опять-таки представила маму, то, как она укладывала волосы, и попробовала это сделать. Решила, что и на работу пойдет именно так. А совсем под утро она достала платок «паутинку», в которых и теперь еще ходили многие женщины, надевая их под шапки, прячась от холода, и убедилась, что внешний вид вполне подходит ее Вере — так звали героиню.

Утром она побежала на свой завод, а сама думала, что, как сделать, чтобы уйти. А то, что это предстояло

сделать, сомнений не было. В перерыве к ней снова подошел дядя Яша, внимательно оглядел и заключил.

— Ну, что я говорил?! Так и есть — ненашенская.

— Дядя Яша, а если что, отпустите меня?

— Куда это? — нарочито грозно спросил мастер.

— Куда-куда? В кино!

— Это можно, что такого? Сходи себе.

— Нет, насовсем?

— Это подумать надо. Как же наша самостоятельность?

— А я приезжать буду, может, так даже лучше будет.

— И когда отпускать?

— Ну, вот, с нового года.

— Хм, да, задачка. И тут, вроде, работаешь неплохо, но больно много мечтаешь, я это давно заметил.

— Так как, поможете, дядя Яша?

— Наше дело какое? — помогать, ясно. Что, совсем, что ли, не придешь больше?

— Что, отпускаете?

— Ну-у...

— Дайте я вас обниму, — закричала Анна, да так, что обернулись рабочие. И мастер сообщил: — Вот, решила в кино податься наша мастерица. Как считаете, отпускать?

Люди подходили к Анне, расспрашивали, правда ли это, некоторые — недоверчиво, другие — с пониманием, но равнодушных не было. Вообще атмосфера доброжелательности, какого-то единения и братства отличала это предприятие. Так складывались отношения, что понималось: люди могут и молчать, и не особенно разглагольствовать, но, если надо, — и помогут, и защитят. Это не театр! Хотя и там, что уж говорить, много было и хороших, и хорошего. Нашла же она свою Киру, которая только однажды обмолвилась, что ей симпатичен Лев и что в нем есть что-то настоящее. И там, на заводе, все поняли, никто ни разу не поддел ее, не сказал грубость, сальность. Рожать — пусть рождает, еще один человек — это разве плохо?

Но и недолгое пребывание на заводе подсказало Анне две вещи: нельзя так плотно закрываться от людей, можно иногда и рассказать, и пожаловаться. А второе — просто быть самой собой приветствуется. Как, впрочем, везде: и на заводе, и в любом здоровом коллективе. Она вспомнила, как из театра, когда она попала в больницу, ее навещали и тетя Саша, одевальщица, и знатная актриса Новикова, и Лизка. Как-то она теперь? Здорова ли эта Новикова, ее партнерша по пьесе Арбузова «В этом милом старом доме»? Ни о ком из них она ничего не знала, но впервые за долгое время подумала, что ей небезынтересно узнать, как эти люди. И решила, что вот, выправится ситуация, вернется она к профессии, может, и даст о себе знать. А пока... пока предстояло пройти еще один отрезок пути — работу на киностудии, репетиции, съемки и главное — освоить новое для себя качество творчества. Она ведь никогда прежде не снималась, а многие годы не жила вообще человеческой жизнью. И она решила, что выложится до самого-самого доньшка, чтобы преодолеть эту пропасть, чтобы вернуться в стан человеческих особей, отношений, снова начать мечтать, верить и надеяться.

Уже известным путем она отправилась на студию, где у бюро пропусков ее ждал Лев. Аня сосредоточенно шла по коридорам, продвигаясь все ближе и ближе к тому месту, где сценарий, который она держала в руках, мог бы обрести живое воплощение. Времени прошло немного, но ей показалось, что Лев и тот грузный мужчина со странной фамилией Бант точно определили, что это ее роль и она сможет ее сыграть.

Лев отлучился, и Анна осталась стоять посреди большого коридора, все также, по укоренившейся своей привычке, осторожно и ненавязчиво разглядывая людей и придумывая каждому из них биографию, род деятельности, характер. И еще думала, каким методом, каким путем ее поведут: будет ли это, как в работе над ролью в театре этюдный метод, или, как это часто бывает в кино, по эпизодам, с финала — в самое

начало, когда нить, изломы характера, жизненных переипетий трудно будет ухватить и слепить цельный образ. Прервал ее размышления подошедший Лев, с которым они отправились в павильон.

Количество аппаратуры, людей, снова и снова снующих взад-вперед, изумило Анну, и она невольно напряглась, не веря, что в таких условиях сможет сделать что-то годное. На них никто не обращал внимания, только одиноко сидящий человек в неизменной, наверное, для режиссеров беретке, кивнул Льву, и они с Аней подошли. Это оказался совсем другой человек, не тот толстый, а незнакомый, отчего Анна расстроилась и сжалась еще больше. Он даже не особенно вглядывался в женщину, а просто спросил, читала ли она сценарий. Анна ответила, и тогда режиссер поднялся, в упор посмотрел на Анну и спросил ее.

— Вы как считаете сами, справитесь?

Она так удивилась необычному вопросу, что чуть помедлила, а потом уверенно заявила: «Мне кажется, это мое. — И добавила — Совсем мое». Он так же внимательно смотрел на Анну, никак не комментируя ее слова, а потом спросил опять.

— Думали вы, как она получает похоронку? Что это — в условиях войны, где есть нечего, где сдержанность и погруженность в себя — самые важные вещи?

— Думала.

— И что? Сможете сейчас порепетировать? Именно эту сцену?

— Я попробую.

— Лев, приступайте, давайте начнем. А на все это, — и он повел рукой вокруг себя, — не обращайтесь внимания, они на вас — тоже не будут, поверьте. Так как, готовы? Я помогу. Сцена, эта сцена короткая, но очень емкая, вам только что принесли эту крохотную бумажку, вы — дома, все знакомое, привычное. Что вы делаете, к примеру? Проходите вперед, ставьте себе что хотите. Вот стул, табуретка, вот платок. Берите что надо.

— Да, я понимаю, — сказала Анна, взяла свой пла-ток в руки и прошла к середине большой комнаты, но к тому именно месту, которое все же можно было отсоединить от хлопочущих людей. Огляделась, придвинула поближе табуретку, зачем-то перевернула стул, поискала что-то глазами и взяла книгу, которую приметил, и отошла, отвернулась. Потом раскрыла книгу, присела на самый краешек табурета и погрузилась куда-то глубоко внутрь того, что ведомо было только ей. И неожиданно запела. Сначала без слов, это был вокализ только, но тут раздался стук, она быстро встала, подошла к воображаемой двери, посмотрела на кого-то, кто якобы стоял по ту сторону, взяла из книжки листок, который тут же и нашла, и стала все ближе и ближе склоняться к нему. Держала его сначала ровно, затем перевернула, снова прочитала то, что было на листочке, и — никто даже не ожидал того, что сейчас произойдет, — медленно и совсем не театрально упала на пол. Скорее всего, это не был обморок, а просто невозможность сохранять вертикальное положение, просто такой обвал и отсутствие сил, что только падение могло помочь. Она лежала, свернувшись клубочком, и это тоже говорило о том, что никакой здесь не обморок, не потеря сознания, но потеря иного толка. И там, в этом положении, почти не двигаясь и не произнося слова, она снова тихонечко запела. Тихо-тихо, еле слышно, потом стали различаться слова, которые были явно не из военной жизни, но которые в то время пела вся страна — такие они были пронзительные, щемлящие и правдашние. «Милый мой родной, возьми меня с собой, там, в краю далеком, назовешь меня женой... Милая моя, взял бы я тебя, но в краю далеком есть у меня...» Аня так же тихо заплакала, потом поднялась, села, вытянув ноги, затем снова подобралась и съежилась и так и сидела, покачиваясь и пропевая слова песни о мольбе женщины взять ее куда-то, где она могла бы стать кем угодно, но только быть с любимым.

Никто не заметил сначала, как постепенно в пави-

льоне, а это был именно павильон, становилось все тише, как люди перестали снова туда и обратно и как нависшая тишина словно подпевала в такт песни, трагической и светлой одновременно.

Анна поднялась, держа все так же листочек, потом еще и еще раз расправила его, сложила в книжку, подошла к той, первоначальной точке, где, очевидно, было окно, и встала ровно и величественно. И даже спиной, худенькой своей спиной продолжая диалог с письмом и извлекая из него свой, потаенный и страшный смысл.

Режиссер встал со своего места, подошел медленно к Анне и обхватил ее руку. Постоял, помолчал и затем произнес: «Ну вот, молодец. — При этом лицо его совсем изменилось, просветлело и перестало быть отрешенным. — Отдохни, — он перешел на «ты», — и сейчас будем снимать. Сможешь? Не устала? Только одно...» — «Что? — спросила Анна. — «Песня. Не было ее в войну. Придумаешь другую?» — «Знаю, я сделаю», — ответила Аня. Он снова сжал обеими руками ее худенькую руку и снова изучающе посмотрел на нее. «Сделаем, сегодня же и снимем».

Аня услышала, как переговариваются люди, делая свое дело, посмотрела в их сторону и поняла, что вот он такой, съемочный процесс: разговаривают, замолкают, если происходит что-то настоящее, снова тащут, говорят, переставляют. Поправляют свет, но снова в определенный момент становится тихо, и режиссер со всей своей командой может делать кино, подготавливать актеров, помогать им, если надо, замечать детали использовать их в процессе съемок, не отвлекаться на ерунду и только идти и идти к своей сверхзадаче. А то, что этот человек ее знал, было очевидно, и Аня это сразу отметила. В самом конце, когда уже было совсем поздно, она спросила режиссера, как его зовут. Он удивился и ответил: «Кирилл Константинович, а на завтра я на вас рассчитываю». — «Хорошо, я только уволиться должна успеть. А сколько будут снимать это кино?» Он посмотрел на нее, усмехнулся и уже совсем

весело ответил: «Сколько, говоришь? Месяца три, не меньше. У тебя будут свободные дни, сможешь и отдыхать, и готовиться. Захочешь — приходи на другие сцены. Тебе немножко нужно встряхнуться, что ли. Там ведь будут не одни трагические эпизоды. Помнишь, как они с мужем, — он кивнул в сторону Льва, — как они танцуют? Как любят, много смеются?» — «Да, я встряхнусь, это надо, сама знаю». — «Лев-то помогает?» — провоцировал Кирилл Константинович. — «Он... он меня нашел», — только и смогла ответить Анна. — «Вот и хорошо, только пусть не потеряет, ладно?» — И он снова глянул на Льва. Может, о чем-то догадывался?

До Нового года оставалось всего ничего. Решили, что будут действовать, как и предложила Анна: сначала у них, потом уедут ко Льву. Кира уже была в курсе, и все начали готовиться к празднику. Закупали кто что мог, прибирались, а самое главное — ожидали, что у Киры вот-вот произойдет то, что и было положено — рождение ребенка. Планировался январь, к ней собиралась тетушка из-под Саратова, так что каждый пребывал в ожидании чего-то очень важного и принадлежащего именно ему.

На заводе все прошло без осложнений. Анне пожелали всего наилучшего и с миром отпустили. Она думала о своей героине, искала детали, то, что, как сказал театральный режиссер, лежало между строк. И еще подумала, как много за последнее время случилось творческих встреч и как они так незаметно и легко вошли в ее жизнь, словно она только и дожидалась, когда же наконец ее позовут и она сможет вернуться в профессию. А то, что профессия — чуть ли не самое главное в жизни, убеждал еще отец, потом в родном институте. И мама, дорогая мама, говорила, что самое важное — это состояться в жизни. И тогда будут покой и мир. А если у многих и многих наступит этот самый мир, то и во всем огромном мире он обеспечен. И как люди этого не понимают? — сокрушалась она. И Анна сознавала, что именно более всего искорежило ее, что

не остановило от того образа жизни, который она была вынуждена вести несколько лет. Это прежде всего выпадение из профессии, осознание своей ненужности, потеря опоры. Ну, а довершали все дело, конечно же, и предательство Олега, и, наверное, самое важное — разлука с дочерью. Потому и запретила себе думать, вспоминать, обращаться к прошлому: мысли о дочери были такими настойчивыми и так мучали ее, что пришлось совсем отказаться от воспоминаний. И жить, не обращаясь ни к прошедшему, ни к будущему, превратившись в существо без воли, без мечтаний, без надежд.

«Странно, — подумала она, — что и героиню ее зовут не как-нибудь, а Вера. Ну, точно, только в кино и возможны подобные совпадения. Напиши об этом, никто и не поверил бы. А там возможно все! Скорей бы съемка!» — думала Анна и все представляла себе свою героиню, и сравнивала ее с собой, и находила то, что может и должно соединить ее с ней.

Незаметно пролетели два дня, и Анна с Кирой ждали Льва, готовились к встрече. Было готово мясо, в которое попозже собирались положить картошку, сделан салат «оливье», порезаны, как водится, сыр и колбаса. Никакого роскошества. Еще селедочка, пара баночек консервов, а из выпивки — бутылочка красного вина.

Квартира, и так всегда прибранная, ухоженная, просто сияла. Кира присела на диван и неожиданно спросила Анну.

— А что, как ты думаешь, все это серьезно?

— Как это? — не поняла Анна.

— Ну, у вас? Сама как считаешь?

— Трудно говорить. Вообще трудно. Столько лет знаем друг друга и столько — не виделись. Как знать, что у него на сердце?

— У него как раз понятно. Ты сама-то как?

— Я? Я думаю.

— А что чувствуешь?

— Ой, Кира, это на тебя непохоже.

— Что разговорилась?
— Ну да.
— А помолчи с мое.
— Да, понятно. Что чувствую? Я все годы чувствую, что встречу. Что не все закончено.
— Любишь его?
— Кир, я так не могу.
— Но ты же прямой человек!
— Вот именно. Потому и не могу, солгать не могу.
— Ты думай! Сколько можно?!
— Знаю, может, работа общая меня с мертвой точки сдвинет? Знаешь, все обида не унимается. Почему столько времени он меня не искал?
— Да ты радуйся, что не искал! Где бы он тебя выискал? В подворотне?
— У меня не только подворотня была. На предприятие идти стеснялась, знала, что ничего не умею, вот и стояла какое-то время с протянутой рукой.
— Ань, у тебя характер, это ж ясно, давай выбирайся отовсюду окончательно. Ты же не я. Это у меня сплошные обломы. И кто я? — рабочая на заводе. А ты?! Ты же призвана к другому, разве можно это предавать? Не нищета — твой грех, а что профессию бросила.
— Но вот, видишь, теперь, может, наладится? Буду ходить на площадку, смотреть. Мне еще учиться надо. В театре — оно совсем другое дело. Там, даже если и не видишь зрителя, он вот, рядом, ты его чувствуешь. А в кино — ну, я не могу, все иначе. Ходят, разговаривают, все сцены — с финала — и к началу. Перепутано все. Но я, кажется, кое-что ухватила. Держу себе линию и иду, иду. Как учили! Кир, ты знаешь, как нас учили! Это просто сказка была. Тогда вообще единая школа в стране работала. Все знали и действенный метод, и учение о сверхзадаче. И много таких хитростей, которые и в обычной жизни помогали. Мне мой институт все, ну, совершенно все дал.
— А не тянет поехать, посмотреть?

— Конечно! Но на что, как? Пока — нереально. Может, потом...
— Поедешь, помотришь, обязательно поедешь.
— Ты думаешь?
— Сама ж говорила: кто ташкентской водицы выпил, ни за что не сможет от нее отказаться. Не забывается такое, все-таки родина. Я вот тут и родилась, и проживу, наверное, всю жизнь. И никуда меня не тянет.
— Кира. А он...ну, человек этот... разве ничего не будет? Или ты не хочешь, чтобы знал?
— Не хочу, сама выращу.
— Но он что, совсем случайный человек?
— Какой там! Со школы все любил, даже жениться звал.
— А ты? Почему не с ним?
— Я другого полюбила, потом потеряла его, вот и осталась в сплошной драме, а выбраться не смогла, зашла. И решила, что что-то надо делать. Ну, в смысле кардинальное. Позвала, пришел. Уже женат теперь. Но... получилось то, что получилось.
— И что, он не в курсе?
— Нет.
— И не видел тебя, ничего не знает?
— Да нет, видел один раз, даже поджидал меня, но я не хочу. Мне жалости не надо. Сама я.
— Кира, погоди, раз поджидал, значит, не просто так! Пойми, как без отца? Плохо! И тебе, и малышу. Не гордись сильно, давай...давай ему позвоним, что ли?
— Нет! Ни за что.
— Но он же тебя все равно увидит, все равно поймет.
— Ну и пусть понимает, сама не признаюсь и ничего не попрошу.
— Ох, и дуры мы с тобой! Кому эта гордость нужна? Вот, годы идут, а мы сидим...
В этот момент раздался звонок в дверь, и Анна поднялась, чтобы открыть.

— Ань, ты погоди. Если это мой, ну, незнакомый если, скажи, что меня нет. Ладно?

Анна взглянула на Киру, ничего не ответила и пошла открывать. На пороге стоял незнакомый мужчина, вполне ничего себе, среднего роста, улыбчивый, лицо хорошее, приветливо открытое. Держал он в руках шапку, стряхивал с пальто снег и перебирал ногами, тоже отбиваясь от налипшего снега.

— Вам кого? — спросила Анна.

— Мне? Мне Киру!

— А вы кто?

— Я? Я — Вадим. Она дома?

Аня помялась, врать не очень-то хотелось, да и парень был симпатичный, не урод же какой-нибудь, поэтому помедлив, она решила сказать.

— Кажется, сейчас нет. Но...

— Знаю я все! Дома она. Не хочет меня видеть.

— Значит, вы Вадим.

— Да.

— А где же ваша семья? Что это вы к Кире, у вас же семья есть, я знаю.

— Ну, это у вас устаревшая информация. — даже не обиделся мужчина, продолжавший стоять перед дверью.

— Вы, конечно, извините, что я так, напирваю вроде, но мне Кира небезразлична.

— Представьте себе, мне — тоже.

— А где ж вы были все это время? — вела наступление Анна.

— Как где? Так и был — то упрасивал, то назло женился, то сошлись, вроде... Чего вы-то можете знать? Кто сами-то?

— Я? Я — друг! И мне положено.

— Чего это вам положено? — перешел в наступление Вадим. — Это мне положено.

— А что вы женились-то? Вот и дожидались бы. — Имея в виду что-то глубоко свое, лично громко говорила Анна. — Сначала женятся, а потом приходят права качать.

— Нет у меня жены, слышите? Уже семь месяцев, как я холостой! Так пустите или как? Она же дома, я знаю.

— Так, что же делать? Погодите, я мигом. — И Анна прикрыла дверь.

Она быстро вошла в комнату, где по-прежнему сидела Кира, но как-то так странно сидела, наклонившись на бок, прикрыв глаза и постанывая.

— Кира. Что с тобой? Тебе плохо?

— Ой, ой...

— Кира, говори же, что сделать?

— Я...я, кажется... кажется, началось.

Аня побежала назад, к дверям, окликнула Вадима и выпалила.

— Ну вот, уже началось.

— Что? Что началось?

— Да вы что, не в курсе? Идите скорей сюда.

Они вбежали в комнату, услышали, что стоны стали громче, а сама Кира вытянулась на диване, все так же закрыв глаза. Вадим наклонился, положил руку ей на голову и спросил.

— Кирочка, дорогая, что же ты? Я и не знал. Давай, надо в больницу. Я все сделаю. Где у вас телефон? — и он бросился к аппарату, потом, увидев, что она немного отошла, попросил вызвать скорую Анну, а сам снова присел рядом и гладил ее руку.

— Потерпи, потерпи, дорогая моя, все будет хорошо. Вот тебе — раз! А я и не знал, дурак, что это ты меня так настойчиво гонишь? Вот почему, оказывается. Сама, значит, решила. Ну, партизанка, ну, даешь!

И неизвестно было, чего больше вкладывал он в эту тираду: укора ли, восхищения?

— Тебя и в школе, помнишь, как звали? — партизанка! Сейчас, сейчас приедут, потерпи немного. Вы ей чаю дайте, — обратился он к Анне. — Ты сама не голодная? Может, поешь пока?

— Да нельзя сейчас, — сказала Аня. — Чай только. Я сейчас.

Она поспешила на кухню, а Вадим остался в комнате, и иногда слышно было, как он успокаивает Киру, и как она постанывает.

Скорая приехала, на удивление, достаточно быстро. Врач, пожилой мужчина, строго взглянул на Киру, потрогал живот, измерил давление, послушал и заключил:

— Собирайтесь, мамочка, выезжаем. Глядишь, в Новый год и родите. Бумаги не забудьте, паспорт. Хорошо, что не затянули. Кто с ней, муж поедет?

— Да, я, — ответил Вадим, и Аня проводила их к машине.

Сама не поехала, вернулась, поняла, что Вадим управится, да и доктор серьезный попался. Села и подумала, что как все в жизни завязано: ни одна встреча не оказывается бесследной для человека. Вот Кира: тянулась-тянулась эта цепочка, пока не привела к рождению ребенка. Да и еще, оказывается, что полтора десятка лет ждавший ее человек, успел сначала жениться, потом опомниться, а уж совсем потом и вовсе не суметь жить без нее.

Было около одиннадцати вечера, когда снова раздался звонок, и она открыла Льву дверь. Какой он все же был большой, в чем-то трогательный, одетый смешно и странно. Он, такой прежде франт, теперь повязывал горло, как и десять лет назад, каким-то стареньким шарфом, пальто тоже было из старой жизни, скорее всего, вот только обувь, с которой во все времена были проблемы, сверкала и, начищенная, так и радовала глаз. Понятное дело, что не отсутствие денег понуждало его не следить за собой, а, наверное, равнодушие к себе, да и отсутствие стимула. Не было рядом женщины — вот что. Это так отчетливо читалось!

Анна осмотрела его каким-то новым взглядом, сама подошла близко и обняла. Он растерялся, молчал, уткнувшись в ее прекрасные густые волосы, и она в этот момент подумала, что все еще может быть и что жизнь не закончена, что даже счастье, которое давно покину-

ло ее саму, ее память и сознание, вполне возможно.

Они не особенно много говорили, Аня рассказала, что Киру увезли, и про ее человека сказала. И наступил Новый год, пробили, как водится, куранты, они отпили шампанского, которое принес Лев, и снова обнялись. Шел Голубой огонек, о чем-то шутили артисты, все смеялись и, понятное дело, всем было весело. Звучала музыка, но не танцевальная, а скорее фоном. Та, которую ждали, чтобы потанцевать, обычно начиналась около четырех утра.

Потом они оказались в Аниной комнате, где уже не могли сдерживаться. И только давнее воспоминание о первой встрече, свидании, которое снесло все преграды, подтверждало, что все еще возможно, что новое чувство ничуть не меньше, а стало более мощным и неудержимым. Они почти ничего не говорили, только однажды он вытер ее слезы, промокнул их губами и сказал, что только теперь и можно начинать жить, что он счастлив. Они все держали друг друга, не в силах разомкнуть объятия, все отдавались нахлынувшей страсти, которая так долго сдерживалась, и только отдыхая, чувствовали, понимали, что вот оно, то самое настоящее, что уже не разъять никакими силами.

Обычную фразу, которую произносят все любящие, он говорил и повторял, повторял: «Я так люблю тебя. Я так ждал». И еще просил прощения, и она постепенно отгаивала и наконец тоже сказала эти заветные слова, от которых он задохнулся и спрятал лицо в ее волосах.

В соседней комнате диктор объявлял, что и в Ташкенте наступил Новый год, что и там празднуют его счастливые люди, хотя у них и нет снега. Но там все равно счастливы. И они приподнялись, пошли в комнату и вышли за свой Ташкент, в котором и они, и сегодняшние люди были так счастливы. И это ощущение бесконечности чувства, которого оба не испытывали очень и очень давно и которое называлось так просто, снова поглотило их. Сопrotивляться было

бессмысленно, да и зачем, если жизнь приподняла, наконец, краешек занавеса своего и приглашала посмотреть, что там, за ним, куда долгое время путь был закрыт. А теперь — на тебе — все возможно, все! Они успокаивались, остывали, молча лежали, а потом опять, не очень веря тому, что все случившееся — чистая правда, снова и снова сжимали друг друга в объятьях, давая молчаливую клятву в том, что теперь все — навсегда и что ничто теперь не сможет разлучить их. Они слышали друг друга, звук бьющегося у каждого сердца в груди. Его ритм, а точнее, аритмию, и понимали, что оба думают об одном и том же, и чувствуют лишь одно: невероятную, огромную потребность друг в друге, еще что-то такое, чему уже и не находились слова и определения и что держало столько лет в напряженном ожидании встречи. Ушли обиды, вопросы, потребность объясняться, спрашивать — все было предельно ясно: они просто любили и смогли теперь не скрывать это, не таиться, не бояться ничего.

Зазвонил телефон, и Анна бросилась к трубке. Звонил Вадим, который сообщил, что родилась девочка весом 3,5 килограмма и ростом 50 сантиметров. «Чистая красавица!» — воскликнул он, и Анна поняла, что и здесь все сложится и что все произошло именно тогда, когда те двое оказались к такому повороту готовы.

Через час зазвонил телефон снова, и тетушка из маленького города под Саратовом, узнав о событии, сообщила, что прибудет к выписке Киры домой. И снова Анна укрепилась в мысли, что все происшедшее имеет удивительную цикличность и последовательность и совершается ровно тогда, когда все оказываются способны воспринять это.

— Посмотри, здесь кое-что для тебя, — сказал Лев, когда они сели пить чай, и вынул объемный сверток из портфеля. — Разворачивай, не тужуйся.

— Что это?

— Как что — подарок! Это же Новый год, а традиции нарушать нельзя.

— Знаю, я тоже кое-что приготовила.

— Да. Но посмотри сначала мой.

Анна медленно и как-то неуверенно стала распаковывать сверток, красиво обвязанный красной лентой, и увидела прекрасное платье светло-бежевого цвета, почти молочного. С длинным рукавом, приталенное, с замысловатым воротом и с расклешенной юбкой. Она перебирала ткань и представляла, как будет выглядеть на репетиции в театре. Потом, когда начнется «Трамвай «желание». Пьесу она уже прочитала и думала о том лишь, как перейдет от роли Веры в драматическом фильме с обилием сложных сцен, где героине уготована страшная судьба, испытания, к роли Бланш, хрупкой, трагической, почти звенящей в своей безысходности и все же вере.

— Ты молчишь. Нравится? — прервал ее размышления Лев.

— Очень, мой цвет, и я так отвыкла от платьев, от достойной одежды, вообще от всего... — И она обняла Льва, растроганная таким подарком.

— Прошу тебя, примерь.

— Сначала тебе. Вот. — и она положила передо Львом маленькую коробочку и стала смотреть, как он раскрывает ее.

Он тоже помедлил, так же, как и Анна, неуверенно придвинул ее к себе, а когда раскрыл, удивлению не было предела: перед ним лежало его же колечко, которое когда-то он вручил Анне еще в далекие времена в Ташкенте.

— Неужели ты сохранила его? Это же было почти в другой жизни!

— Ну, я его перенесла и в эту жизнь. Хотя сколько лет это и жизнью-то назвать было бы трудно. Не было никакой жизни, даже воспоминаний не было.

— Но теперь, теперь все будет? Правда ведь? — Он подошел, обнял ее и долго стоял так. — Может, поедем теперь ко мне? Нет, подожди, у меня есть идея!

Сегодня еще не получится, все-таки праздник, все за-

крыго, но завтра... — Он поднялся, держа в руках коробочку с колечком, и произнес: — Аня, дорогая Аня, я делаю тебе официальное предложение. Согласна ли ты быть моей женой? Ответ принимается только один. Говори!

— Ну, что я скажу?! Я уже, помнится, была твоей женой. Давно.

— Так и говори — да, согласна!

— Подожди, Лев, не стоит торопиться. Столько всяких формальностей еще.

— Молчи, ничего лишнего, я не могу слышать другие слова, не могу и не буду! — он для убедительности даже уши закрыл. — Говори!

— Я боюсь.

— Нет, это не ответ, это никуда не годится. Скажи лучше, у тебя сохранилось наше свидетельство о браке?

— Давай так: пройдут три дня, и я скажу. Сохранилось. Но, наверное, все теперь переменялось? Устарело уже?

— Говори сейчас, не медли. Страна одна, ничего не может устареть!

— Три дня, дай мне всего три денечка.

— Но зачем, зачем тебе они? Мы же ждали столько лет!

— Все равно все закрыто.

— Ах, ты хитрушка. Надо будет, откроют! Я же теперь знаменитый и важный, ты еще не поняла? Может быть, нужно будет обновить документы, или пусть дадут здешний, из этого города! Он подхватил ее и закружил, приговаривая: — Да-да-да, и ничего другого! Слышишь? Только так, и все!

— Так ты еще и хвастун?

— А ты что, разве не знала? Я большой, просто-таки громадный хвастун, — и он подхватил Анну на руки и снова закружил. — Решено, третьего числа идем! А платье — вот и платье. Кого возьмем в свидетели? Кира, жаль, в роддоме. Но ничего, я знаю, ты будешь удив-

лена, когда увидишь. А с твоей стороны можно этого Кириного мужа, мужчину, который приходил. Идет?

— Наверное, можно. Но он нас совсем не знает!

— Подумаешь! Вся жизнь впереди! Еще узнает!

— Стоит все же дождаться Киры.

— Ага, это говорит о том, что все же ты согласна, только ставишь некоторые маленькие препятствия. Кира нас поймет! Она, тем более, еще не скоро сможет пойти с нами, ребенок — дело ответственное.

— Вот и дождемся.

— Аня, ты меня знаешь! Если я решил, то сделаю непременно!

— Ах, эти бы речи, да несколько лет назад!

— Не надо, не укоряй! Всему свое время, так жизнь нас на прочность проверила. А это дорогого стоит. Послушай, третье число — очень хорошее. У нас деже премьера там, в Ташкенте «Живого труппа» была именно третьего. Я помню.

— А я — нет.

— Но как же! Был октябрь, потом пришел ноябрь. И мы всю осень ходили в тот двор и тот дом, который я снимал. И улицу еще помню — Первомайская. Эх, надо бы съездить туда, поглядеть, что там теперь, да и осталось ли что вообще. Как считаешь, поедем когда-нибудь?

— На премьеру фильма. Он же выйдет, правда?

— Конечно, а как иначе! Послезавтра уже репетиция. Ты как, готова?

— Мне мое нынешнее состояние может помешать. Там сплошная драма, а я...

— Что, говори.

— А я, кажется, счастлива!

— Боже мой, она наконец сказала, сказала! Вы слышите меня, люди?! Она счастлива! Нет, я — больше, это точно! Потому что тебе хорошо, поняла?

— Ладно, ладно, не будем больше об этом. Давай лучше пойдём погуляем. Идет?

— Собирайся, идет.

Пока она одевалась, Лев присел и осмотрел комнату. Отметил, что ее прибранность и чистота выгодно отличают ее от его собственного жилища. Его квартира и больше, и в другом, центральном районе, и дом старинный, и вещи самые настоящие, из далекой старой жизни, но такой тщательной прибранности и вылизанности даже, конечно, нет. И тем не менее, какая-то она уютная, в ней очень спокойно, и как бы дальше ни развернулись события, он запомнит навсегда и этот дом, и квартиру саму, и ту — главное — комнату, в которой они заново открывали друг друга, признавались, были откровенны и раскованны. Ту комнату, скромную и побеленную, в которой оба поняли, что любовь не делается никуда, что просто долгая-долгая разлука вмещалась в их жизни, не задев, не нарушив основного — того чувства, которое когда-то давно связало их в далеком чудном городе.

Анна повязала шарф вокруг шеи, стояла, теребила варежки и весело смотрела на Льва. На ногах у нее были сапожки, но не те модные на платформе, которые уже пару лет как вошли в моду, а совсем скромные, которые едва доходили до середины икры. И шубы не было тоже, а пальто с воротником, которому исполнился, наверное, не один десяток лет, но и оно не казалось старым и потрепанным, а смотрелось хотя и скромно, но вполне достойно. Вообще весь Анин облик свидетельствовал о ее стремлении к порядку и чистоте, аккуратности. Льву сразу захотелось купить ей шубу, сапоги, много другой одежды и каждый день только и делать, что заботиться о ней и ходить в кино и театр на работу. Но на репетицию надо было через день еще, так что вполне можно было и погулять.

Новогодняя улица встретила их с распростертыми объятиями. В том смысле, что порывистый ветер буквально подхватил их, повел вверх, затем сжалился, несколько ослаб, потом и вовсе отступил, и они сели на автобус и поехали к центру. Окна были такими запотевшими, что не было никакой возможности высмотреть

в них ничего: все заиндевело. Народу было всего, помимо них, еще двое — одна бабушка с котомками и молодой человек, упорно смотревший в окно, сквозь которое не просматривалось ничего. Он был так погружен в свои глубинные мысли, что едва не проехал остановку, вскочил и почти на ходу спрыгнул со ступенек. Ехали так долго, и автобус промерз до такой крайней степени, что, когда наконец добрались до центра, решили тут же куда-то заскочить, где-то спрятаться. Магазины еще были закрыты, и они сумели отогреться в столовой, со стоячими столиками. Заказали кашу, чай, сметану и так, стоя, позавтракали. Эта маленькая столовая или кафе была на редкость чистой, а люди — все приветливые. Каша — вполне даже ничего, чай тоже не вчерашней заварки, а свежий и — самое главное — горячий. Вошла девушка в шапке, которые теперь, после фильма Рязанова, носило полстраны: такая же мохнатая, закрывающая большую часть лица, на отдельные мохнатые ниточки, которые падали на лицо, все теперь одинаково дули — резко так, словно на свои волосы, которые пытались откинуть со лба. И Лев и на этот раз подумал, что непременно купит Анне похожую, такую же мохнатую и пушистую. Оба невольно, глядя на девушку в рязановской шапке, нет, скорее, в Надиной — по имени главной героини фильма — вспомнили знаменитый фильм, который повторяли и в этот год. И было похоже, что такая традиция уготована ему на долгие времена, как и «Карнавальная ночь», шедшей тоже не одно десятилетие. Вдруг Анна спросила.

— А Москву ты любишь?

— Аня, я теперь про любовь — ни-ни.

— Почему же?

— Ну, как ты не понимаешь? Есть ты, есть любовь. А Москва — ну стоит себе, пусть дышит. А мы здесь.

— А, может, мы еще съездим туда, в наш город.

— Конечно, даже не сомневайся. Вот отсняемся, и вперед!

— А театр?

- Успеем. Или до премьеры, или потом.
- Как думаешь, уверенный царь зверей, что будет с «Грамавом»?
- То и будет, что сыграем. Это просто необходимо, пьеса эта.
- Почему?
- Ты от многого освободишься, начнешь выздоравливать. Сама же знаешь, как может лечить пьеса, сама роль, погружение в нее.
- Знаю, — почему-то вздохнула Анна и рассказала о Нине Бегак и о ее странных посещениях во время работы над пьесой.
- Ну, это вещь известная. У меня — так такое сплошь и рядом, — ответил Лев, видно и вправду не раз переживавший посещения своих героев.
- А фильм тебе нравится? — спросила Анна.
- Нравится, он будет жить долго-долго.
- Ты прямо, как провидец!
- Что, похож?
- Очень! — засмеялась Анна.

Буфетчица, сложив на подбородке руки, смотрела на них и думала, видимо, о том, что вот он, Новый год, наступил, кто-то в кафе, а она на своем посту. Но они ошибались. Полная, с добрым лицом тетечка думала совсем о другом и очень надеялась на то, что именно этот год принесет ей все то, о чем она так мечтала: квартиру, любовь, хорошего мужчину — словом, все то, о чем и принято мечтать человеку, если он бодр, здоров и полон сил.

Они допили свой чай, поздравили женщину с праздником и вышли снова на свежий воздух. Магазины открылись, и Лев еле уговорил Анну зайти в один из них. Это была одежда. Как водилось в те годы, ее, конечно, было не так много, да и разнообразием она не отличалась. Все было в дефиците: продукты, одежда, просто какое-нибудь разнообразие. Кто-то добывал себе вещи в комиссионных магазинах, которые в то время были очень популярны, кому-то привозили дефицитные вещи из-за границы. Но так или иначе, все были

одеты и не выглядели удрученными или несчастными. Как-то все же устраивались.

Анну же этот вопрос мало занимал во все времена, она брала чем-то другим: статью, особенным умением носить даже самое простенькое платье, и, конечно же, достоинством, характером. Этого было в преизбытке!

Вот и теперь она прошла по скудному ряду, где висели вещи, не самого лучшего качества и пошива. Но у одной блузочки она все же задержалась, разглядывая покрой, бантик у самого ворота и очень симпатичные в тон блузке пуговицы. Она была светло-зеленого цвета, с какой-то выделкой, и то, что она приглянулась Анне, Лев, конечно, заметил. Попросил померить, но Анна сказала, что и так обычно безошибочно определяет, ее ли размер, и отказалась идти в примерочную. Тогда Лев сам нашел еще и юбку более темного, но тоже зеленого цвета и стал настаивать, что комплект надо купить. Его довод был прост: на репетицию, которая состоится через день, надо прийти именно в этом. Он просто не видел еще на Анне нормального платья. А это — и к времени подходит, и вообще — классика. Аня сдалась, и Лев расплатился. У него еще была попытка зайти и посмотреть на зимние вещи, но Анна никак не соглашалась. Однако Лев все же заглянул в эту секцию, убедился, что шубки есть и только внимательно и оценивающе еще раз взглянул на Анину фигуру, что-то такое прикинул и согласился покинуть магазин.

А на улице уже все более и более становилось очевидным, что наступил Новый год. Это ощущалось не только по убранству города, по насыщенности цветового убранства, по тем деталям праздника, которые были щедро вкраплены в пространство: витрины магазинов, елки, гирлянды — словом, во все то, без чего не обходится ни одно празднование Нового года. Народа было немного, а те люди, что появлялись, шли неторопливо, и было понятно, что настроение у всех при-

поднятое, люди отмечают то, чего ожидали целый предшествующий год — 365 дней!

И тут Лев сказал: «Аня, а теперь — ко мне! Возражения не принимаются. Да и порепетировать надо». Аня помедлила, потом, понимая, что ничего другого противопоставить не может, да и вряд ли стоит вообще далее затягивать этот шаг, согласилась, но коротко, без особых комментариев. Шли пешком, потому что дом Льва был тоже в центре, и оказалось, совсем недалеко от того дома, где несколько лет прожила в коммунальной квартире Анна с Олегом. Надо же, какие парадоксы: жили рядышком, но никогда не пересекались! Так бывает в жизни. Ах, да чего только не бывает?! Вот ведь, не думала, что встретит новых жителей своего прежнего дома, подумать не могла, что окажется у Киры, а та еще и родит! Разве она могла знать, что в униженной для себя ситуации встретит Льва?! Что, наконец, случится Новый год и произойдет то, что произошло в ее жилище? Ни за что! После предательства Олега, после столь же страшного предательства в театре, утраты связи с дочерью, могла она подумать, что жизнь повернется таким неожиданным образом? Нет, нет и нет!

Дом Льва оказался в самом центре города, действительно, совсем близко от ее прежнего жилища. И старей, и с большими окнами, прекрасным фасадом, и парк с царицей был неподалеку. Хорошо, однако, что вход был со двора. И там уже такой благодности не чувствовалось: в подъезде пахло кошками, запах поглощал все остальные, вокруг по сторонам валялись окурки, пара бутылок, и, если бы она не видела дом со стороны Невского, решила бы, что находится где-то на выселках в грязном-прегрязном доме. Но на площадке третьего этажа пространство словно расчистилось, свет стал не мрачным и едва пробивающимся, а спокойным и ровным, да и лампочка сияла своим чистым блеском.

Лев открыл дверь, и к нему в ноги тотчас бросился серый мохнатый комок и завопил так, словно его про-

держали взаперти не ночь и часть дня, а целую вечность. Кот был изумительной красоты! Он запрыгнул на руки ко Льву, стал целовать его в нос, все так же голосом давая понять, как ему тут не сладко одному. Потом заметил незнакомого человека, утих, стал обнюхивать, внимательно посмотрел на пришедшую Анну и даже замолчал. Лев поднял своего кота и сказал: «Ну, Шух, принимай! Это теперь твоя хозяйка!» Анна смутилась и спросила, почему у кота такое имя. На это Лев ответил: «А помнишь, у нас в Ташкенте работал Шухрат Исламов? Еще в компаниях собирался? И все его называли почему-то Шух, сокращенно от его имени? Такой чудный человек был. Ничего о нем не знаю, но когда увидел у помойки этого красавца и он шуганулся в сторону, я невольно сказал: «Стой, Шух! Так и стал он жить здесь и кличка закрепилась. Видишь, какой красавец?!» — любясь своим питомцем, спрашивал Лев. Но тот уже вел, именно он вел хозяина на кухню, где тот ему достал из холодильника еды, выложил в миску, и он мирно заурчал, радуясь долгожданной еде. «Ну, и прожорливый ты! — прокомментировал Лев. — Ведь оставил тебе столько! Неужели все умял?» На это Шух ответил протяжным «мяу», но уже исполненным в другой тональности: конечно, теперь он был сыт и счастлив.

Пока шла трапеза, Анна осматривалась и понимала, что попала в совершенно замечательный дом, немного запущенный, но все же видно было, как хозяин его старался поддерживать в нем чистоту и порядок. Первое, что бросалось в глаза, — это старинная, темного дерева мебель, с огромным круглым столом, закругленной формы диваном, причудливыми, с загнутыми спинками креслами. Но не это даже особенно удивило Анну, а некоторые детали в виде зеркала, старых, но чистых салфеток. Комната явно тянула метров на сорок, не менее, потому что вглубине помещался, причем очень свободно, еще и рояль. На стенах висели две картины. На одной изображена была женщина в чепце, смотрящая немного исподлобья, как-то

боком, и Анна подумала, что это — родственница какая-нибудь. И точно, Лев сказал, что это Поленов и изображена его бабушка. На второй был чудесный пейзаж — лес. Полянка и в середине — огромное дерево. Ничего особенного в композиции и сюжете картины не было, приковывала она внимание этим мощным раскидистым деревом. И, глядя на него, наверное, думалось, что можно преодолеть все-все и стать таким же большим и вечным.

— И представь, я здесь совсем один, — сказал Лев, входя в комнату, из которой он время от времени выходил, принося тарелки и накрывая на стол. — Присоединяйся! — подбодрил он Анну. У меня все приготовлено, осталось только разложить, нарезать.

Анна вдруг почувствовала, что в этой большой красивой квартире прошли жизни многих и многих, что она не просто хороша и просторна, но есть в ней дух судеб, оставленный здесь. Она где-то слышала, что такой дух сохраняется в том случае, если люди были достойные и с настоящей большой жизнью и судьбой. То есть те, которым было что оставить после себя в жизни. И съезжилась: вот здесь он жил со своей женой, дочерью. И Лев прочитал ее мысли.

— После возвращения из Ташкента Галя, пока была жива, так и оставалась жить со своей матерью и с новым мужем, я много лет здесь существую сам по себе, в абсолютном одиночестве.

— Но ты же ехал к ней? Что же произошло?

— Знаешь, есть просто долг, и это такое емкое слово. Есть любовь, нет — надо его исполнять. Потом и она поняла, что все бесполезно, даже однажды сама сказала мне об этом. А потом началась болезнь, которая длилась и длилась, а мать ее помогала, потому так ничего и не меняли. А новый муж ее не выдержал, отступился, потом просто пропал. Но я не просто так уехал, вспомни, ты сама меня выпроводила. Молчи, знаю, что было за что.

— А ребенок? Где он?

— Дочка у тетки, ей так лучше. Сама понимаешь, с моим графиком и жизнью артиста взять себе ребенка — глупо, неправильно.

— А как вы с ней, видите?

— Конечно, часто, у нас все хорошо, вот, познакомимся.

— Но...

— Да, тебе будет не просто, но я-то — смотри, какой верный и терпеливый! — засмеялся Лев.

— В Ташкенте это не всегда было так заметно, — парировала Анна.

— Там — другое дело, там я должен был действовать так, чтобы тебя покорить. Хотя бы... хотя бы через столько лет! — добавил Лев.

— Странно, как ты жил? Как жил, ходил в театр, ездил к дочери? О чем ты думал?

— Ох, что ответить? Да, и ходил, и играл. И ездил. И еще хоронил, заботился о теще, пока жива была, мои-то умерли давно, еще до моего Ташкента.

Анна сидела в большом уютном кресле и представляла себе, как когда-то здесь, по этому старому паркету ходили люди, как они разговаривали, даже любили. Лев присел рядом, молча посмотрел на нее, взял ее руку и долго сидел так, не отпуская ее и молча, в полутьме вращая в эту комнату. Шух примостился тоже рядом с хозяином, и казалось, что такая идиллия может продлиться вечно.

— Послезавтра третье число, — снова заговорил Лев.

— Ты помнишь?

— Да, и нам — на репетицию. И вообще...

— Что?

— Не будем трогать эту тему. Ну, пока не будем, — добавила Анна примирительно.

— Но почему? Я не хочу, чтобы тебя что-то смущало, чтобы наши отношения опять остались на уровне том, ташкентском.

— Да они и не будут такими. Хотя и там все могло быть замечательно. Здесь есть другое.

— Что же?

— Вот этот массивный дом, это жилище, эта крепость, в конце концов. Она защитит кого угодно и от кого угодно. Подождем немного. Вот Киру, например, первые репетиции.

— Но ты, ты ничего не вытворишь? Ты не бросишь меня? — прямо спросил Лев.

Анна помолчала, потом подняла бокал на тонкой ножке, покрутила его и предложила.

— Давай так, не будем уточнять число, вообще говорить о датах. Само придет, и мы поймем это. Вот увидишь. Согласен? Я не уточняю, кто кого бросил.

— Что с тобой делать? Ты всегда была упрямец. Сдаюсь. Покоряюсь, но не надолго, уверяю тебя, — заключил Лев.

— Вот и хорошо! — успокоилась Анна.

— А теперь я тебе покажу всю квартиру, — сказал Лев, и они встали из-за стола.

Имелась еще одна комната, в которой стояла кровать, большущий шкаф, зеркало и маленький столик, на котором стояли две игрушки — мишка и кукла. Наверное, еще из той, прошлой жизни, когда Алиска, дочка Льва, бывала здесь. Но Лев тут же пояснил, что эти две игрушки еще из его детства и им много-много лет.

Постель была аккуратно застелена покрывалом светло-коричневого тона, с кисточками, и было понятно и по самой ткани, по выделке, по характерному узору, что оно тоже из давнего времени. Анна взглянула на стены и с удовольствием отметила, что они не синего, а тоже светло-коричневого, довольно тусклого цвета. Наверное, этим обоям было лет сорок, не меньше, такие они были и потертые и как-то впечатались намертво в стены, что отдирать их и клеить другие было бы сущим кошунством.

После обхода квартиры, всех многочисленных ее закоулков и помещений, снова сели за стол, праздновали Новый год, который обещал большие перемены, разговаривали и решили, что завтра пойдут в театр или музей, но непременно куда-нибудь отправятся.

Потом наступила ночь, и сквозь незадернутые занавески можно было видеть такой же большой серый дом напротив, слышать, как тормозят машины, вдыхать аромат стен со старыми обоями. Они сохранили много тайн, насмотрелись на разных людей и продолжали нести свою нехитрую вахту, все впитывая и собирая отдельные черточки и детали всего происходящего в этом доме. «Интересно, что под ними? Какой еще слой?» — думала Анна, засыпая и вспоминая, как в ее дорогом Ташкенте после землетрясения папа клеил совсем не обои, а по тогдашней моде — трафарет, который наносился на стены, имел своеобразный витиеватый рисунок, а цвет можно было использовать какой угодно. Несмотря на то, что окна спальни выходили на улицу, было не так уж шумно, и тишина этого огромного старого дома так привычно обнимала серый камень, выступы, сами стены его, что становилось понятно: и дом, и этот город выдержат не только прошедшие, но и многие другие испытания, если будет суждено.

А утром проснулись и долго разглядывали друг друга, все еще боясь поверить в реальность происходящего. И снова и снова растаивали в объятиях друг друга, пытаясь проникнуть в такие тайники и лабиринты, что становилась очевидной мысль: проведенные в одиночестве и испытаниях годы только укрепили потребность общения, понимания, потребность любить и постигать друг друга.

Решено было пойти в Русский музей, а вечером — в театр, где работал Лев и где у него был вечерний спектакль. Когда огибали филармонию, то увидели, как маленький мальчишка стоит возле входа в нее и просит милостыню. Анна дернулась, хотела как можно скорее миновать это место, но Лев замедлил, напротив, шаг и спросил у парнишки: «Ты где живешь? — при этом отдавая деньги тому в кепку. — Почему ты здесь? Разве не учишься?» Парень недоверчиво глянул на прохожего, потрогал почему-то деньги, смял кепку так, чтобы они оттуда не выпали, так и оставаясь с непокрытой головой, а потом ответил: «А тебе че, дя-

денька? Или жалеешь? Праздник сейчас, вот. Учусь я, все у меня есть, — и он провел рукой по изможденному немытому лицу. — А насмеяться может каждый». — «Кто ж тебе сказал, что я смеюсь? У всякого такое может случиться, бывает. Но ты давай не унывай, а лучше оденься и приходи вечером в театр, — и он вынул из кармана листочек бумаги, что-то написал на нем и объяснил мальчишке, как пройти. — Даже не вечером, не надо на взрослый, давай на детское представление, у нас там дважды в день сказка. Придешь?» Парень повертел листочек, поднес его зачем-то к носу, принюхался и покачал головой: «Нет», — сказал он, и Лев на прощание все же сказал: «Ты записочку не бросай, может, пригодится. Не век же тебе здесь стоять. Да и холодно».

Все то время Анна оставалась стоять поодаль, не приближаясь к ним, и Лев прекрасно понял, что именно ее сдерживало: сама не так давно была в подобной ситуации. Но этого касаться, конечно, не стали, прошли мимо памятника Пушкину, приостановились, отметили, что он лучше, чем московский, и направились к музею. Действительно, в Москве Пушкин — поэт-философ, здесь же он — лирик, словно вот-вот прочитавший свои стихи. Здесь он более живой, что ли, и всегда рядышком прогуливаются то ли поэты, то ли почитатели поэзии, но непременно есть люди, неравнодушные к Пушкину.

Ну, а музей был, судя по тому, как чувствовал себя там Лев, родной его стихией. Он знал, куда вести Анну, в какой зал, небольшой и почти что камерный, к правой стене, где висели полотна любимого его художника Федора Васильева. Она ничего о нем не знала, а только встала, пораженная какой-то громадой стихии и трагизма, которые выплескивались из этих картин. Она думала, что именно стихия и ее неодолимость — вот то основное, что вело руку и ум художника, что становилось центром его работ, условием написания их. То, что она увидела на них, было либо накануне чего-то страшного, стихийного, либо наоборот, — пос-

ле. Он сумел соединить то, что вряд ли кому-то удавалось: землю и небо, две собственно стихии, которые и внутри себя сосредоточивали этот трагический несоединимый мир страсти и почти безысходности. Когда же Лев рассказал о судьбе молодого человека, рано ушедшего из жизни, стало совсем понятно, отчего так рвалась его душа, что же не давало ему покоя. Вот и деревья, и их мудрость и вечность на огромном пространстве темных и других оттенков зеленого все же говорили не о благости и примиренности с жизнью и с самим собой, но о том, скорее, что всегда бушует в ищущем человеке. Наверное, доживи он до зрелости, и особенность мировосприятия стала бы другой — не такой безусловно драматической и непримиримой. Но случилось так, что он ушел в возрасте двадцати трех лет и оставил после себя бушующее и одновременно сдержанное пространство, где борьбе стихий отведена огромная, первенствующая роль. Он отражал не саму борьбу, а ее последствия. Это, конечно, был пик этих страстей, где он сумел глубоко отразить кистью то сложное, напряженное состояние природы — грустное, потерянное. И в этом смысле был одним из первых, кто позволил говорить не о гармонии и уравновешенности природы, но о ее смятенности, когда она еще не способна справиться с тем, что произошло вот теперь, только что. Этот конфликт, неуспокоенность и смог отразить молодой художник. «Наверное, сам был горячим человеком», — подумала Анна и поняла, что его почерк, особенность письма ей очень близки, что Лев безошибочно угадал, кто ей может понравиться. Свинцовое тяжелое небо и сама земная растительность были слиты в одно: это было единство целого живой природы, где небо и земля не могут разделяться настолько, чтобы быть изолированными друг от друга. Это действительно нечто общее и могучее, с едиными страстями и стремлением преодолеть их и одержать какую-то, наверное, победу в этой схватке. Она не читалась явно, там не было безусловной борьбы стихий, как это потом проявилось у Айвазовского. Нет, все было схва-

чено и тоньше, и не так прямо. Однако говорилось ясно и определенно о том, что человек задумывается о единстве природных процессов; что давящее состояние природы переносится и на человека: не всегда он способен справиться с катаклизмами, он — словно маленькая песчинка, частица этой природы, в которой есть и смятение, и грусть, и надежда.

Оба понимали, что думают примерно об одном и том же, что эта энергия смятения коснулась в жизни обоих. Слава Богу, что не смела окончательно и, наоборот, свела наконец вместе. Шли и долго не могли начать говорить о всяком-разном. Да они и не стремились разговаривать о чем-то незначительном. Уж если заговаривали, то именно о том, что волновало, трогало обоих. А молчать было замечательно: ни тягостного ощущения в паузах, ни стремления как можно скорее прервать молчание и говорить, говорить. Там, дома у Льва, они сумели и наговориться, и погрузиться друг в друга. А теперь просто шли и молчали.

Потом все же решили, что перед спектаклем Льву нужно будет собраться, загримироваться, а она пока съездит и навестит Киру с ее малышом.

Когда она добиралась до роддома, то, к удивлению, подумала, что, может, и она когда-то соберется в такой же путь, как и Кира. Но останавливаться долго на этих размышлениях не стала: еще надо было прикупить продуктов ей и что-то придумать такое, что ее порадовало бы. Помимо продуктов, она написала записку, в которой и поздравляла, и поддерживала, но главное — желала ей с Вадимом счастья. И чтобы не прогоняла его. Так и написала: «Не гони, так важно все делать вовремя!» Еще постояла под окнами в надежде увидеть Киру, и уже собралась уходить, как услышала свое имя. Оглянулась — Кира махала в окно, и Анна вернулась, стала всматриваться и увидела, как Кира держит на руках маленький комочек. Слезы навернулись сами собой, Анна все смотрела и смотрела, и только когда Кира отошла, двинулась в обратный путь.

Она снова ехала в автобусе и перебирала отдельные подробности происшедшего, их неожиданной и почти уже неожиданной встречи, их разговоры, а главное — то, что оставалось между ними, что порой смущало и не позволяло высказать вслух, чем были переполнены оба. Вспоминала, конечно, теплых бежевых тонов спальню, в которой наконец смогла выплеснуть все то, что скопилось за долгие годы одиночества. И она снова утирала слезы, но уже от счастья, от ожидания скорой встречи, от самой возможности снова и снова видеть его.

Дорога до театра была недолгой, она легко нашла тот театр, где ей была обещана роль и где надежда жила пока отдельно от нее, потому что приблизиться окончательно к этой мысли было почти что нереальным. Название этой пьесы она видела на афишах в городе и понимала, что просто так театр вряд ли обратился бы к этой постановке. Да и Лев признавался, что пьеса и ее автор, Александр Вампилов, — самый популярный сейчас драматург. О нем Анна, конечно, не знала, очень хотелось самой скорее все увидеть и понять. Лев заранее дал ей контрамарку, и она свободно прошла и села на свое место в седьмом ряду. Артисты более как никто знали, что ближе коллегам садиться не принято было. Она уже по привычке обратила внимание на обивку кресел и снова успокоилась: никакого синего цвета!

Лев исполнял заглавную роль, она изучала программу и примеривала на себя ситуацию: как же хотелось перебраться на другую сторону, оказаться на том, сценическом берегу! Но! — всему свое время! — так успокаивала она себя, думая о театре, о завтрашнем дне с радостью репетиций и тем процессом погружения в роль, который ценила более всего.

«Прошлым летом в Чулимске» — так называлась пьеса, где ее Лев исполнял главную роль. Она привычно закрыла глаза перед самым началом, перед тем волшебным моментом начала, когда медленно раскрыва-

ется занавес и начинается история, в которую постепенно погружаешься, и сам вымысел и фантазия становятся самой что ни на есть реальностью.

Однако по мере погружения в происходящее действие она все чаще ловила себя на мысли, что сам строй и пьесы и ее решение оставляют ее если не равнодушной, то мало захватывают. Более того, ей стало казаться, что в этой драматургии есть что-то отталкивающее, не выраженное до конца, до самого доньшка. И не в плане прелестной недосказанности, которая только украшает любое произведение с его подтекстами и подводными течениями, а просто незавершенности в силу отсутствия подлинного сценического мастерства и знания театра. Какая-то надсадность так и насыщала пьесу, а обозначения трагического начала никак не разрешались до конца и художественно достоверно. Создавалось ощущение, что с самим драматургом что-то не так, что его, может, и заботит многое в жизни, но найти этому форму, убедительную и годную для театра, он все же не смог. Какая-то личная боль, казалось, тяготит писателя, но он так и не сумел выбраться из означенного круга, в который сам себя и поместил: прорвать эту преграду, эту условность: жизнь — театр — жизнь — не представилось возможным. Осадок какой-то горечи проникал все глубже, и к концу пьесы Анна еле сдерживалась: так неудобно, так тревожно было на сердце.

Ее Лев был замечательным: он находил оправдание любому повороту, любому поступку героя, так выстраивая роль, что она оказывалась значительнее и трагичнее, чем сам материал пьесы. Так бывает, к сожалению, в театре: либо роль, ее исполнение превосходит написанное, либо случается наоборот — актер заваливается на богатом сценическом материале и не добывает, не дотягивает.

Она все сказала Льву, все свои ощущения, и он, как ни странно, согласился с ней. Она ожидала возражения, но сказал, что даже пытался отказаться от роли, но это было невозможно: непрофессионально. Что ж,

приходится играть и то, что не становится близким, чему душа так и не открывается.

— Знаешь, а мне даже нравится, что ты не приняла спектакль. Это говорит все о том же: о характере — раз, о неутраченных художественных ориентирах — два! Узнаю свою Анну!

— Ты же не обижаешься? — спросила Анна.

— Не то, что не обижаюсь, а напротив: хочу попросить тебя и на будущее не вуалировать то, что думаешь, что считаешь правильным. Пусть я даже и не соглашусь, пусть, но мы должны быть совершенно открыты. Иначе как нам быть вдвоем, да еще в творчестве?!

— Что ж, значит, не обидела, значит, понял все. Лев, нам, и правда, будет непросто: впереди репетиции, и всюду пока мы — пара.

— Что значит «пока»?

— Да нет, я только о творчестве.

— Наоборот, сколько раз я представлял тебя на месте своих партнеров, вспоминал общие работы в Ташкенте! Я знаю, я совершенно точно знаю, что и как артисты мы — тоже пара. Уверен!

— А как тебе вообще там, в театре? Я уже не знаю, восстановлюсь или нет?

— Только работой и восстановишься. Анюта, выздороеешь, точно говорю — выздороеешь! Только верь мне! — Он обнял свою Анну, и они направились пешком к дому Льва.

Он уже дома сказал ей, что без театра не то чтобы жить, дышать бы не смог. И дело не в тех общих словах и фразах о любви к святому искусству, а в этой необходимости, когда сцена становится просто самой жизнью, ее образом и смыслом. И ты ничего другого не умеешь, не хочешь, и, наоборот, все складывается и получается только в этой профессии, которую с годами все труднее называть именно профессией — она — это ты, твой хлеб и воздух, и все тут!

Наутро поехали на киностудию, где стали впервые сначала репетировать, а потом и снимать парную сце-

ну со Львом, то место, когда он возвращается домой после фронта и оказывается живым. Все в кино, как всегда, было перепутано, но, к счастью, уже случилась та страшная сцена, когда ее героиня Вера получает похоронку. И вот теперь, после целого ряда эпизодов, в которых она как-то примиряется с жизнью и начинает свое существование без любимого, оказывается, что вышла ошибка и он возвращается. Впервые за много лет Анна снова оказалась в паре со Львом на площадке. Страх не было, напротив, было страстное желание убедить всех в том, что она справляется с ролью и что это — действительно ее роль.

Их переодели, загримировали, режиссер стал почему-то рассказывать совсем не о войне, а о том, как у него после войны, когда был молодым, почти мальчишкой, украли деньги, которые дала мама на продукты. Он должен был купить муку и макароны, пошел в магазин, ему их даже взвесили. Но денег не оказалось. Он их долго искал, осмотрел все карманы, вывернул подкладку, не в силах поверить в происшедшее. Очередь стала роптать, даже ругаться, а продавщица была совсем зеленая от злости на этого пацана. Но вдруг прямо из этой очереди выступил какой-то очень пожилой мужчина, и режиссер запомнил, что он был в кепке и с палочкой, и предложил заплатить за муку и макароны. Продавщица немного успокоилась, но тут случилось другое. Почему-то этот гражданин попросил перевесить продукты, тетка за прилавком снова завопила, но, перевесив, оказалось, что там не хватает двухсот граммов. Вот уж что тут началось! Все перекинулись на злую торговку, велели добавить все по весу, попросили начальство, но тот дядечка сказал, что ладно, пусть так все и будет, бог с ней, с этой теткой, ее саму кто-то еще накажет. И мальчишка ушел. И не сказал матери, что произошло, и потом долго мучался тем, что вроде что-то скрыл, не рассказал. Но за все прошедшие с того дня годы так и не понял, что это за человек такой был? Нет, что хороший — конечно, по-

нял, уразумел, но вот что не узнал о нем чего-нибудь побольше, всегда жалел.

Почему режиссер рассказал эту историю, трудно сказать, но она что-то задела в душе Ани, и когда ее Лев оказался на пороге ее комнаты, она опять-таки не закричала, не бросилась в объятия, не запрочитала, а встала как вкопанная и долго вглядывалась в дорогое лицо. Потом медленно, очень медленно приблизилась, провела рукой по его лицу и тихо припала к его груди. На этом режиссер сказал знаменитое «снято» и сделал перерыв.

Кирилл Константинович встал и подошел сам к Анне и Льву. И почему-то спросил:

— А как сами-то, не теряли никого? Как-то схватываете правильно, что ли...

— И теряла, и теперь вот просто потеряла...

— Как это?

— Дочку, — почему-то сразу ответила Анна, хотя никогда никому старалась об этой своей боли не говорить. Но тут такая сцена, она стоит, еле живая сама, готовая к любым вопросам и поворотам. — Не знаю теперь, где моя дочка.

— Это как же?

— Так, муж увез, ничего не знаю.

— Вы пробовали узнавать, действовать как-то?

— А как же! Но мне прямо сказали, что лучше ничего вообще не узнавать. В старом доме новые люди, они тоже мало что знают.

— Знаете, послезавтра ваши эпизоды, хотя можете, конечно, приходиться и завтра. Так что, дома напишите-ка поподробнее все: имена-фамилии, даты-адреса и все, что знаете. В смысле информации. Все сгодится. Обязательно годы. Дело в том, что пять лет назад ситуация была и впрямь проигрышной. Сейчас многое изменилось. Думаю, мы сумеем кое-что сделать. Все, спасибо, остался маленький эпизод, отдохните пока. — И он отпустил Анну, вернулся на свое место, но съемку не стал продолжать, а о чем-то напряженно думал.

Когда возвращались домой, Анна сказала:

— Оказывается, у тебя звание есть? Я из программы узнала.

— Ну-у...

— Молчал, значит?

— Но я уже столько лет в своем театре. Еще фильмы мои увидишь.

— Ты и снимался?

— Конечно, что ж, профессия требует!

Они замолчали, понимая, что разговор вот-вот может соскользнуть в плоскость скользкую, не очень для обоих приятную: Анна не занималась профессией в отличие от Льва, и оба понимали, что стоит свернуть в другую сторону.

— У меня были другие университеты. Это после всего-то! Института с отличием, школы прекрасной, родителей с профессией. И все покатилося!

— Ань, я уже говорил тебе, да и сегодня режиссер, как я слышал, тоже включился. Мы переломим эту ситуацию. Ничего говорить больше не буду, просто... просто сама поймешь, что я кое-что могу. А относительно времени он прав, Кирилл Константинович.

— Ладно, действительно, не будем об этом. Я сегодня пойду туда, ну, к Кире, ведь вещи все там, да и написать надо будет.

— Ты одна хочешь?

— Сама.

— Ладно, понимаю. Я заеду потом. Когда скажешь.

Они обнялись, и Анна отправилась в свой старый уже теперь дом, чтобы все обдумать, написать, собрать бумаги, чтобы подготовиться к тому, что, может быть, повернет события жизни, весь ее ход совсем в другое русло. Не то чтобы надежда, но все-таки нечто на нее похожее засветило в ее душе, и она, не как обычно, отставила эти мысли, а поддалась им и стала думать и вспоминать. И думать прежде всего о том, почему она не смогла сама еще и еще предпринять нечто такое, что смогло бы повлиять на ситуацию, изменить ее в корне? Почему? Оправдание в том, что она была слишком бесправной и что социальная машина была ей не

по зубам, казалось несостоятельным. Но кто она была после театра? Бедная девушка с неудавшейся судьбой и которую выгнали с работы вдобавок? Что этой силе она могла противопоставить? Может быть, прав режиссер и время теперь немного другое, и, может быть, еще что-то получится? Теперь она чувствовала в себе силу, ту, которой была переполнена когда-то, в другие времена, силу, которая теперь уже никуда не денется — есть Лев, есть возвращение в профессию, есть, наконец, надежда, и теперь — так думала Анна — она не станет от нее прятаться и избегать ее. Напротив, именно она придаст новые силы и тот долгожданный импульс, который выведет на другую дорогу.

Она ехала привычным уже маршрутом и вспоминала те даты, которые ей сейчас предстояло написать, отразить события на бумаге, свои встречи с людьми, которые либо не смогли, либо не захотели заниматься всерьез ее делом. И правда, так было спокойнее, удобнее, так ничто не грозило. А хлопоты? — это только близкие и очень дорогие люди способны взять их на себя и не считать за труд идти, встречаться, просить, стремясь помочь спасти человека. Даже двух человек — мать и дочь.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

ВЕСНА!

Уточек было четыре, и все они сидели не у самой реки, а почему-то вокруг лужи, которая была большая и грязная. Сидели сначала молча, не издавая своих привычных звуков, а просто разглядывая воду, в которой ничего не отражалось, и она совсем не отличалась прозрачностью. Однако все же их что-то привлекало, и они настойчиво смотрели в неясные свои очертания. Что это было, зачем они пытались отыскать что-то там, где и искать-то было неинтересно? Но внезапно они заволновались, заголосили и быстро стали перемещаться поближе к воде. Все-таки своя стихия. Но и там устремились вперед, подалее от того места, которое еще недавно так завораживало. И все плыли и плыли, торопясь обогнать друг друга.

Аня подумала, который уже апрель встречает она в этом городе?! И сбилась, да и не очень-то любила считать. Вообще чего бы то ни было. Не любила, и все! Еще со школьных времен, еще в юности успешно готовя домашние задания по математике, в том, что не имело отношения к расчетам, она не была сильна. Более того, ей совсем не нравилось что-то подсчитывать, какие-то даты, запоминать числа тех дней, которые стоило бы запомнить. Скорее, она фиксировала нечто большое и целое, не дробя его на кусочки, а принимая или отвергая все как есть. Она не всегда знала, точную ли ей сдали сдачу, а в плохие свои времена — сколько сумела заработать. Вообще цифры были для нее какой-то посторонней стихией, с которой все же приходилось считаться, но не более того. Ей больше нравилось отмечать другие вещи. Например, те, что имели отношение к характеристикам людей, накапливать детали и мелочи, которые могли бы пригодиться потом, может быть, в работе. Даже когда у нее не то что работы, вообще не было ничего, она по старой своей при-

вычке все насыщала свою копилку образов, где маленьким деталям отводилась большая роль.

И теперь она шла по улице одна и все отмечала, какие лица у прохожих. А посмотреть было на что!

После нудной зимы, промозглой и сырой, граждане сбросили наконец свои платки, а также и шапки, все больше и больше открывая голову, лицо уже активно пробивающемуся солнцу. Оно так застоялось, так заждалось, что и в немногие отведенные ему часы светило на полную катушку. Аня отметила, что стала слышать на улице смех. Удивительное дело: или она на него прежде просто не реагировала, либо именно пришедшая весна раскрепостила людей, и они, не оглядываясь на недавние превратности погоды, открыто и весело смеялись. Для ее дорогого города это тем более было редкостью: все же отличался он большей сдержанностью и всегда был озабочен тем, как выглядит и какое производят впечатление его граждане. Надо признать, что в последние годы выглядел он все хуже и хуже, и было больно смотреть на дома с облупившимися стенами, на улицы, которые убирались совсем не по графику. Но мужчин и женщин это все не особенно смущало: все же, когда по-настоящему любишь, принимаешь все таким как есть. Но, конечно, хорошо бы было его почистить, помыть, украсить, придать блек и даже подобие шика! Он бы только выиграл, это уж точно.

За несколько месяцев Анна преобразилась: у нее появилась приличная одежда, обувь. Вот и теперь она пересекала улицы в новеньком плаще зеленоватого оттенка, волосы развевались без всякой шапочки, а на ногах были очень симпатичные туфельки коричневого цвета, с пряжками и странно выгнутым носом. Такой тупой нос у обуви говорил, что в моде наступило какое-то затишье, вызванное, может быть, тем, что ее глашатаи не могли прийти к каким-то кардинальным решениям, все еще находились в поиске и попытках примирить город, его особую статью, с тем, что совершалось в этом плане в целом мире. Город всегда от-

кликался на модные веяния не сразу. Ему нужно было какое-то время на осмысление нового, он словно примерял на себя, сможет ли он принять такое или нет.

Готовы были все эпизоды в фильме, где снимались они со Львом, уже начались первые репетиции в театре, и Ане иногда казалось, что несколько лет, которые прошли в нищете, унижениях и страхе, а главное — в полном отказе себе на память и прошлое — больше никогда, ни при каких обстоятельствах не повторятся. Что у нее теперь столько сил, что никто и ничто не сдвинет ее с пути, которым она шла. Иногда — ну, как же без этого! — иногда она давала волю страстям и мучилась тем грузом памяти, который говорил настойчиво о грехе, падении, о чем-то таком темном, к чему и приближаться не стоило бы.

Но теперь у нее были Лев, работа и еще... надежда. Кирилл Константинович сдержал слово, много и упорно пробивал то, что казалось уже запертым наглухо. Он был и в тех кабинетах, откуда стали поступать запросы сначала в этом городе, на работе Олега, потом — по месту его нынешнего пребывания. Лев помогал, его имя кое-что значило. И это обстоятельство очень занимало Анну. Она замечала в нем такие новые черточки, которых не видела прежде: он мог становиться закрытым, очень конструктивно мыслящим, даже закрытым, и тогда Анна понимала, что его лучше не трогать, а дать волю всем особенностям его проявлений.

Словом, и он, и режиссер добились некоторых результатов. Анну снова приглашали на беседы, расспрашивали, задавали вопросы, велили ждать ответа, а самое важное — тон этих разговоров кардинально поменялся: ее уже никто не подозревал ни в чем, а только последовательно и настойчиво развивали и раскручивали цепочку событий, которая привела к плачевным результатам. Было установлено, что ее муж, с которым она так и не успела расписаться, находится действительно в Америке, дочь — с ним. И предстояло дождаться суда, его решения, а там... Что будет потом? — об этом она старалась не думать, но ее уверили, что решение

будет в ее пользу, и сам суд — не на предмет того, права она или нет, виновата или нет, ошиблась или оговорила, а только за тем, чтобы признать ее права и необходимость соединения с ребенком. Ну, а уж ему все не могло сойти просто с рук, это становилось постепенно ясно. Предстояли еще хлопоты, связанные с бумагами на Пелагею: когда-то придется раскрыть Льву всю правду. Ну, а поскольку брак с Олегом не был оформлен, то и официальных прав на Полю он тоже не имел, он просто ее увез, вот что самое страшное.

И другое большое дело, которое она не могла решить, даже не знала, как к нему подступиться, оказалось вполне решаемым и теперь уже завершённым. Это касалось ее прежнего, именно ей принадлежащего жилья. Действительно, хлопоты коллег, запросы, ходатайства, вся линия, связанная с этой историей незаконного отбора жилой площади, окончилась в пользу Анны Васильевны Кремнёвой, и ей даже попеняли, что она не проявляла социальную активность и не настаивала на своих правах. А могло бы все решиться еще давно, просто по ходатайству и решению суда.

Теперь в комнате ее родителей был наведен порядок, побелены стены, как это любили они, мама и папа, отциклеван пол, покрашены двери, но а жить все так же Анна продолжала у Льва. Решили, что эту комнату просто пока закроют, а там, ближе к лету, что-то решат. Почему к лету? Именно эту дату обозначали официальные люди, когда говорили о ее главном деле.

И она ждала. Жила надеждой, ожиданием и репетициями. А они были самым замечательным, что только когда-нибудь ей приходилось испытывать в театре.

Режиссер Александр Владимирович только приступил к пьесе, которую Анна уже знала, кое-что и читала о ней, об истории постановок, но никого в ней пока не видела, да и не хотела: боялась, что это ее может как-то сбить. У нее уже вырисовывалось собственное видение образа Бланш Дюбуа и она с нетерпением ожидала, когда придет ее черед, и она сможет не только на читке, но и «на середине» показать то, что поняла, что

не давало ей покоя и что она так желала, наконец, выразить на сцене. Нехитрая история о том, как к сестре с ее мужем приезжает молодая женщина, как начинается жизнь ее в этом доме, как складываются отношения с домочадцами, — все это могло быть в сотне пьес. Но особенность этой заключалась в том, что героиня не может освободиться от какой-то истории с мальчиком, как постепенно проясняется, что она не вполне здорова, а ее пристрастие к алкоголю губительно влияет на психику. И потом происходит самое страшное: на эту неустойчивую натуру, где каждое неловкое движение других задевает и тревожит Бланш, начинает влиять все крепнущее неудовольствие мужа сестры Стэнли Ковальского по поводу ее пребывания в их доме. Как этот мерзавец глумится над Бланш, насилует ее, разрушая ее представление о реальном мире, выводя из равновесия, которое хоть как-то, но сохранялось в этом трепещущем белом деревце и как, в конце концов, ее увозят в психушку, потому что уже в этой реальности ей не находится места. Она и сама временами осознает, что никак не вписывается в окружающий мир жестокости и несправедливости, но поделаться с этим ничего не может, как и ее сестра, которая полностью подчиняется своему Стэнли и никак не протестует, не спасает Бланш.

Такая вот история. Анна понимала, что это, наверное, не совсем ее тема, что той трепетности и экзальтированности, что есть в ее героине, ей самой не достает, но, однако, понимала и то, что ее собственная жизнь и ее актерское нутро так сплелись, что непременно родится и роль, и она сможет, как говорится, на «сопротивлении материала» сыграть Бланш.

Стэнли репетировал Лев, и оба, не сговариваясь, конечно же, ожидали срока репетиций сцены, в которой и случается страшное. Но и до этого эпизода были парные сцены, в которых оба были задействованы, и видели оба, что открывают друг в друге нечто такое, о чем и не подозревали никогда. Какая все же благодатная вещь — театр! Живешь — живешь, играешь, репе-

тируешь, думаешь, ну, все тебе известно, а нет, не все оказывается! К примеру, какой ты в гневе, сумасшествии, как можешь преступать законы, божеские, человеческие, как потом не в силах совладать с грехом и чувством вины! Непостижимая бездна, этот театр!

Анна стала замечать, как Лев постепенно, сам, наверное, не вполне сознавая, все больше и больше подчиняет роли все реальное жизненное пространство. Как даже взгляд, поворот головы его стали другими. Однажды они ехали навестить Киру с ее малышкой, и она обратила внимание, как он углубился в свои мысли и унесся далеко-далеко. И еще увидела, как он непривычно зло, недружелюбно посмотрел на какую-то женщину. Однако она осеклась что-то говорить, так как понимала, чем это продиктовано: он весь был поглощен ролью. Вот она, непостижимая власть и сила театра, которая способна так менять привычное в человеке, что становится страшно: неужели это он, знакомый и вполне известный тебе мужчина?

Лев все больше набирал силу как актер. Это было заметно и по другим ролям, которые он исполнял в этом театре. Какая-то весомость и значительность без тени спеси и апломба отличали работы Льва. Аня думала, что те человеческие и сила, и интеллект, что всегда были присущи Льву, такую обрели емкость, такой масштаб, что становилось ясно — это действительно большой актер. Анна, естественно, думала об этом не в таких формулировках, она просто видела, что Лев замечательно репетирует и играет, что очень сильно возмужал в профессии и стал таким сильным, что до него, наверное, нужно было еще расти. Но она заблуждалась, не очень выделяя себя. Да и совсем не выделяя, а просто работая, думая, находясь в поиске новых штришочков, новых приспособлений, манеры слушать, произносить слова, поворачиваться.

Однажды она шла по улице и по привычке снова и снова вглядывалась в лица прохожих. И случайно поймала на себе странный взгляд. Обернулась и увидела, что и женщина тоже посмотрела ей вслед. Они встре-

тились глазами, и Анна уловила в этом лице какое-то смятение, тревогу, растерянность. И подумала, что в этой очень хрупкой женщине, наверное, тоже прячется Бланш. И стала потом настойчиво искать схожие черты в других, хрупких и не очень, но которые так или иначе отличались бы от общей массы, которые несли, быть может, тайну, загадку прошлого. И находила, и примеряла на себя, и радовалась, когда удавалось закрепить это в репетиции.

Она вспомнила, как в том еще театре, когда приезжал известный драматург Алексей Николаевич Арбузов и была с ним встреча, он сказал такую вещь: «Все, что вижу, беру себе! Походку, прическу — все!» Именно «беру» сказал. Вот и она теперь все брала себе. Но более всего, конечно, не внешнего характера вещи, но что-то такое отыскивала в себе, о чем и не подозревала и не догадывалась. Например, вспомнила, как однажды мама, заплетая ей косы, длинные и тяжелые, сказала ей, чтоб она не ойкала и не плакала: «Терпи, казак, атаманом будешь!» Аня долго потом расспрашивала, кто такие атаман и казак. Мама отвечала, что не это главное, а главное — уметь терпеть. Кажется, этому вполне обучилась Анна, осталось только совсем немного — уметь переносить все навыки на сцену! И еще однажды припомнила, как соседка тетя Сима, наряжая ее, заметила: «Уж больно нежная!» Хотя больше всего Аня слышала, что она не капризная и сильная. Что ж такого она делала, как вела себя, что Симочка сказала такое? Значит, где-то есть, гнездится и эта черточка, значит, и ее можно использовать.

Получалось, что дома они не репетировали — хватало театра. Но однажды Лев заметил: «Ань, ты просто вылитая Бланш!» — «Почему ты решил?» — «А по тому, как ты сегодня надевала халатик и шла в ванную. Осталось только попросить крепкий напиток. Но ты почему-то помедлила, повернулась так, не видя меня, не зная даже, есть я или нет, и пошла!» — «Ну, Лев, все я видела, чего ты? А как пошла, это точно — не знаю. Какой халатик?» Все это она говорила, явно не пони-

мая, что именно она делала, но точно сознавая, что она, как и ее Лев, уже на мушке роли, что ее Бланш так ее захватила, что, может, уже и смотрела не так, и двигалась.

И с самим Львом происходили очень схожие вещи. Как-то они сидели за столом, ужинали. Было уже поздно, недавно вернулись с вечерней репетиции. На столе, как это у них водилось, была постелена светлая скатерть, накрыто все красиво. Аня поставила накануне приготовленные голубцы, которые оба очень любили, и она, по обыкновению, начала разворачивать капусту, чтобы отдать ее Льву. Оба привыкли: Ане — мясо с рисом, а Льву — двойная порция капусты. И внезапно он, накручивая на вилку длинный кусок капусты, вдруг посмотрел куда-то в сторону странно хмуро, отрешенно, схватил второй рукой болтающийся кусок, резко мотнул вилкой, чтобы прозрачные дольки тушеной капусты скорее оказались обвитыми вокруг нее и довольно бесцеремонно отправил все это в рот. При этом отхлебнул довольно смачно компота из бокала, покрутил на свету его, а затем резко отодвинул от себя, да так, что остатки жидкости вылились на скатерть.

Анна, наблюдавшая за всем этим, молча поднялась, промокнула образовавшееся красное пятно полотенцем, так же молча отодвинула от себя свою недоеденную порцию и прошла на кухню. Ей показалось, да она и была в этом уверена, что так будет лучше, что Льву необходимо остаться одному, поскольку он и так почти один был в этот момент: так его увлекла и куда-то отнесла роль. Он не заметил даже Аниного отсутствия и еще какое-то время молча сидел, нахмурившись, и довольно жадно, некрасиво поедая голубец.

«Господи, — подумала Анна, — сколько же в человеке потаенного, немислимо зачехленного, такого, что и сам он не подозревает о наличии того или другого. Вот, ест себе, прямо, как Стэнли, мерзкий хам и пошляк. И сидит так, и голову держит, и откинулся как там, в том доме, где ее Бланш застала свою сестру. — Что еще способен он отчебучить? Как долго продлится этот

поиск? И понимает ли он сейчас, вот сию минуту, что он теперь дома, что его Анна с ним и даже смотрит на него? Вряд ли!»

И в ту же минуту раздался голос Льва: «Ань, где ты? Что ты ушла? Я же тебе не рассказал про Арсения, который играет Митча. Представь, он так захвачен своей небольшой ролью, что на днях забыл где-то в трамвае сумку, в которой были продукты. Дома ему, конечно, задали вопрос на эту тему, на что Арсений скромно ответил, что просто повторял текст роли. А в сумке, между прочим, была колбаса, еще какая-то банка, потом, как он сам рассказал, немислимой красоты бутылка. Не просто водка, но что-то экзотическое. Я его спрашиваю, что именно он в тот момент повторял. А он и говорит: «Нашу сцену с Бланш, ну, когда я ей про свои килограммы рассказываю. И еще про себя успел подумать, что как же хорошо, что везу продукты, мне непременно надо поправиться для роли, он же весит, мой Митч, двести семь фунтов. Да он просто здоровяк, если легко поднимает Бланш, беря ее за талию. Да и еще сообщает при этом, что она — «как перышко»!»

— Да, Лев, ничуть не удивлюсь, потому как и у нас с тобой творятся очень похожие вещи. Ты иногда улетаешь, наверное, в тот дом, где живет твоя Стелла, я — тоже все вспоминаю про мальчика и все возвращаюсь и возвращаюсь в юность, в школу, где, и правда, был похожий мальчик, которого, как мне казалось, я любила больше всего.

— Это кого же? Пожалуйста, можно узнать?

— Да, давно. И, наверное, неправда. Но он был, послал мне к праздникам открытки, и я ждала его около класса, чтобы поблагодарить.

— Девочка моя, ты все равно осталась такой же милой, открытой всему девочкой. Только с очень сильным стержнем! Надо же, а я не писал тебе открыток, вот ужас!

— Ничего, скоро май, мой день рождения. Прошу

тебя, напиши мне, я так люблю поздравительные открытки!

— Непременно! Что же ты молчала? Вот скрытница!

— Ладно, ты лучше скажи, как там моя сцена со Стеллой? Что-то мне не все нравится, главным образом переход, ну, когда она уже вышла, а ей не признается. У Надежды этот кусок хорошо идет, а мне что-то мешают. Как считаешь?

— Посмотри, какой ритм сцены — динамичный, напряженный. Они обе, и Стелла более — пытаются приглядеться, понять, что за время разлуки произошло, как изменились обе и что это сулит. Ты, когда говоришь: «И, как видишь, по-прежнему ношу со своей красотой, даже теперь, когда увядаю». И помнишь ремарку автора?

— Нет.

— А автор говорит, причем весьма недвусмысленно: «Нервно смеется и смотрит на Стеллу, ожидая возращения». Что за этим? Вот именно, страх! Но она его не желает показывать, напротив, всячески вуалирует. Но он, страх за внешность, за производимое впечатление — уголок в сквозное действие. Ухватись за это, поможет. Более нервно получится.

— А я что, не нервная?

— Ань, ну ты что? Тут не в психике только дело. Она так намучалась, так настрадалась, что любая поддержка даже в виде комплимента — тоже подарок и аванс еще на какой-то период. Нужен ей этот Митч! Но и с ним она флиртует не просто так! Она ждет восхищения. Именно за ним стоит признание, абсолютное приятие и любовь к ней. Ей недостает любви! Она мечется в поисках ее. Что она приехала в эту тьму-таракань? С теми же надеждами. Но не ожидала увидеть сарай и свою дорогую сестру в таком окружении и такой порабощенной. Пойми, почувствуй, ты ждешь любви! — Он вдруг засмеялся, подошел к ней и, как всегда, порывисто обнял. — Но ты же ее нашла, скажи? — Лев рассматривал завитки на висках Ани, гладил ее по го-

лове и все сильнее притягивал к себе. — Дорогая моя, посмотришь, мы сыграем эту вещь, я знаю. За нами столько стоит! И у тебя, и у меня. Целая жизнь. А всего-то прошло шесть лет. Да?

— Не помню, я ничего не люблю считать.

— Это оттого, что сама себе не веришь. Ну ничего, сначала спектакль, потом, глядишь, все образуется с самым главным твоим делом и будет покой и сплошное творчество.

— Мне иногда кажется, я уже вообще ничего не сумею, — горько сказала Анна.

— Это ты брось! Я же слежу за репетициями, за их движением, как ты пробираешься все дальше вглубь, как растешь...

— Как расту?

— И как актриса, и как вживаешься все больше и глубже в роль, как эта Бланш становится тебе подвластной, как она прибирает тебя к себе все больше и больше.

— Лев, скажи, — осторожно начала Анна, слегка отстраняясь, — что важнее, схватить сразу, целиком роль, или — как нас учили — по частям, отдельными кусочками, все больше нанизывая их, все время отыскивая черточки, штришочки характера? Или как? Ты как идешь? Я же вижу, как ты даже дома отдаешься роли?

— Конечно, и дома, ясное дело. Но у каждого свой путь. Мне иногда нужны и дробность, и постепенное схватывание, и вперед, по задачам, от эпизода к эпизоду. Но не всегда. Что-то иногда смещается, и ты видишь полностью абсолютно целостный образ, и тогда — просто восторг от этого понимания целого. А ты?

— А я должна схватить сразу, целиком. Потом все равно пойду привычным путем, по крупницам, по нюансам. Но непременно должна увидеть сперва. И свою Бланш я вижу. Даже походку, пластику...

— Да, я заметил, как ты стала передвигаться, как садишься, как важен для тебя каждый новый наряд. Он — и спасение, и вызов, все так. Но не теряй эту

тонкую линию, ту, где она у тебя целиком. Тогда более точными станут получаться эти переходы от любования и надежды — снова к провалу и неуверенности. Она же как тонкая веточка ивы. Вроде стоит себе, не колышется. Но даже и ветерка еще нет, еще только где-то заколебался воздух, а она уже — вся на изломе. Ива, поняла? Или другое деревце поищи. Ну, не знаю, может, тополь, когда с него начинают лететь пушинки.

— А почему, скажи, почему она выпивает? Что, тоже от страха?

— И это, и еще спиртное — как форма поддержки ее состояния. С ней организм ищет равновесия. Ведь она вполне гармоничная натура, только с какими-то пробоинами. Вот ей и кажется, что виски помогают его удерживать и регулировать, это равновесное состояние.

— А смогла бы она обойтись без него?

— Уже вряд ли. Еще некоторое время назад — да, возможно. Но теперь недаром все заканчивается так, как заканчивается, она действительно на пике. И мой Стэнли довершает ситуацию, ломая ее до конца. Знаешь, бывает, говорят — ах, не жилец он в этом мире. Вот она — не жилец, но только в том мире, в который попадает. А вообще — жилец! И надо играть так, что она выкарабкается, понимаешь? У нее запас природных сил есть, ты только не хорони ее, неинтересно будет играть. Знай, что она справится. Там, далеко, когда-то, но справится. Угу?

— Угу. Ты умница, Лев!

— Ты еще маленькая, ладно, принимается, — нарочито заносчиво ответил Лев.

Они подошли к окну и стали смотреть, как постепенно становится все меньше машин, устанавливается та нежнейшая тишина, которая обволакивает покоем, сулит надежду и при которой хорошо думается, спится, любит — кому как. И они думали, искали свои, только им известные творческие тропочки, которые все ближе подводили бы к роли; потом спали, потом любили или наоборот, но главное, что все это вместе было в их жизни.

Они ездили к дочери Льва, навещали их с теткой, бывали в музеях, много гуляли, но больше всего на свете они любили репетиции, которых ждали, к которым готовились, всякий раз открывая что-то новое для себя.

Александр Владимирович репетировал пьесу, отыскивая всякий раз такие подробности, такие тонкости в характерах, ситуациях, что жизнь на сцене постепенно утрачивала какой-то театральный смысл, становясь истинным и самым что ни на есть настоящим. Для Анны и для ее Бланш он готовил сюрпризы. Каждый день они были разными. Но постепенно такой ход приносил свои результаты: актеры — сущие дети, они уже просто-напросто не могли без ежедневных подарков в виде самых разных вещей: то ассоциация, то какое-то воспоминание, тревожащее, дающее пищу уму и творчеству; то это был весьма вещественный дар в виде яркого шарфа, горжетки, которые он раздобывал в костюмерных залежах и приносил их, снабжая, например, Анну присказками, типа: «Это, надеюсь, вам сегодня поможет». Он не был многословным, но его призы-сюрпризы срабатывали каждый раз очень точно. Но было и нечто другое — тот классический разбор и поиск подтекстов, без которых роль не могла бы стать совершенной.

Однажды он пригласил весь состав, который был занят в пьесе, и стал репетировать парную сцену Стэнли — Бланш.

Мало сказать, что сцена была просто ужасная, она была еще основной в самой пьесе. Еще до всего страшного можно было на что-то надеяться, верить, что Бланш выкарабкается, что ее психика не сломлена настолько, чтобы отправляться в психиатрическую лечебницу. Но вот они, Стэнли и Бланш, остаются одни в то время, когда Стелла находится в роддоме. Непонятно, чего больше в отношении Стэнли — бешенства и злобы от того, что нарушен его привычный уклад жизни и сделала это какая-то фифа, явившаяся неожиданно и совсем не вовремя. Или — помимо звериного инстинк-

та — стремление держать все под своим контролем, где нет хода чужакам, еще и нечто иное, совсем другого толка? Что, если какие-то давно умолкнувшие чувства вдруг проснулись в нем, но не нашли нормального выхода, а безудержно вылились в виде все той же звериной мстительности, защиты своей территории и просто мести? Даже если учесть, что в какой-то мере Бланш нравится этому старшему сержанту в инженерных войсках, этому выродку с душой ублюдка, все равно не поддается никакому логическому объяснению его нападение и насилие над Бланш. Неужели так велика потребность в мести и стремлении сравнять ее с собой? Заносится, кривляется — все это ему не понять, он бесится от одного сознания того, что эта женщина перевернула все устоявшиеся представления об отношениях между мужчиной и женщиной. И он идет на самый мерзкий, самый крайний шаг с яростью и радостью: она не будет больше кичиться своей отдельностью, своей неповторимостью, ее просто смяли, смели! Более всего он не мог простить ей того, что она из другого, непонятного ему мира! Это была главная ее вина перед ним, и именно за это он с ней и посчитался.

Но как же непросто было подступиться к тому, что определяло характер сцены, ее градус, напряженный и доходящий до последних границ возможного! Когда Стэнли, упиваясь своей сверхсилой, чувствуя высшее превосходство, кричит ей: «И все это одно только ваше воображение, чтобы его черт побрал!», он голосом, самой энергией этого натиска прорывал, казалось, стены, потолок репетиционного зала. Этот зычный голос гремел где-то высоко, так, что не занятые в пьесе актеры заглядывали в зал. Он сокрушал все, громил преграды, сотворенные самой жизнью, рушил и палил мосты, он, наконец, сжигал то, что выстраивал и за что боролся. Но уничтожая, он отстаивал и свою территорию, и свой дом-очаг, и образ жизни, который никто не смел нарушать и осуждать.

На все это Бланш успевала только выкрикивать одинокое «О!», и схватка все продолжалась, готовая пе-

рейти к самому крайнему ее проявлению. Надругаться и тем самым сохранить свое я, сохранить в неприкосновенности тыл, дом, приятелей, жену и ту свободу, на которую покусилась эта самая Бланш.

Она делает отчаянные попытки спрятаться, защититься, послать мифическую телеграмму столь же мифическим адресатам, но Стэнли непреклонен: он не упустит своего шанса: он сам произносит страшные слова: «Ну!.. Мы же назначили друг другу это свидание с первой же встречи». То есть финал predetermined, подбитая птичка, белая девушка попала уже в тот самый момент, как только переступила порог этого жилища. И он, и она, оба сознавали, что час расплаты неминуем, и оба шли своими путями к финалу. Только цели у каждого были разные. Он — чтоб отомстить и поставить на место, она — чтоб освободиться от полной безысходности, от греховности, в которой признаться не могла бы никому, даже себе. Но и то, и другое все равно лишено прощения, плата слишком велика. Бланш почти на грани потери рассудка, Стэнли — ставит все на свои места. Кто в выигрыше? Таковых нет!

Чтобы подступиться к Льву, чтобы только крикнуть ему «Не подходите!» Анна в одно мгновение пронеслась по прежней своей жизни, по тем ступеням унижения, которыми шла и шла годы, шла одна, не имея возможности ни поговорить с кем-то, ни разделить те ужасы воспоминаний, обмана и предательства, сквозь которые ее прогоняла судьба, обстоятельства. В одно это мгновение, которое озарилось, просто-таки чиркнуло каким-то светом, синим и зловещим, она окунулась в ту пропасть, на краю которой находилась долгое время. И Лев, этот ее любимый Лев тоже был виноват в том, что с ней произошло и что уже никогда не денется из памяти. Не сотрется, не выветрится, а так и останется сидеть, притаившись в уголке. И нет избавления от этого! Только... только, может быть, вот теперь, сейчас. Сию эту секунду, когда можно все-все выплеснуть и... освободиться! Наконец освободиться! Может быть, даже насовсем.

Б л а н ш. Пропустите... дайте пройти!
С т э н л и. Пройти? Безусловно! Ну!.. что же вы стоите?

Б л а н ш. Отойдите... вон туда.

С т э н л и. Мало вам места?.. не пройдет?

Б л а н ш. Вы загородили дорогу!.. Но я все равно уж как-нибудь да вырвусь отсюда.

С т э н л и. Вы что, думаете. Я покушаюсь на вашу честь? Ха-ха!

Когда Лев-Стэнли схватил ее за руку и притянул к себе, сказав: «Сейчас подумаем... а почему бы, и правда, не побаловаться с вами... что ж, пожалуй, вполне сойдете...», когда он оказался в такой страшной близости, не давая ей пройти, да еще покусьвая кончик языка губами, она закричала так, что казалось, случилось совсем, совсем непоправимое: «Назад! Не подходите. Ни шагу, а то...»

И дальше случилось вовсе страшное: вся борьба закончилась тем, что Стэнли все же поборол ее, как она ни защищалась и ни дралась, как ни кричала и ни взывала, ни угрожала. Все было напрасно, он не смог устоять, он сломил ее.

После этой сцены они оба не смогли даже посмотреть друг на друга, так тяжело было обоим. Молчал и режиссер, и все участники пьесы. Потом Александр Владимирович подошел к ним, постоял, велел отдыхать остальным, а им сказал: «Тратиться — это хорошо, это правильно. Но сегодня было понятно, что вы оба словно избавляетесь от чего-то своего очень личного, что мешало, может быть, не давало дышать. Выхода не давало. Все! Освободились — теперь жестче, техничнее, рациональнее. Иначе никакого здоровья не хватит. — Он посмотрел на Анну, опять помолчал, словно пытался вызнать нечто такое, что и впрямь было в ней скрыто и что только что вылилось наружу. — Аня, молодец. Но и у меня есть новости. Идите отдохните, потом ко мне, в кабинет. Жду. Только пойми, что эта роль — тебе в подарок, она — твое выздоровление, твое освобождение. Идите».

Когда шли по длинному коридору и заговорили наконец, Лев спросил:

— А скажи, пожалуйста, когда и где ты подсмотрела то, за что можно было меня ненавидеть? Не бойся, скажи!

— Прямо ненавидеть! — Аня засмеялась, а сама удивилась прозорливости Льва. — Помнишь, я заглянула однажды в ванну, а ты выдавливал из тюбика пасту. И так медленно. Нудно. В эту секунду я подумала, что вот он момент, пойман для роли!

— Ну, ты хитрюга! Все цепляет! С тобой ухо остро надо, еще чего увидишь?

— Это же в дело, Лев!

— Понятно!

— А у тебя что за чувства были сейчас? — спросила она его.

— Чувства? Задушить хотелось.

— Что, правда?

— Конечно! Столько лет не давала о себе знать, а найти не могу, ужас! Задушу, и все!

— Это непрофессионально!

— Умница! Без тебя знаю. Это я уж заодно сообщаю, чтоб знала, мне тоже было ох... словом, было!

— Интересно, как мы будем играть этот спектакль? Не возненавидим?

— Ерунда! Ищи такие пристройки, чтобы сохранить чувства, но выполнять задачу. Пока же получается. Даже и без зубной пасты.

Они засмеялись, понимая, что все же что-то придется «подкладывать» под свои действия, искать такие приспособления, чтобы взять верный тон, не нарушить целостность образов. И все же смеялись. Надо же, после такой сцены — а все равно было прекрасное настроение: удалось найти, закрепить какие-то важные черточки в характерах своих героев, что-то такое важное поймать, что и радовало!

— Как думаешь, — спросила Анна, — что он хочет нам сказать? — Она имела в виду режиссера. — Не о роли же!

— Наверное, я знаю, но сама услышишь.

— Скажи, скажи! — не унималась Анна.

— Не могу!

— Вот какой, да?

— Представь! Храню тайну.

— Так там еще и тайна?

— А как же!

Они подошли к дверям кабинета и уже собрались войти, как Лев неожиданно приостановился и сказал: «Аня, все будет хорошо, что бы тебе ни сказали, поняла?» Она молча посмотрела на него, и они постучали.

— Входите, садитесь, — сказал Александр Владимирович, явно думая о чем-то своем, что не имело отношения к спектаклю. — Анна Васильевна, — начал он почему-то официально. — Видите ли, мы тут... ну, и Лев, и Кирилл Константинович проработали вашу ситуацию. Она, к счастью, сдвинулась с места. Частично вы уже знаете. Там задержка вот в чем. По американским законам должен быть суд, на нем и вы должны присутствовать. И самое главное теперь для нашей стороны — это добиться экстрадиции вашего экссупруга сюда. И тогда и суд, и все сложности будет решать наша сторона.

Это почти удалось, все дело в сроках. — Он замолчал, глядя в окно, потом словно спохватился и продолжил. — Да, вот еще что. Вы должны будете еще раз посетить одно ведомство, вам уже известное. Ничего сложного, вопросы, подробности.

— Но уже спрашивали, уже все рассказано! — не удержалась Анна.

— Правильно! Но дело-то не простое! И Лев пойдет вместе с вами. Расскажите, что даже брак оформить не можете, правильно я мыслю?

— Конечно! — опередил Лев свою Анну, не желая до времени раскрывать истинное положение вещей.

— Так вот, думаем, все думаем, что к осени, аккурат к первому сентября все должно завершиться.

— Неужели это случится наконец? — не выдержала Анна и заплакала. Сказалось все: усталость, репети-

ция, необходимость играть с человеком, которого любила, и все искать и искать такие черточки, штрихи, которые бы делали роль убедительной, достоверной. Словом, плакала и не могла успокоиться.

— Не надо, — через некоторое время сказал режиссер, — все образуется, вы столько ждали. Потерпите еще немного! Мы с вами! — И он подал Анне воды. — Лучше скажите мне, как себя ощущаете в этой роли? Не трудно? — и он многозначительно посмотрел на Льва.

— Вот, обсуждаем, что да как, из каких сокровенных глубин и тайников запастись ненавистью друг к другу? — усмехнулся Лев. — Ищем, словом. Но — трудно, это точно.

— А знаете, я вам скажу, что любовь таким парам играть еще труднее. Часто получается фальшь.

— Может быть, и так, — ответил Лев, хотя сам думал совсем о другом. — Видите ли, эта роль для меня, например, конечно, на сопротивление.

— Ясное дело! Никто и не спорит. Но, дорогой мой, тут вам театр, и приходится и подлецов, и трусов, и кого хотите, а не только интеллигентов играть! А Стэнли — идите от того, что это просто очень сложная, неуправляемая натура. Не опирайтесь только на его зверство и неотесанность. Ищите такие скрытые пружины, которые сами выведут на эту сложность. У него же тоже не все так безусловно просто. Он, хотя и животное, но со своим воинским уставом. Сводом правил, привычек. И, представьте, любит свою Стеллу! И тут — на тебе! — весь уклад, все привычное летит черт-те куда! Завоеешь, пожалуй. В этом звере попытайтесь отыскать что-то человеческое. Помните, как он в сцене со Стеллой, которая ожидает гостя, Митча, смущается даже, говорит, что Митч ему все равно что брат. Значит, ну хоть что-то в нем есть такое, что примиряет, что можно расширить и истолковать на сцене? Есть, есть! Ищите!

— Я вам больше скажу, — продолжил Лев. — В такие моменты я отрешаюсь от всего: что это моя Анна,

что это моя дорогая Анна. Я вижу то, что могло бы быть. Вот и все. И тогда отступает, рассеивается та сцепка, что нас держит как единое целое, я просто вижу женщину, которая мне мешает. И я иду на все, чтобы унижить ее, сломать до конца. Хотя — кто знает? — иногда мне, то есть ему, Стэнли, кажется, что и она не против. Ведет же она себя в его доме таким образом, что не считается с укладом, привычками, пьет, занимает ванну часами, наряжается, В этом есть что-то такое, что наводит на мысль: а не заигрывает ли она таким вот странным образом с этим Стэнли? Не желает в скрытой, завуалированной форме выгащить из него не просто мужика, но того, кто когда-то надевал шелковую пижаму, еще давно, еще во времена, когда уважение что-то значило для него? Наверное, в подсознании, в самых его глубинах все это есть, присутствует, только не проявляется столь отчетливо.

— И еще, — перебил режиссер, — зачем он это делает? Только ли из похоти, вдруг обуявшей его? Или другое здесь? Ну, унижить — это понятно. А что еще? Знаете, я иногда думаю, что таким невероятным образом он хочет даже приблизить ее, даже излечить от того, чем она, несомненно, больна: невероятным, до болезненности желанием нравиться, производить впечатление. Но и этому есть объяснение. Зачем нравиться? Для самоутверждения, для возвращения былого, утраченного чувства самоуважения, вообще — для возвращения. Утрачен дом, эта их со Стеллой «Мечта», иллюзии юности, любовь, в памяти — лишь смерти и утраты. Нужен мощный стимул, своего рода допинг, и не только в виде спиртного, но более сильный и привлекательный, который не разрушает, а, напротив, собирает ее в некое целое существо. Отсюда флирт с Митчем, да вообще почти со всеми. Она флиртует, отказывая, понимаете? Тут такой сложный ход. Ее «нет» означает на самом деле «да». Но к этому надо прийти еще. Анна, — он взглянул на женщину, которая перестала плакать и только внимательно вслушивалась в сказанное режиссером, — в вас так много того, что вы и сами могли бы

с трудом обнаружить в себе, отыскать. Не бойтесь быть беззащитной. Взглядом, жестом, интонацией ищите поддержки, укрепляйтесь в том, что все, что вы и ваша Бланш, делает, есть неистребимое женское начало: нравиться, завоевывать. Что вы думаете, она старушка. На отдых прикатила? Вовсе нет! Это ее шанс, еще один шанс в жизни, и она его использует на все сто! И привирает, и развешивает украшения, и пудрится — все для того же — нравиться, отвоевать еще хоть немного из той жизни, что осталась. Помните, как она поет? Это рефреном по ее жизни звучит:

Все бы стало настоящим.
Если б верил ты в меня.

Утрачена точка опоры, все пласты, фундаменты сдвинуты, и дом сестры Стеллы — единственная реальная возможность хоть как-то осесть, выдержать, зацепиться. Но не только физически, не только в смысле еды и питья. У нее более важная миссия, и ей она никогда не изменит. Даже в психушке, уверяю вас.

Когда Лев с Анной покинули театр, то решили пройти не привычным путем, а сделать круг. Уже подходя к любимому памятнику, они заметили того же мальчишку, который им встретился несколько месяцев назад.

— Что же ты не пришел? — подходя к нему, спросил Лев.

Парень замялся, но не убежал, и попытки даже не сделал, а, наоборот, очень заинтересованно спросил:

— А я приходил, только не позвали никого.

— Когда же?

— А вот и сразу почти. Ну, там, через сколько-то, не помню. Но, честно, приходил. А вы — артист? — чуть ли не восхищенно спросил он.

— Есть такое дело. Сколько же тебе лет? — снова задал вопрос Лев.

— У меня и метрики есть, и дом. Только я там не всегда живу.

— Ты же говорил, что в школу ходишь!

— Ну! Иногда хожу, когда мать рубаху даст чистую. Я математику уважаю. Хотите, любые числа сложу, умножу? Все сосчитаю.

— Давай! Сколько будет... ну, скажем, триста восемь умножить на двести сорок?

— Так, так... 76 тысяч 320 — без промедления ответил мальчишка.

— Здорово! — похвалил Лев. — Но это, брат, не самая важная в жизни хитрость. Ты скажи лучше, кем быть собираешься? Вообще быть?!

— А я и так есть! — парировал парень. — Я тут не всегда, не думайте, мне нужно насобирать на кое-что, на важное.

— На что же?

— Так, для подсчетов.

— Как называется?

— Машинка такая. И еще много листов нужно. Я, как наберу немного, сразу учиться, не думайте. А к вам можно прийти? Вы, правда, артист?

— Да, мы актеры, — ответила за обоих Анна. — Приходи, у нас найдется чем заняться. Никогда в монтажном цехе не был? А свет как ставят, знаешь? Понятно. Послезавтра и приходи, да, Лева? — она посмотрела на Льва.

— Конечно, дадим ему, что посчитать. А имя твое как?

— Я — Клим! — гордо заявил паренек.

— А про писателя Горького слышал?

— А как же! Моя маманя меня так и назвала, что его сильно уважала. У него и был этот Клим. Но я его не читал, — признался он.

— А пора бы! — укорил Лев. — Горького уже положено в этом возрасте прочитать. Тебе 13? 14?

— Хм, — парень провел нечистой ладонью по лицу. — Мне двенадцать. Вот, в августе будет.

— Значит, пока одиннадцать, стало быть, не все потеряно. С кем дружишь?

— Я, когда бумага есть, ни с кем не дружу, пишу сразу, считаю, книжки такие достал — обалдеть!

— Ладно, Клим, приходи, спросишь Льва Леонидовича. Не подведешь?

— А то! — бодро ответил мальчишка и остался смотреть вслед удаляющимся людям, которые почему-то стали разговаривать с ним, да еще и проверили, как он считает. — Это я могу, мне бы ту машинку да бумаги побольше, — вздохнул парень, тоже удаляясь от этого места, но в другую сторону.

А через несколько дней Анна со Львом отправились в уже знакомое ведомство на проспекте почти в центре города, который из-за своей замусоренности, большого числа обитающих там пьющих граждан вовсе не тянул на звание проспекта. Да и само здание тоже не вызывало радужных чувств, такое оно было серое, хмурое, как почти осенние утра в городе, когда дождь еще не начался, а небо только готовится к грозе, все напряглось, сдвинуло свои серые облака-брови и так и ждет — вот-вот грянет!

Им, как и положено, выдали пропуска, указали, куда идти, и они вскоре оказались в кабинете, где за большим, тоже, как водится, столом, сидел прямо-таки из кино большой начальник. Большой, скорее всего, потому, что он не собирался вставать, приветствовать их, а так и продолжал тихо писать что-то за своим столом. Они некоторое время молча осматривались, затем все же хозяин кабинета оторвался от своих бумаг, назвал Анну по имени-отчеству и велел проходить, садиться. Вблизи он уже не казался таким грозным, напротив, на них смотрел вполне ухоженный человек с лицом скорее скорбным, нежели злым или суровым. Он что-то полистал, снова взглянул на пришедших и спросил:

— Надеюсь, вам понятно, что такие дела скоро не делаются.

— Наверное, — ответил осторожно Лев, пока Анна собиралась с духом.

— Видите ли, много времени прошло. С одной стороны, это и ничего даже, на нас работает, — добавил

он, — а с другой — многое утеряно, в смысле информации, налаженных связей. Но мы, понятное дело, не дремали, тоже располагаем кое-какими сведениями.

— Скажите, пожалуйста, — решила Анна...

— Да, я понимаю, вы о дочке. С ней все в порядке.

— Но когда же?...

— Давайте по порядку. Сперва... — он сделал паузу.

— Сперва мы должны заполучить этого вашего Олега. С этим не все так просто. Но дело сдвинулось, и мы теперь не в той ситуации, что три-четыре месяца назад, не говоря уже о трех годах или более. Мы получили четкие подтверждения того, что через две недели он будет здесь. И это — первое. Второе — будет суд. Третье — и главное — встреча с дочкой.. Правильно я понимаю ситуацию?

— Не совсем, — замялась Анна.

— А что же?

— Дело в том... в том, что мы так и не были женами. И у дочери не его фамилия, она так и осталась на моей. Кремнёва она. Более того... Нет, об этом не теперь. Как ему все так удалось, а главное — зачем? Не понимаю.

— Так, ясно. Вот в этом-то и заключено самое важное — это фактически похищение ребенка. И тут не важно, удочерял, нет ли. Много наворотил. Передача важных документов, обманом, введением в заблуждение вывезен ребенок. Необеспечение вас жильем, материальными средствами.

И чтобы все это вместе сработало, нужно, помимо времени, еще то, что как бы между строк, между приказами. Словом, почти, как у вас в театре. Подтекст называется. С ним мы сейчас и работаем.

— Скажите, что может быть нужно от нас? — задал вопрос Лев. — Что мы можем сделать, кроме того, чтобы ждать?

— Что? — хозяин кабинета посмотрел куда-то вперед, мимо посетителей, размял сигарету, закурил, потом продолжил. — Нужно терпение — это раз, второе — вера, что мы не сидим сложа погоны — он усмехнулся,

— а третье... третье — вот что. Мое слово офицера, что ваша дочь Пелагея пойдет в школу в нашей стране, в нашем городе, на ближайшей от вас улице. Надеюсь, мы все хотим именно этого?

— Благодарю вас, — сказал Лев, в то время как Анна не могла вымолвить ни слова. И все же она собралась с духом и спросила:

— Скажите, очень вас прошу, с девочкой, с дочерью моей все в порядке? Здорова ли она? И не следует ли мне полететь туда?

— Нет, это лишнее, все сделаем и так. Один к вам вопрос. Он, уезжая, уверял вас, что через какое-то время заберет к себе, что семья соединится? И известен ли вам был хоть какой-то адрес?

— Уверял, говорил, что ненадолго. А адрес... Получала письмо из Италии, но, оказывается, он и не жил там, мне же говорил об Америке. Нет, так его и не было, адреса. Соседи, знакомые говорили, что он совсем не туда поехал, что с ним еще была женщина...

— Знаем.

— Его будут судить? — спросила Анна. — Он что, предатель?

— Прежде всего он не мужик. Так врать — дело мерзкое. Второе. Ну, может, всего и не стоит говорить, но секреты страны он не очень-то и имел. Не стратегические, конечно, ничем таким не владел, но есть поступки в сфере морально-нравственной. Вам, наверное, удивительно, что в этих стенах о таком говорят? Но — тем не менее, это так. Сейчас какие годы? Вот именно, не двадцать и даже не десять лет назад! Все, давайте пропуска. А совсем в завершение скажу, что мне надо было понять ваш настрой, вашу готовность и еще не стремление наказать и все в таком духе, но... Словом, ждите. Спасибо вашим коллегам, их ходатайства, обращения тоже не были напрасными. Говорят, премьера готовится у вас?

— Да, очень скоро уже. Надеемся, что как раз к сентябрю и будет, — ответил Лев. — Придете? Приглашаем.

— Ну, раз приглашаете... Ладно, доживем, как говорится. До свидания.

Еще минута... Видите ли, мы давно в курсе этого события. Но, повторю, время было не то. Не то время! — повторил он. — Да и вы особой настойчивости не проявляли. Заслуга, очевидно, Льва Леонидовича. Вернуть человека в страну мы можем, а вот сделать это без особого риска, без осложнений для вас, для репутации страны — задача посложней будет. Не числится он в настоящих шпионах, вот что! Так, по мелочи! Но и их хватит на то, чтобы припаять ему кое-что.

— Его что же, посадят? — спросила Анна.

— Это не нам и не здесь решать, — был ответ.

Попрощались, возвратились домой, и вдруг Анна попросила.

— А как ты отнесешься к тому, что я побуду одна в той своей старой коммуналке? Хочется пройти самой некоторые сцены. Вообще погрузиться в какую-то такую память и тишину, ну, не знаю...

— Прямо сегодня? — почему-то задал нелепый вопрос Лев, который вообще не желал расставаться с Анной ни в какое время: ни днем ни ночью.

— Ты ничего не думай, я просто хочу предоставить себя себе самой. Смешно?

— Не очень, — погрузился Лев. — Может, еще успеем куда-нибудь сходить? На концерт или... — Он не закончил фразы, так как Аня подошла, прильнула к нему и очень спокойно сказала:

— Сегодня, я чувствую, так надо.

— А если и потом это потребуется тебе, и закрепится?

— Ну и что! Ничего страшного! Я же не навсегда!

— Аня, у нас так много места, репетируй, где хочешь.

— Нет, Лев, я пойду. Мне именно сегодня нужно.

— Подчиняюсь. Провожу?

— Нет, я сама.

Аня вышла из красивого подъезда, огляделась и направилась пешком в старенький свой дом, который

пережил все: войну, эвакуацию, отсутствие хозяйки, а вернее, ее изгнание. Ей очень хотелось прикоснуться к тому прежнему, давно утраченному, что все-таки в своей физической ипостаси еще жило, дышало и, стало быть, помнило обо всем. О многом, скорее. Надо же, именно здесь она родилась, здесь жили ее родители, и этот дом ждал ее несмотря ни на что. Просто ждал. А те люди, что не желали пускать ее в ее собственную комнату, давно были выселены, оставалась одна старенькая женщина в соседней комнате, другие вообще были закрыты. А комната Ани, побеленная, чистая, со свежими обоями, просто-таки ластилась к ней, ожидая, что к ней прикоснутся, дотронутся до стен и насытят ароматом своего присутствия все пространство вокруг.

«Почему так бывает? — думала Аня. — Живешь, живешь, утрачиваешь что-то, но вот притронешься к старому, проведешь рукой по памяти, и все восстановится: и запахи родные, и потребность что-то делать, но непременно хорошее, нужное, как учили в те времена, когда была школа, а потом институт. Неужели надо было пройти этот адский путь, чтобы иметь возможность вот так спокойно присесть на свою кроватку, подойти к окну, которое уже успело запылиться — все-таки центр! — и понять, что память прошлого таит, скрывает нечто такое, что ни под какими новыми слоями краски не спрятать и не отскоблить. Действительно, что же такое родина? — впервые, наверное, подумала Аня. — Неужели это та калитка в Ташкенте и вот эта комната, которая еще много-много лет будет стоять и хранить воспоминания о событиях, встречах, рождениях, которые прошли сквозь нее?!»

Она подошла к столу, потрогала его поверхность без скатерти, увидела те царапины и срезы, которые тоже хранили верность утраченным годам и врезались в саму поверхность стола с такой лихой крепостью, что становилось понятно: он простоит, как и сам дом, еще много-много времени. Старая бутылка, так и оставшаяся еще из далекой жизни, чудом уцелевшая, переко-

чевала на стол, за ней бокальчик сиреневого цвета, тоже из давнишней жизни, и Анна поднесла к носу сосуд, хотя он и был пуст. Принюхалась, убедилась, что слабый запах какого-то неведомого напитка еще сохранился, попробовала что-то выкапать, но ничего не получилось, и она так и осталась стоять с пустым бокалом и пустой емкостью. Никакой потребности вспомнить то, чем она жила несколько лет, когда встречалась со своими приятелями в арке ворот, не было, как не было ни малейшего желания действительно что-то выпить. С момента встречи со Львом эта потребность просто-напросто испарилась, и даже искушение попробовать никогда не посещало ее. Она стояла, держа свой пустой стаканчик и думала лишь о том, что всего, наверное, можно было бы избежать, не сложись жизнь так, как она сложилась. Если бы не было истории в театре, предательства главного, если бы не ее бесконечная вера в чистоту людских помыслов и отношений. «Неужели я до сих пор не поумнела? — спрашивала она себя и понимала, что ответ будет утвердительный. — Неужели переход в пятый или в какой там класс — дело столь запущенное и зряшное, что взросление и реальная оценка событий — дело недостижимое? Жаль!» — произнесла она уже вслух и поставила на стол атрибуты давешней праздничной жизни. Или праздничного события, чьего-то дня рождения, помолвки, да мало ли чего?

Как-то так получилось, что она нашла старую тетрадку с почти желтыми уже страничками, заполнены были только две, на которых значились какие-то денежные подсчеты, столбиком умноженные числа, а все остальные были пустыми. И само собой стали складываться строчки.

Рассветным сном закончится, петляясь, ночь,
Сцепив объятья, враз отяжелеет,
А синяя печаль — терпеть уже невмочь —
Так память о былом посажелеет.

И столь же синий привкус деревянный
Сырых полов и полумокрых стен
Начнет играть в душе свою простую гамму,
По капле возвращая былль измен.

И возвратится полудремель сумрак,
Что наспех пробежит по крышам дня,
И лучик солнца будет так же юрок,
И я прожду опять надежду зря.

Вот так же испуив заранее
И пагубность страстей, и вольный дух,
Я вдруг увижу, что не заметил ранее,
И в упоеньи дня рассыпется испуг,

Что стягивал, сжимал запястья
На кистях рук, на памяти и на былом.
Как хочется испить полрюмки счастья,
И не заикливаться — что потом?

Потом — мечта, и никуда не деться,
Потом — лишь сон и сладкая постель,
Потом — лишь ледяной воды напиток,
И ждать полжизни всего двух гостей!

Она впервые подумала, что в те редкие минуты, которые посвящались стихам, почему-то часто хотелось писать от мужского лица. Отчего это, она толком не могла объяснить. Понимала лишь, что исключительно в женском ей тесно. Так и хочется сказать слова от имени просто человека, а он, человек, всегда мужского рода. Или иначе: может быть, это вид укрывательства, какой-нибудь там сублимации, когда свое, исконно женское начало, не хочется обнаруживать. Может быть!

Она смотрела сквозь тюлевые занавески, видела шагающих прохожих и вдруг внезапная мысль обожгла ее: Ташкент, как же хочется туда, увидеть этот город, где все только начиналось, где было счастье, безмятежность и полное сознание своей нужности, какого-то

особого, или нет, просто замечательного предназначения. Туда, где были живы родители, где жила тетя Сима и где вишни уже в мае так распяляли детское воображение, что они едва дожидались вечера, чтобы броситься в сады своих же соседей и срывать их толстую спелую мякоть, отправляя в рот горстями. Потом перебегать к другому дереву и там обрывать незрелые еще яблоки, прекрасно понимая, что может последовать потом, но искушение было столь сильным, что запреты отодвигались в сторону, а мысли о больных животах и вовсе не посещали. Было просто хорошо, даже восхитительно! И уже потом, учась в институте, они все еще продолжали осуществлять свои набеге, но уже, конечно, по-другому, уже немного куражась и понимая, как им может влететь. Но все равно шли и грызли незрелые плоды яблок, урюка, а уж вишни наедались до отвала. И она была вкусней и ярче, листочки зеленей и веточки привлекательней, чем любые ее горы на Алайском базаре. Неужели и у нее, как и у ее героини, тоже была «Мечта», которая давно закончилась, а ее обитатели либо умерли, либо разъехались, либо просто потерялись. Так вот, значит, что питало ее Бланш, откуда она черпала иссекающие силы, за что цеплялась мыслями и памятью! Особенно памятью. То желая истребить ее, совсем с ней покончить, то, напротив, удержать, вспомнить, закрепить! А-у, дорогая мечта юности, неужели не суждено встретить тебя снова и хотя бы побыть немного рядом?

Она задернула занавеску, погасила свет и незаметно выскользнула из комнаты. А когда оказалась на улице, уже не было никаких сомнений: только туда, к ее дорогому Льву, который — она была уверена в этом — непременно дожидается ее.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

БЕЛОЕ ДЕРЕВО

И сон, легкий и безмятежный, все больше накрывал человека, так и оставшегося вблизи ручья. Оттуда так же мерно текла вода, ее было едва слышно, звук этот убаюкивал, и, казалось, сама весна в своей неотразимой наступательности вот-вот готова была выплеснуться сквозь маленькое отверстие, похожее на игольное ушко. Конечно, весна, ее размах, значение — а тут крошечное отверстие, которое, тем не менее, все же оставляет надежду не пропасть от жажды, вообще не пропасть, ибо живительная сила воды, ее неутолимая страсть пробиваться сквозь любое ушко, любое отверстие дает силы. Да просто чтобы жить, знать, что весна, ее приход не за горами и что надежда не просто не умирает, она остается всегда, сохраняя пряный вкус искушения, веры и потребности любить. Чего бы это ни стоило!

Бланш — это белое. Белый цвет, белый символ, может быть, запах. Вообще нечто такое, что имеет отношение к любому из цветов, но все же остающийся особнячком, совсем-совсем отдельно. И как хорошо, что это слово не означает, например, синий, или — того хуже — фиолетовый. Или красный. Белый — вот самое важное! А с белым не страшно ничего, никакие синие цветы известного театра, обои в квартире у Киша, бесконечная его повторяемость во всех и всяческих проявлениях, куда бы ты ни попадал. А тут — все иначе. Нет больше этого синего, один белый! Но круг-то не пройден, еще идти и идти, и кажется, что конца ему не будет никогда. Еще столько предстоит: и премьеры, и выход фильма, и ожидание приезда Пелагеи, и просто сама жизнь. Ее ведь надо как-то проживать! Но в синем таилась какая-то замкнутость и неразрывность. В белом же есть свои промежутки, более светлые линии, он не выглядит таким непреодолимым. А, может быть, всякий человек проходит тоже круг, но только

своего определенного цвета? У кого-то он — желтый, и человек реагирует именно на этот цвет, у кого-то — ярко-красный, и он и носит красное, и выделяет его, и осознает, что только таким, именно красным маршрутом пробивается или пролетает по жизни. А то, что ей, Анне Васильевне Кремнёвой, соответствует белый и это откровение родилось совсем-совсем недавно, озадачивает. Даже пока не радуется, а просто просится осмыслить и понять, почему столько времени именно синий буквально преследовал ее, а теперь вдруг взял и возник другой — белый?!

И имя героини — все это не просто так. И цвет обоев, общий тон комнаты в ее старенькой коммуналке — отнюдь не того тревожного тона, а белый. Ура! Ну как уловить все оттенки смысла, которыми наполнена ее Бланш? Как передать ее нервность и не впасть в истерику? Как сделать так, наконец, что ощущение продолжения жизни, ее совсем не конечность должны проступать в ее облике, в образе, который так хочется сыграть? Как сделать так, чтобы верилось: она не погибнет в этой психушке, она еще отыщет свою мечту? «Мечту»! А, может, и не стоит таким образом строить роль, показать как раз ее трагический уход, связать его с невозможностью дальнейшего? Вообще дальнейшего: жизни, любви, надежд? И главное — веры.

Как бы то ни было, но что-то такое схватилось. Не в смысле логики, точного разбора и анализа, но такого хрупкого и неподдающегося описанию, что имеет прямое отношение к ауре образа, настроению, тому тону, о котором когда-то, она помнила это, говорил еще Чехов. Замечательный педагог по русской литературе, Ирина Григорьевна, рассказывала, что Чехов сетовал на отсутствие порой понимания своего Треплева в театре и говорил, что нужно уловить верный тон, поймать его. Это точно, как точно! И ей показалось, может быть, на одно мгновение, что она уловила особенность Бланш, не прописанную в тексте. Ее походку, пластику, жест, движение головы, например, то, как она часто мнет в руках какой-то платочек с круже-

вами белого цвета. Это характерное движение руками выдает ее нервозность как раз. Еще она любит шляпы, их может быть две, и она примеряет их, оставляя на голове даже дома. Что-то в этом есть. Эти бесконечные обертывания во что-то, попытка скрыть, спрятать истинное. Чтобы никто не смог пробраться к ней настоящей, потому что ей не хочется, чтобы окружающие знали и ее настрой, и смятение, и опасение, что что-то страшное может раскрыться. Это страшное отчасти проговаривается и связано с прошлым. С тем мальчиком. А другое, более потаенное... нет, о нем молчит. Это болезнь, ее проявления, ее проступающие признаки, которые не хочется тоже обнаруживать.

Ах, Бланш, ну что в тебе такого, что кружится голова от насыщенности, от таких подробностей, сколочков характера, которыми обрамлена роль?! Непременно, непременно надо отыскать эти бесконечные шлейфы прошлого, в которых она постоянно запутывается, отыскать ту хрупкую, изломанную линию, на которой выстраивается действие. Увидеть и запечатлеть, наконец, тот белый цвет, в который погружена она сама, пытаясь и мир окружающий сделать почти таким же: светлым и прозрачным.

Не успела она пройти и несколько метров, как увидела знакомую фигуру: точно, это был Киш, с которым с момента их переезда они не встречались. Он совершенно иначе выглядел, казался ухоженным и даже улыбался. Однако в руках по-прежнему держал все те же палочки, предназначения которым Анна так и не узнала.

— Киш, ты ли это? — в волнении спросила она.

Он слегка растерялся, видимо, тоже не сразу узнавая в ней прежнюю Анну, которую знал на своем чердаке, остановился в нерешительности и спросил в свою очередь.

— Аня, ты, что ли? И не узнать. Что случилось-то?

— Да ничего, Киш, ничего не случилось, просто вернулась к прежней своей жизни, той, в которой вы меня с Нелей не знали. Вот, живу теперь.

— А где? Есть где?

— А как же! — усмехнулась Анна, а сама только и дожидалась того, чтобы поскорее спросить о том, что занимало ее очень давно.

— Что, замуж, что ли, пошла? — как-то странно задал вопрос мужчина с тремя палочками.

— И замуж тоже, — снова весело ответила Анна.

— Выходит, зря ты тогда так страдала?

— Зря, Киш, ничего, как видно, не бывает. И страдала, и ждала, и... всякое, словом. Даже вспоминать не хочется.

— А о нас вспоминаешь?

— А как же! Как Неля-то? Здорова?

Мужчина снова как-то странно хмыкнул, потрогал свои палочки и похвастал.

— Неля у меня теперь важный товарищ. В трамвайном депо работает, это тебе не фунт кишмиша.

— Изюма, — поправила Аня.

— Нет, кишмиша, — настоял на своем Киш. — Она всей водительской братией руководит. Ты и не знала: а у нее и образование есть, и все такое, в смысле ума. Просто квартира — вещь серьезная. Как получили, так и жить захотелось. Смекаешь?

— А как же! — согласилась Анна. — Ты вот лучше открой свою тайну, места себе не нахожу, — все также смешливо спросила Анна. — Эти твои палочки, они зачем?

Киш слегка нахмурился, помолчал, потрогал их снова и нехотя ответил.

— Зачем-зачем? У каждого свое занятие в жизни. Вот и мне они нужны.

— Но кому они потом достаются? Ведь не все же ты себе оставляешь?

— Не все. По частям.

— Как это?

— А так. Есть у нас далеко под Ленинградом маленькая хибарка. Езжу иной раз туда, по частям мастерю заборчик. Но с выдумкой, не простой какой, а выгоченный весь, сама видела, какие они, палочки!

— Я-то видела. Но почему в такую даль надо ездить, чтобы привозить, обтачивать, стругать, готовить, а потом снова тащить их за город?

— Есть резон, есть, только он не всем понятный. Вот Неля моя, она понимает. Знает, что без заботы человек скисает. И сама иной раз посылает меня. «Засиделся, — говорит, — беги за своими прутьями!»

— Ужас! Нет, я в смысле, что понять невозможно, чего человеческой душе требуется. Кому палки строгать и вести их за тридевять земель, кому еще что... — не договорила Анна, так как не хотела продолжать щекотливую тему.

— Ты, Анют, все чувствами живешь. Может, так и надо, не знаю. А у меня своя мечта есть. Я такой забор когда-нибудь отлажу — загляденье будет! Приедешь?

— Конечно, а как же! — выпалила Анна, не очень понимая, говорить ли Кишу, что нового случилось в ее жизни, где работает и кого любит. И поняла, что ничего этого не нужно, пусть старое останется в старой же жизни и возврата к ней не будет никогда.

Они простились, и Анна чуть ли не бегом побежала к своему дому. Лев открыл дверь расстроенный, было видно, что он не отошел от Аниного ухода.

— Лев, милый, я, кажется, поняла свою Бланш! — воскликнула Анна.

— Ты вернулась? — невпопад спросил Лев.

— Конечно, да что с тобой? Меня не было-то всего несколько часов. Но ты не представляешь, как они мне помогли!

— Ты теперь всегда будешь делать эти вылазки, чтобы что-то понять?

— Успокойся, не всегда, только изредка. Крайне редко и по чуть-чуть, — засмеялась Анна, но Лев никак не мог отойти от своего настроения.

— Не грусти, Левушка, мы с тобой такое сыграем! И вообще!..

— Что?

— А то, что ты должен видеть во мне кого? Правильно, разрушительницу привычного уклада жизни,

нахлебницу, ворвавшуюся в дом как ледяная глыба. Но я, и правда, ведь ворвалась, скажи! И сломала, и что-то напугала, и, — она снова весело засмеялась, — вон, прибила не на том месте неизвестного происхождения репродукцию. При твоих-то картинах и строгости интерьера! Все, все вверх дном! Только что не пью и не ношу дома шляпки То ли еще будет?!

Лев смотрел, как она кружится, напевая какой-то мотивчик, и сердце щемило от невыразимой радости: неужели он и, правда, нашел свою Анну?! И это она кружится у него по дому, поет, и кажется, не было разлуки, переездов, скитаний, утрат, а только она, ее кружение и ожидание чего-то большего. Он сел в кресло, схватившись рукой за сердце.

— Левушка, что с тобой, что? Плохо? Тебе плохо? — Она заметалась, потом побежала к телефону, вызвала скорую, а потом держала его руку, понимала, что пульс зашкаливает, и про себя думала, что больше никогда не оставит его, не отправится в свое коммунальное изгнание и не заставит его так страдать.

Машины не было долго, пришлось звонить повторно, но когда, наконец, пришел врач с медсестрой, Анна поняла, что дело плохо: Лев дышал с трудом, а сама она была скована невероятным напряжением ожидания: что будет? Послушав сердце, врач велел собрать необходимое, чтобы отправляться в больницу.

— Что с ним? — спросила Анна, и еще путаясь, стала сбивчиво говорить, что он — заслуженный человек и что его, может быть, смогут отправить в хорошую больницу.

— Да, я узнал его, — ответил доктор, который был сдержан и внимателен, и было почему-то понятно, что он знает, что надо делать, а значит, слушаться его. — Скорее всего, не инфаркт, приступ стенокардии. Жаловался раньше? — снова спросил он и велел сестре приготовить необходимые ампулы для укола.

— Что еще надо? Может быть, чаю? — не унималась Анна.

— Нет, только приготовьте вещи, самое необходи-

мое. Вот, ритм уже лучше. Сейчас должно совсем полегчать. Так как, прежде-то было что-то подобное?

— Да нет, не жаловался, — ответила Анна, а сама вдруг вспомнила, как однажды, еще до Нового года, когда они шли по улице, он внезапно остановился и притронулся рукой к сердцу. Она еще тогда отметила, что это не просто жест, что его что-то беспокоило. И она спросила, все ли в порядке. Он ответил, правда, через паузу, что все, нечего и беспокоиться.

Доктор сказал, что самому идти не следует и что водитель поможет, носилки в машине. Побежали вниз, все организовали, спустили Льва к машине, все помогли и поехали.

Время было такое, что проскочили довольно быстро по улицам и уже через десять минут были у ворот, где их тут же и пропустили. Аня все замечала, не упускала ни одной детали, отметила, что и врач к ним вышел, как только приехали. Фамилию узнали, Льва — тоже, переложили на каталку и отправили в палату, еще добавив, что состояние, к счастью, не требует реанимации, что подтвердилось и на ЭКГ.

Анне посоветовали отправляться домой, а приехавший доктор на скорой даже предложил довезти ее до дома, но она все еще не была готова уйти, еще надеялась, что увидит Льва, побудет с ним. Но время, однако, было совсем позднее, она только испросила разрешения дойти до палаты и попрощаться. Что ж, ей позволили, она снова увидела Льва и смогла поговорить немного. Ему явно стало получше, капельницу уже зарядили, все действовали спокойно и оперативно одновременно.

Она под села на самый краешек, придвинула свою руку к его голове, погладила и спросила.

— Ты меня слышишь?

Лев открыл глаза, попытался улыбнуться и сказал: «Иди, все хорошо, уже лучше».

— Что же ты ничего не говорил, скрытнич?

— А нечего было. Почти нечего, — все же добавил он и еще раз попросил Анну, чтобы шла домой.

Она, наконец, оторвалась от его руки, погладила ее молча, долго смотрела на него и тихо совсем сказала.

— Хорошо веди себя, не более, прошу тебя. Ты же не будешь, правда?

— Конечно, — подтвердил Лев, и Анна оторвалась от него, все отходила и отходила спиной и, наконец, совсем вышла.

В приемном отделении врач скорой ее ждал, как и обещал. Поехали, и она молчала, не могла говорить, расспрашивать и только думала о том, что скорей бы завтрашний день, когда можно будет прийти к нему.

— Он перегрузил сердце, скорее всего, — вдруг услышала она. — Покой, только он один теперь и нужен вашему Платову, — добавил доктор, и Анна кивнула и снова подумала, что доктор прав, и что все события последнего времени сказались, и вот вышло так, как вышло, что с этим теперь поделаешь! — Вы держитесь, все обойдется, я видел кардиограмму. Сами выспитесь, вы ему нужны, красивая и уверенная. Как всегда, как раньше.

Откуда мог знать доктор, какая она была всегда или раньше, Аня не знала, как не знала и того, что этот доктор когда-то видел ее в той самой больнице, где она лежала несколько лет назад. Но она этого уже не помнила, а думала только о своем Левушке и о том еще, что все теперь репетиции, все накопления самого сложного внутреннего порядка будет собирать исключительно в их доме, не покидая его, не оставляя своего Льва одного. Только Шух, неизменно внимательно наблюдающий за всем, что происходило в доме, заметил, что что-то не так. А он был весьма пристрастен ко всем переменам, что в нем случались. И в такие минуты он не привередничал, но и не становился надоедливым, а очень тактично уходил в тень. Вот как теперь примерно.

Оставшись в доме, отметив деликатность главного его обитателя, Шууха, Анна впервые подумала о том, что привычки ее Льва, распорядок дня, часы, когда он уходит в свою комнату, чтобы поработать, а также

другие маленькие приметы особенной, приватной жизни человека, были ей подчас не то что неведомы, но воспринимались, как само собой разумеющееся. Ну, наливает он по утрам стакан воды перед завтраком, выпивает примерно за час до завтрака, — ну, и что?! А, стало быть, был у него в его сознании свой план, свое видение жизни. Конечно, как без этого! Вот странно, он никогда не говорил ей, что все, оставьте его в покое, у него работа. Нет, всегда эти и уходы в комнату, и в себя сопровождалось корректным напоминанием об имеющейся у него своей территории. Но об этом никогда не говорилось, не указывалось на чье-то место, он просто шел и работал. Это теперь она стоит и думает, как же замечательно он все проделывал, а на самом-то деле он, скорее всего, и не думал о том, что в такой-то момент уходит на свою территорию и просит не нарушать его границ.

Она подошла, взяла в руки тот стакан, что всегда стоял на кухонном столе, подержала его в руке, понюхала отчего-то и осторожно вернула на место. Надо же, выпивал каждый день свои триста или сколько-то грамм, никогда не отпрашивался в театр, чтобы побыть одному. Интересно, когда и как он работал? Вот так вот ходил, ел, прибывал гвозди иногда, а в то же самое время высматривал своего Стэнли, нащупывал характер, нанизывал привычки. А потом они садились, ели жареную картошку и разговаривали о театре, о каком-нибудь спектакле, который видели оба, просто молчали и думали — каждый о своем. А в это время... Вот, именно в это самое время совершалось нечто такое, что потом попадало на сцену в качестве какой-нибудь находки, точной интонации, жеста, поворота головы. И как это актеры умудряются жить и вместе с тем создавать параллельно этой самой жизни другую? Жизнь другую, характер другой, взгляд на эту жизнь иной? Как? Кто бы знал!

Ей показалось, что в этом движении со стаканом есть что-то и от ее Бланш. В особенности, когда она находится дома одна или думает, что одна. Тогда она

дает волю не чувствам, нет, но какому-то озорному поведению, проступают те черты, те особенности ее живой, беспечной натуры, которые на людях скрывались, или ее принуждали к тому, чтобы она вела себя по-другому. Как удивительно, как мы ведем себя, когда находимся без посторонних глаз! Что-то открывается такое, что позволяет сбрасывать с себя лишнее, словно платье или давящую заколку на голове. Наверное, даже пластика тела становится иной, движения рук, ног, всего тела. Она вспомнила, как сидела однажды на прием к врачу, никого перед ней и за ней не было, и вдруг стал приближаться человек, нормальный такой дяденька. И она тут же сменила позу, только потом уже осознав это. Не раскрывать до времени своего я — вот, наверное, привилегия находящегося в толпе человека. А когда он — сам по себе, совершенно один — ну, это совсем другое дело! И проявляется это совсем не в том, что резко меняется характер поведения, нет, он становится иным именно в мелочах, деталях, тех крупицах, что и отличают жизнь личную, приватную.

И только театр дает возможность по своему предназначению и характеру, по своей сущности, в конце концов. Так выворачивать тебя наизнанку, так изумлять самого же себя собой непознанным и нераскрытым, что люди неосознанно туда стремятся: кто — увидеть, что там происходит и как; кто — сам проявить эти скрытые, потаенные силы и страсти. А то, что они дремлют в каждом, почти в каждом человеке, — несомненно.

В сон Анна провалилась без мыслей, без всяких чувств, успев вспомнить только, что на завтра снова репетиция и что пойдет она на нее одна.

Однако еще до утренней репетиции, совсем рано она отправилась в больницу. Ее, к удивлению, пропустили, сказав, чтобы не стучала каблуками. Да она и не стучала, это, видимо, так, для порядка сказано было. Шла по коридору и думала, как много прошагала их в своей жизни. И что они всегда, в любом учреждении, будь то театр или вот как теперь, больница, страшно длин-

ные. Она решила, что только увидит Льва, скажет два слова и тут же уйдет. А уже днем снова вернется.

Открыв осторожно дверь палаты, первое, что она увидела, это стоящего у окна высоченного дядьку, который что-то бормотал себе под нос и даже проводил по стеклу какие-то знаки. На звук открывающейся двери он даже не обернулся и все продолжал колдовать над чем-то у окна. Лев спал, причем так безмятежно, что тупая тяжесть, которая сковала сердце со вчерашнего дня, стала отпускат. Он тут же открыл глаза, несколько мгновений смотрел на Анну. Улыбнулся и сказал: «Умница, уже можно и на репетицию!» Она присела рядом, молча вглядывалась в его лицо, понимая, что он шутит, и все же спросила.

— Как ты спал? Не болело? Или...

— Или — нет! Не болело. Ничего не болело, успокойся.

Она обвела взглядом палату. Убедилась, что еще один сосед, судя по неприбранной кровати, вышел. Уловила чужой, незнакомый запах больницы и обняла Льва. И так и оставалась некоторое время, положив голову ему на грудь.

— Я сварила тебе кашу.

Лев схватился за голову, охнул, сложил театрально руки на груди и воскликнул, на что сосед, наконец, даже обернулся.

— Ты что это меняешь привычки? Это мое ремесло, и я его никому не отдам. Кашу! Надо же! Где она? Давай скорей!

Аня достала завернутую в несколько слоев кастрюльку, взяла ложку и стала кормить Льва. Он послушно ел, хвалил, сказал даже, что ничего вкуснее в жизни не пробовал, потом потрепал ее за волосы, как обычно любил это делать, вытер лицо салфеткой и откинулся на подушке. «Ох, есть же счастье в жизни!» — воскликнул довольно молодого вида интересный мужчина, который явно пытался увести в сторону даже возможные разговоры о своем здоровье. Точно, болеть он не любил и считал это проявлением ужасной слабости.

— А я хочу встретиться сегодня с твоей дочкой. Как, не возражаешь?

— Вперед! И с песней! — не унимался приободренный Лев. Телефон знаешь, зови, к нам зови.

— А что тебе делают?

— Что-что? Уколы! Успели, дикое племя, все же исхитриться и втолкнуть парочку.

— И сейчас как?

— Ты же видишь, готов к труду и... нет, не обороне, а к твоему... — он наклонился к ней поближе, — нападению. Как считаешь. Можно?

Засмеялись, и Лев обнял Анну, приговаривая: «Сегодня же заберешь меня из этой богадельни, ясно? Никаких возражений. Наш реж (так они за глаза называли режиссера) не поймет.

— Ты с ума сошел!

— Верно! И давно.

— Ты что, хочешь уйти? А что говорят доктора?

— Анечка, что они могут говорить? Молчание — их ключ к успеху! Кардиограмма, укол. Покой, приличная еда. Снова покой, и все в таком духе. Где все это взять?

— Ну разве у нас нет всего этого? Только вот покой если... Ты вымотался. Эти съемки, потом театр, я...

— Вот именно — ты! И это мой покой и непокой одновременно! Усвой! И без этого я и дня больше прожить не смогу. А еда, да еще приличная, у нас есть.

— Ты что, правда, намерен уйти?

— Намерен, — передразнил Лев. — Не только намерен, но уже почти решил свой вопрос.

— Господи, да когда ты успел?

— Ночь, знаешь, какая длинная?

— Вот тебе и покой, когда же отдыхать? Даже здесь ты умудряешься вести беседы и никого не слушаться.

— Ошибаешься! А тебя?

— Ты меня насмешил: меня? Когда это было?

— Вот именно. Когда? Всегда и было, скажу я вам, красивая вы наша актриса. Бланш, ну, чистая Бланш, можно сказать. И тут я, гад и стервец. Все, беги, моя

беляночка, белое мое деревце. Тихая, тихая, а сильная! Иди, целую!

Снова минуя коридоры, Анна уже не шла, а почти летела к своему театру. Бесплезно было останавливать Льва, если он что-то решил. «Ну, не сегодня, но хотя бы еще денек полежит», — думала Анна, не веря сама, что так будет. — А все выкрашено, надо же, в белый почти цвет!» — только и успела отметить она.

А в театре каким-то непостижимым образом уже обо всем знали. Боже мой, ну и система! Откуда? Расспрашивали, говорили, что пойдут навещать, на что, естественно, Анна чуть ли не руками замахала, говоря, что ни в коем случае и что Лев сам скоро появится. Как? — поразились актеры, — всего-то ничего лежит. — Вот так, он такой, сами знаете, — парировала Анна.

Репетиция была на редкость удачной. И дело заключалось не в особом состоянии Анны, которая пережила стресс, а затем утром поняла, что опасность миновала. Оно было в том накоплении, скорей всего, которое произошло за последнее время и которое приобретало новые черты. Так, ее Бланш нашла какой-то точный тон в общении и со Стеллой, и с Митчем. В ней возникла неподдельная беспечная отрешенность от реального мира и вместе с тем — замечательное свойство ее натуры — удивляться, соучаствовать, не оставаться равнодушной. И еще легкость. Она проявлялась в походке, в игре с шарфиком, в самой пластике, в жестикеляции. В том, как она реагировала на реплики Стеллы, как отвечала на вопросы или, напротив, уклонялась, как соблазняла Митча, не внося какой-то злой умысел, а по-детски расспрашивая его и все более и более понимая, что не ее поля ягода этот большой мощный здоровяк.

Как, однако, здорово, просто прекрасно было играть, репетировать! Та скрытая энергия, что и вообще-то была свойственна Анне, так стремительно раскручивалась, выплескивая и посверкивая своими изумительными искорками, как нельзя подходила роли Бланш. То она укрывалась в некоем подобии скорлупки, то чуть

ли не провоцировала ситуацию, склоняя к любви и признаниям Митча, наряжаясь и демонстрируя свою женскую привлекательность и Стэнли, и его приятелям, то подбираясь к сестре, выводя ее на откровенность и снова запахиваясь в панцирь из кружев и перьев. И при всем при этом оставаясь органичной и отзывчивой. Сколько же было сплетено в ее характере! Боль прошлого мешалась с истинными признаками болезни. Живость и чистота нрава — со скрытыми потребностями в пьянстве и самолюбании. Еще никогда ей не приходилось прикасаться к такому материалу. Даже ее Катарина не обладала всей несметной гаммой противоречий, что составляли особенность характера Бланш. Там была скорее динамика превращения, несколько нарочитая даже, где своеволие и дерзость героини под натиском характера ее мужа оборачивались демонстрацией послушания и подчинения супругу. Во всем этом чувствовалась некоторая демонстративность и явное укрупнение возможного. Но в том-то и был замысел Шекспира — так подать свою героиню, чтобы в конце концов сделать этот образ почти что нарицательным: да убьют жена мужа своего!

Днем Анна действительно позвонила в дом, где жила дочь Льва, и пригласила к себе. Они иногда встречались, Алиса бывала у них, приходила и на спектакли, но чувствовалось, что главным у нее оставалась ее молодая, обособленная от взрослых жизнь. Она увлекалась современной музыкой, ходила по ночам в какие-то непонятные клубы, где играли только особенную продвинутую музыку, и поглощена была прежде всего тем, чтобы быть в стае, принадлежать ей, и о собственной индивидуальности пока не думала. Заслуги отца принимала скорей снисходительно, а иногда насмешливо заявляла, что это теперь «не катит» и что модным театром не является. Попытки отца убедить дочь в том, что к театру вообще не применимо слово «модный», не убеждало, Алиса, чувствовалось, бросала вызов не только кому-то, но и себе в первую очередь. Эпатажность ее вида проявлялась в одежде, прическе,

стремлении не быть похожей на окружающих. Она носила джинсы, плетеную сумку, стоптанные, на широкой подошве башмаки, а на голове и вовсе было некое сооружение, напоминающее давно нечесаную голову. Но при всем при этом выглядела не вульгарно, а вполне даже привлекательно. Было в ее натуре нечто такое, что роднило с замечательным отцом. Имело отношение к той корневой системе, в которой росла. И что — самое главное — отличало ее как личность, самостоятельную и независимую. На вопросы о помощи, покупках ей она обычно отвечала, что привыкла обходиться малым и что зарабатывает сама. Спрашивали — чем? Она отвечала, что у нее свое искусство и папе этого не понять. Когда же дома просили, чтобы она попела, она только усмехалась и говорила, что этот дом не сможет услышать ее. «Как это — услышать?» — спрашивал отец, и Алиса отвечала, что только молодежь воспринимает то, чем она и ее друзья занимаются.

— Неужели мы такие старые? — не унимался Лев.

— Не старые, у вас устройство другое.

— Просвети, пожалуйста, что за устройство?

— Ну, такой живчик внутри, — на полном серьезе отвечала дочь, — он-то и дает кураж.

— А без живчика, значит, кранты?

— Значит, так.

— Ладно, понятно, что концерта на дому не получится, но хоть друзей приведи, послушаем через стенку.

— Это вам не Первомай, у вас слишком роскошно, к тому же.

— А, ясно. Вам подвал подавай.

— Ага.

— А скажи, кто музыку-то пишет? Сами, все, или у вас и индивидуальное творчество присутствует?

— По-всякому, — сдержанно отвечала Алиса.

И было понятно, что творчество ее — тема закрытая и вряд ли когда-нибудь рассекретится.

Алиса откликнулась сразу же и спросила, чего нужно, но Анна предложила встретиться дома, пообщаться. Вскоре девушка пришла. На сей раз на ее голове

была разноцветная шапочка, хотя погода явно противоречила этому головному убору: так было тепло. Одежда она была в неизменные джинсы, зато рубашка была замечательная — розоватого цвета в маленький цветочек. Ну, а сумка все та же — плетеная, из прутьев, ниток и вообще непонятно чего. На ногах же — простые сандалии и никакие не ботинки, и весь облик был вполне симпатичный, не шокирующий, не вызывающий.

— Что с папушкой, плохо, что ли?

— Уже ничего, но вчера страшновато было.

— И что надо?

— Покой, вера в неизменно хорошее будущее и вообще...

— Что это за «вообще»?

— Так, вообще, — уклончиво ответила Анна. — Чай пей. Ты с гитарой. Идешь куда?

— Знаешь, я решила кое-что спеть. Тебе спеть. Не возражаешь?

— Прямо теперь? Да я рада только.

— Вещь, скажу, известная, можешь включаться. Романс почти.

И она, сделав несколько аккордов, стала выводить слова действительно романса, Анне известного.

«Отцвели уж давно хризантемы в саду...» — выпела девушка, и голос ее был свежий, сильный, без всяких там рокерских вкраплений. Анна вслушалась сначала, а потом невольно подхватила слова песни, и стал складываться дуэт, слаженный и насыщенный глубоким чувством. «Откуда в этой девушке-сорванце столько глубины и страсти?» — думала Анна. А сама попевала вслед за ней: «А любовь все живет в моем сердце больном...» Голос, сам голос, завораживающий и вдохновенный, покорила Анну.

— Я и не думала, не знала, что ты так умеешь петь, — удивилась она. — Где же научилась?

— А, нигде, — беспечно ответила девушка, все еще не убирая гитару и перебирая ее струны. — Просто люблю, и все.

— Но ведь в вашем кругу не поют романсов?
— Ну и что? Там каждый делает, что хочет. И одевается, как желает. Никому нет дела.
— А это важно? Вообще, для тебя важно?
— Это для всех важно. Люди не должны влезать в чужое пространство. Хоть что-то, кроме собственной тарелки, должно быть свое.
— Да, про тарелку точно. А что еще должно быть свое?
— А все! Чувства, мысли, поступки, выбор.
— А любовь?
— Ну-у!
— И что, там и любят?
— Слушайте, старая тетенька, вы что думаете, там — это особый край земли, где иные законы, люди и все такое?
— Разве нет?
— Там просто больше пространства, больше воли. Вот вам разве хватает воли? У вас режиссер, роли, текст...
— Да, так. Но с одной лишь волей не проживешь. Настанет день, когда не будешь знать, что с ней делать и куда ее девать.
— Я душиловку не люблю.
— Это тебе так только кажется. Все хотят, удивишься, некоторого кашкана. Не в смысле в силках сидеть, но чтобы был круг, то пространство, которое ты сейчас ругаешь. Вообще принадлежность кому-то и чему-то очень в жизни обнадеживает. У меня был период, когда я могла делать, что угодно, а могла вообще ничего не делать. Никому ничего от меня не нужно было. И сама жизнь вроде отступилась от меня. Это был, скажу тебе, страшный, жуткий период. Ты никому не нужен, тебе — никто, жизнь кажется призрачной и иллюзорной. Все понарошку, смысла нет ни в чем. И постепенно ты осознаешь, что только принадлежность к какому-то пространству, кругу, тобой нелюбимому, спасает. Делает жизнь осмысленной.

— Ты что же, знаешь, зачем мы живем? — почему-то перешла на «ты» Алиса.
— Ну, сказала! Кто ж так скажет? Знаю только одно твердо: быть нужной. Жить зачем-то. Все!
— Это очень просто.
— Не скажи.
— А мне парень один нравится, не знаю, как он ко мне. Как бы это узнать?
— Как? Присмотрись, говори с ним, вот спой то, что у вас там не поется. Пробей чем-то.
— Да, он такой... Его и не пробьешь, наверное. А ты что, папку любишь?
— Да.
— И он тебя?
— Конечно.
— А разве так интересно: все знать — любит — не любит. Все ясно. Нужна же интрига!
Анна засмеялась так весело, так заразительно, что Алиса даже переспросила, чем так насмешила ее.
— Да у нас ежедневная, еженощная, сплошная интрига! Взгляд, оброненное слово, почему не так внимателен и ушел в себя? Что случилось? Где промашка? А репетиции! Ты там совсем в другом измерении. Ну, почти, как ты в своем подвале. В театре каждый день — это открытия, маленькие, большие, но непременно раскрытие каких-то створок. Сунешь туда нос, а тебе хоп — и по нему. А не сунешь — тоже не здорово.
— Выходит, как у Толстого, после брака все только и начинается?
Анна помолчала, раздумывая, сколько намешано в этой девчонке, которая сидит в подвале с отшельниками, поет странные песни, но читала Толстого и кое-что понимает про жизнь. А более всего — хочет понять! Нет, хорошая девушка, ищущая. Думает, вот что важно.
— Алиса, а что приходишь редко? Некогда или мы старые? Интересы не те?
— Да нет, я в поиске. Думаю я. А для этого нужно

укрытие. Пока оно у меня там. Но я теперь реже там бываю. Больше гуляю. Книжки все читаю. Так, без разбора, но попадаются такие!..

— Читай. В них — все. А пространство береги, оно не у всех и есть-то. Его заслужить надо.

— Ты что, умная?

— Сама не знаю.

— Ладно, пойду. Так, говоришь, папулька сегодня прибудет? Тогда я не поеду. Да?

Анна проводила Алису и стала собираться в больницу. И тут зазвонил телефон.

— Это Анна Васильевна Кремнёва?

— Да, слушаю.

Это из международного следственного отдела, вы у нас были с мужем.

— Да, да, конечно.

— Завтра в четырнадцать жду вас у себя. Пропуск будет заказан.

— Скажите хоть, что, как там? Есть ли новости?

— Новости есть. До завтра.

Анна положила трубку, села на диван, и мысли, одна настойчивей другой, стали прыгать в ее голове. Если есть новости, то, может быть, они приближаются к тому, чего она ожидает больше всего в жизни? Или что-то другое? Завтра! Как дожить до этого завтра? И ведь ничего не сказал, никакого словечка! Что за организация?!

Она побежала на кухню, собрала то небольшое, что оставалось, понимая, что купят по дороге домой необходимые продукты, и отправилась к Льву в больницу.

Когда она проходила уже знакомым, светлой краской покрашенным коридором, то даже провела рукой по стене, гладкой, холодной и все же отдающей больничным запахом. А в палате Льва не было. Долговязый мужчина строго на нее посмотрел и сказал, что господина артиста отправили на ЭКГ. «Ждите!» — подытожил он и снова стал у окна. Анна постояла, осмотрела, что осталось на тумбочке, убедилась, что ничего и не собиралось, и присела на кровать.

— Что, хорошо на воле-то? — неожиданно спросил мужчина у окна.

— Да, хорошо, — нехотя ответила Анна, а сама уже стала волноваться, отчего это так долго нет ее Льва. — Не скажете, как он?

— Что ж не сказать, скажу. Укол делали, велели лежать. А он разубеждал, говорил, на работу пора.

— Как, укол? Ему что, плохо было?

— А кому сейчас хорошо? — резонно заметил долговязый.

— Нет, я серьезно, ему не хуже?

— Женщина, я не могу ответить на ваш вопрос, сами все поймете.

— Ой, вы меня пугаете.

— А вы крепитесь, жизнь еще длинная. Дай Бог, — прибавил он.

В этот момент дверь распахнулась и на сидячем кресле ввезли Льва, который выглядел совсем не так бодро, как утром.

— Анюта, все в порядке, — успел сказать Лев, и голова его почему-то странно качнулась.

— Что с тобой? Что с ним? — обратилась она к девушке, которая привезла его.

— Сейчас подойдет врач, не волнуйтесь, — ответила медсестра, еще больше своим неопределенным ответом разволновав Анну.

Действительно, сразу же вошел врач, тот, что накануне успокаивал Анну и велел не беспокоиться.

— Что вы так взъерошились? — улыбнулся доктор, словно и не обращая внимания на сидящего в коляске Льва. — Все хорошо. Ну, или почти. ЭКГ не вполне порадовала, так что задержимся до завтра. Не возражаете?

Лев выпрямился, попытался подняться, но тут подоспел доктор и помог ему перебраться на кровать. У Анны что-то рухнуло внутри, словно отстегнулось сценическое платье и так прилюдно свалилось прямо на сцене.

— А вот вы, душечка, не совсем в норме. Все не так плохо, уверяю вас. Ничего острого. Устал, вымотался. Покой! Делов-то!

— Но он совсем по-другому выглядит, не как утром.

— Да это действие лекарства. Мы ему тут успокаивающее вкатили, да маленько не рассчитали. Он после исследований как-то возбудился, чуть ли не в эйфорию впал, пришлось успокоить.

— Что-то в этом не так. Он другой. Почему он молчит?

— Милая девушка, простите, дама, словом, гражданка, он просто спит. Может быть с человеком такое?

— Может, но все равно...

— Ясно, не верите.

— Не очень.

— И правильно делаете. Побудет он у нас несколько дней, не мучайтесь, примите это как необходимую меру. Раньше отпускать не стоит. Тем более — сегодня. Поспит, отдохнет, никто его здесь не беспокоит, верно ведь?

На этих словах долговязый мужчина обернулся и резонно заметил: «Уважаю артистов. Не как все. Живут где-то не с нами, сами по себе. Все ищут чего-то в чужих словах. Истину, верно?»

Анна совсем приуныла, поняв, что доктор просто шутил, говоря о скорой выписке. Лев спал, и она, посидев еще рядом некоторое время, поднялась и пошла.

К серому зданию, в котором уже бывала не раз, она пришла раньше, но пропуск был готов, она еще некоторое время выждала и снова пошла по длинному коридору. «Ну сколько их в моей жизни еще будет?» — думала она, присматриваясь к цвету стен. Однако они не были покрашены, а облицованы деревом светлого тона, так что ее вечный эксперимент, связанный с избытком синего цвета, ничем не завершился. Около знакомой уже двери она помедлила, подумала, что выдержит все, уж коль скоро столько уже выдержала и пережила, затем постучала и ее впустил внутрь сотрудник, которого прежде она не видела и который

пригласил пройти ближе к столу и присесть. Главный человек находился тут же, дописал что-то, а затем пристально посмотрел на Анну, сам поздоровался и приступил к делу.

— Что, волнуетесь? Ничего, осталось совсем немного. Приближаемся к финалу, можно сказать.

— Что это означает? Вы же понимаете, я о дочери. Когда смогу увидеть, наконец?

— Скоро! Представьте, совсем скоро. Только немного формальностей. Ознакомьтесь вот с этой бумагой, — и он придвинул к Анне какой-то документ. — Читайте, читайте, здесь все ясно, все изложено.

Анна принялась читать, и строчки, после первых же фраз стали прыгать у нее перед глазами. Слезы залили глаза, она почти ничего не видела, поскольку поняла главное. Это главное вычитывалось из первых же строк: ее Пелагея, дорогая ее дочь, уже через сутки будет здесь, в ее городе, и она сможет ее увидеть. Далее шел текст, из которого становилось ясно, что ее бывший гражданский муж не только не станет чинить ей препятствий, но и будет осужден. А также лишен ... Дальше она уже не могла вникать в написанное на листе — плакала и не сдерживала слез. Спросила только, как и когда, где она встретит дочь?

— Вот это-то и есть самое важное. Вы не виделись четыре года, девочка отвыкла от вас, и сама по себе встреча — несомненный стресс для нее. Поэтому стоит все продумать, чтобы в спешке не навредить. Скажем так, может день-другой ее подготовить, побудет в детском заведении, отвлечется, и вы сами придете в сад, или куда мы ее решим определить. Но ни в коем случае не в аэропорт, это может и испугать, и лишить вас той радости встречи, на которую вы рассчитывали столько времени. Как вам план? В самом деле, не ехать же вам в аэропорт! А там подготовленные люди, психологи, в том числе, встретятся с ней. Станут говорить о вас, но не сутками, а спокойно и дозированно. Девочку надо подготовить. Вы, надеюсь, это понимаете?

— Да, наверное. А что с ним? Она не будет уже видеть его, правда?

— Естественно! Отец даже не полетит с ней, его уже задержали, с ней будут наши люди, и опять-таки, детский врач, специалист. Главное, что ей нужны просто хорошие люди. Подготовка уже началась, ей рассказывают о вас. Да она и не забыла, не волнуйтесь, все помнит. Так что, от вас требуется одно: хорошо морально подготовиться, не встревожить ее излишней нервозностью, слезами. Согласны?

— Конечно, да, только я давно хотела сказать... Он, Олег, он ей не отец. Его отец — это Лев Леонидович, мы еще в городе Ташкенте с ним были. Женаты были, — рассказывала Анна, а сама хотела расспросить о многом, но мешало волнение, обстановка, само известие, наконец. Но она понимала, что все так безболезненно не пройдет, придется девочке что-то объяснять, рассказывать, где отец, появится ли, что с ним. — А Олег, он что, враг? Он же не физик, что такого он мог совершить?

— Верно, не физик. Совсем даже наоборот. Но это и облегчало во многом его ситуацию, он беспрепятственно мог передавать важные вещи, информацию, то есть быть, по сути, посредником. А извлекал, между прочим, сведения государственного значения. За это и получит. По заслугам и получит. Вы поняли меня, Анна Васильевна? А то, что не отец — это хорошо! Это просто замечательно! Сами как считаете?

— Я? Наверное, да, замечательно. Только Лев так ничего еще не знает. Сейчас он в больнице, сердце...

— Знаем. Чем помочь?

— Нет, ничего, я справлюсь. Только сколько еще ждать, хоть скажите?

— Как только пойдем, что девочка готова видеть вас и даже хочет этого. Это — единственный показатель. Желаю мобилизоваться и... вперед! Благодарите ваших друзей.

— И вам спасибо. Я думала, что здесь, — она помол-

чала, — что в этом учреждении вряд ли могут так разговаривать. Спасибо.

— Могут. Мы — те же люди. Эта банальность — вообще-то спасительная вещь. Идите. Вам позвонят. Привет Льву Леонидовичу.

Анна задержалась в дверях на мгновение, потом все же решилась.

— А он не будет мешать нам?

— Не будет. Счастливо!

Выйдя на улицу, Анна долго шла, не садясь в транспорт, не заходя никуда, и все обдумывала услышанное. Какой человек все же! Совсем не из тех кино, в которых граждане из подобных учреждений разговаривают отрывисто, на посторонние вопросы не отвечают, присесть не предлагают, и вообще... что уж до решения личных, семейных проблем, да еще самым деликатным образом — об этом и речи быть не могло. А тут — все иначе! Тебя слушали, предлагали деликатное решение, понимали, что девочке будет трудно сразу принять столько нового и неожиданного. Надо же, а сами даже о здоровье, вернее, о нездоровье Льва знают уже. Ну, и работа у них!

Еще она неожиданно вспомнила недавнюю встречу с Алисой, и почему-то ей стало спокойно от одной этой мысли. Она подумала, что они с ее Пелагеей непременно подружатся, что Алиса найдет, может стать, новый вид деятельности, связанный с воспитанием маленького человечка. И что, в конце концов, семья в ее единственно верном, правильном значении — соединить и быть сообществом единомышленников — сможет состояться. Осталось потерпеть совсем немного. Она непременно последует совету военного человека и станет приходить в садик или куда поместят Полю, будет наблюдать, присматриваться, не бросится сразу, не напугает. Она все сделает правильно, это точно.

Так шла и думала Анна, и не вполне еще, конечно, понимала, какое новое событие, новое дело войдет вот-вот в ее жизнь. И как это вовремя — вот что важно.

Это тебе не пару лет назад, когда она была никем, нигде не жила, ее почти и не было в этой жизни. А теперь... теперь есть многое: работа, Лев, его Алиска и еще нечто такое, что не вмещается в конкретное и физически определенное, что связано с ощущениями, атмосферой, самым духом и восприятием жизни. И это восприятие становится наполненным почти до краев, осталось только не разлить, не опрокинуть, не выплеснуть то, что собиралось по крошечкам, к чему долго и долго шла и во что уже почти и не верилось. Нет, неправда, даже в самых страшных обстоятельствах, в той подворотне или у Киша с Нелей, она знала, просто не оформляла это в слова, что перемена в ее жизни, удивительная перемена, непременно случится.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ ЕДИНСТВЕННАЯ

Озеро, оказывается, было не просто глубоким, но и очень большим и синим. Таким синим, как самое настоящее синее море. Если, конечно, есть такое. Но все моря так или иначе все же синие. И женщина, так долго смотрящая на поверхность воды, желая увидеть, рассмотреть свое отражение, вдруг отшатнулась от неожиданности. Никакая не старая, а прекрасная и молодая, с вьющимися каштановыми волосами. Такой она увидела себя. А где же та, совсем старая и со спутанными волосами? И снова, как и давно-давно, к ней подлетела птица, присела рядом совсем и тоже посмотрела вниз, в самую, казалось, глубину озера. Какое же оно было спокойное и безмятежное и таило такие секреты и тайны, которые век было не разгадать. Да и зачем? Птичка вздохнула, взмахнула крыльышками, посмотрела еще раз на сидящую женщину и что-то такое прошептала на своем птичьем языке. А потом улетела. Взяла и улетела.

Льва выписали через неделю, а не через пару дней, как обещали. Зато сказали, что страшного ничего нет, просто срыв, усталость и что сердце тоже нуждается в отдыхе. Оно же — часть человека.

А Анна едва успевала справляться со все новыми и новыми событиями, которые требовали ее участия и заботы. И походы к Льву, и работа, и готовящийся выход спектакля, и сообщение режиссера Кирилла Константиновича о скорой премьере фильма с участием их обоих, Анны и Льва. Но самое главное заключалось в другом. Каждый день, уже три дня подряд, Анна ходила в детский сад. Но какой-то особый, где в группе-то было всего семь человек, и потихоньку наблюдала за своей дочкой. Ей действительно позвонили, сообщили адрес, велели не обнаруживать пока себя, и все, она пошла. Льву пока не говорила ничего, все делала сама. И первый день, конечно, был самым сложным.

Когда она подошла к указанному в адресе домику, то не сразу решилась войти: так он был красив и разительно отличался от обычных детских садов. Никаких атрибутов детских игр во дворе, привычной решетки, солнышка на фасаде и прочего. Довольно строгого вида здание, хотя и небольших размеров, светлое, но сразу чувствовалось, что довольно закрытое, просто так, с улицы, в него не попадешь. Когда ей открыли и узнали фамилию, то сразу попросили посидеть в соседней комнате и дожидаться главврача. «Интересно, почему врача, а не заведующую?» — пронеслось в голове, но она села, переобулась в тапочки, которые ей предложили, и стала ждать. Сердце не просто колотилось, его выносило куда-то вперед, отдельно от нее, от ее организма. Она понимала, что ее дочь, которую она ждала и ждала, наверное, столько лет, сколько и не прошло на самом деле, уже здесь и она может ее увидеть. Однако пока этого делать было нельзя.

Вошла чопорного вида средних лет дама, поздоровалась и попросила пройти за ней. Действительно, они оказались в странной комнате, где вместо стены располагалось довольно больших размеров окно, сквозь которое можно было видеть, что делается в комнате напротив. Заметив удивление Анны, дама пояснила, что их видно не будет, зато спокойно можно будет наблюдать, как ведут себя дети, что делают и что, главное, делает ее дочь.

— Меня зовут Ирина Ниловна, не тушуйтесь, — сказала довольно приветливо строгая на вид дама. — Немного терпения, и вы встретитесь.

— А когда она оказалась здесь? Когда приехала? И как чувствует себя? — все спрашивала Анна.

— Появилась день назад, адаптирована, контактна, со здоровьем все в норме. Только худенькая очень, но это уже конституция.

— Я поняла, но скажите, когда я смогу... смогу подойти?

— Сможете. И весьма скоро. Посмотрим, как вы еще

реагируете, тут и ваша реакция важна. Ни слез лишних, ни тревоги, которая могла бы передаться девочке, не нужно. Так что, крепитесь, сейчас они появятся.

И на этих словах дама покинула странную комнату, оставив Анну одну. Можно было осмотреться, разглядеть, что там, за зеркальной стеной. А там были игрушки, столики. Разнообразные лошадки, большие шары, на которых можно было кататься, и еще всякая детская всячина. Стены были оклеены чем-то таким, что на них, как потом стало понятно, вполне можно было рисовать, что душе угодно, а потом стирать. И мелки, и карандаши. И краски — всего было в изобилии. Анна даже вздрогнула, когда в комнату напротив вбежали дети. Сначала она услышала голоса, а уже потом увидела их. И сразу, мгновенно признала свою девочку. Какая же она была худенькая! «Почему так!» — чуть ли не вслух воскликнула Анна. Но вскоре убедилась в правоте слов заведующей, что это такое сложение, сама же девочка весьма активна и весела. Она не сидела одна, не уединялась, а была вместе со всеми, играла, рисовала, и Анна отметила, что рисует она очень неплохо. Это было видно как раз на той стенке, с которой потом и можно было стирать свои произведения. Она тут же изобразила дерево, лошадку и присоединила к ним поодаль стоящего где-то в поле, наверное, человека. То есть создавалась совершенно определенная композиция. Пропорции были правильными, человечек — маленький, лошадь, что была на первом плане, крупной и очень красивой, упругой, что ли. Больше всего Анну поразило дерево — раскидистое, с густой листвой, замечательно сочными цветами — и напоминающее то большое и цветущее, что росло в детстве в родном Анином Ташкенте. Названия ему так никто и не дал, да и не знал. Просто оно было таким огромным и пушистым, что даже прохожие приостанавливались, чтобы расспросить, что это за особый такой дар природы. А весной оно к тому же покрывалось сиреневыми цветами, хотя к сирени не имело никакого

отношения. Словом, оно было прекрасно! И как могла ее девочка, никогда не бывавшая в далеком азиатском городе, так точно изобразить растение, которого прежде никогда не видела?! Бывают же чудеса!

Аня поймала себя на мысли, что даже сейчас, сию минуту могла бы спокойно войти и разговаривать, общаться со своей дочкой. Что никаких видимых препятствий не находила и только правила, кем-то составленные, не позволяли этого сделать. Время от времени к ней, как и к другим детям, подходила воспитательница и что-то советовала, потом объединила детей за круглым столом и стала читать сказку. Аня так увлеклась рассказом, что даже забыла, что находится в странном помещении и что скоро ее попросят уйти, как и предупреждала главная дама. Так и получилось. Вошла строгая женщина, посмотрела на Анну, видимо, оценивая ее состояние, и неожиданно сказала.

— Видите ли, я, надеюсь, вы с пониманием относитесь к нашим правилам. Не все мамочки выдерживают такое испытание. Но вы молодец! Думаю, что завтра-послезавтра вы обнимитесь. А мы тоже со своей стороны ведем свою работу.

— А какую?

В том числе, говорим о вас, о будущем. Человек даже такого возраста должен быть ориентирован на то, что впереди — жизнь и там много прекрасного. И в этой жизни есть мама, просто ее какое-то время не было. Вот, пожалуй, так.

— Хорошо, я пойду. Но вы не представляете, как я хотела бы...

— Очень даже представляю, не один год готовлю детишек, всего насмотрелась. Приходите завтра после обеда, может, и получится все.

И Анна отправилась домой. Ей захотелось зайти в какой-нибудь магазин и посмотреть на детские вещи. В самом главном торговом доме она стала присматриваться к вещам, которые по размеру подошли бы ее дочке. Большого выбора не было, но кое-что она все

же усмотрела. Например, платьице в горошек и еще бархатный костюмчик с белым кружевным воротничком. Анна так увлеклась, что решила купить и колготки, а вот с туфельками вышла заминка: размера-то она точного не знала. Но решила, что исправит это завтра. А в самом низу, где был отдел игрушек, она задержалась дольше всего. Во-первых, выбрала альбом, краски, карандаши. Затем ей приглянулась большая кукла в красной шапочке с корзинкой, в которой были еще и шишки. Все это богатство ей красиво упаковали, и она отправилась домой.

Она знала, что Лев уже вернулся с репетиции, на которой ей сегодня не надо было быть. Вообще-то она не пропускала ни одну из них, занята была или нет, но вот сегодня... сегодня не пошла. Причина была слишком важная! Шла и думала, говорить ли все Льву до конца и как это сделать? Как его подготовить? Увидит же он, в конце концов, все покупки, спросит. Нет, пожалуй, придется рассказать.

Когда дома она выгрузила все это великолепие, то изумленный Лев, конечно же, спросил, что это и зачем, для кого. Анна молчала, не зная, как подступиться к разговору, но потом предложила присесть, заварил чаю и, разглаживая фартучек у куклы в красной шапочке, начала рассказывать. Сначала о посещении того, известного им уже заведения, затем о походе в особый, необычный детский сад, где происходила адаптация девочки, и, наконец, о самом главном. О том, что она уже видела свою дочь, и, скорее всего, завтра-послезавтра ей разрешат встретиться с ней. А потом и вовсе... В смысле, забрать разрешат. Лев сначала тоже молчал, обдумывая услышанное, а потом прямо спросил.

— И ты столько времени молчала? Точно. Ты — Кремнёва. Твоя фамилия все отражает: характер, волю, терпение, все! Почему не говорила? Меня берегла? — Глупо! Это же не удар ниже пояса, а то, что изменит твою, нашу жизнь. Ты хоть понимаешь до конца? —

Он даже поднялся, страшно взволнованный, и стал расхаживать по комнате. — И Алиска, тут она будет как нельзя кстати! Хватит ей по ночным клубам и подвалам слоняться. Хоть забота появится. Да ты сама-то, Аня, понимаешь, что нас ждет? Ты же на мир смотреть начнешь иначе! Петь будешь день и ночь. Даже не знаю, как работать станешь: все внимание переключится на ребенка. Счастье еще, что лето надвигается, хоть побудем все, на работу не придется ходить. Ну, это...это бог знает, что такое! — заключил он и обхватил Анну. Сжал ее крепко-крепко и снова сказал, что, наверное, она и сама еще не вполне понимает, что ожидает их.

— Да нет, все я понимаю. Ну, или почти все. Скорей бы завтра.

— Справишься сама? Могу с тобой пойти прямо после репетиции.

— Нет, сама.

— Эх, ты, Кремнёва! А про меня мы что скажем? Ты думала?

— Не знаю. Думала. А что, правда?

— Не будем все расписывать, все постепенно утрясется, всего не предусмотритишь, верно? Но главное, что ты скажешь правду, — и он как-то очень многозначительно посмотрел на Анну.

Еще долго они говорили о будущем, о встрече нового человека, о самых неожиданных вещах, которые их подстерегают. Стали готовить кроватку, которая осталась еще со времен Алискиного детства и хранилась которая в чулане. К счастью, эта большая квартира имела массу важных вспомогательных вещей: антресолей, подсобок, шкафов и, вот, чулана. Там-то и находилась кровать, которую спешно стали нагирать, приводить в порядок, подкручивать болты, застилать, усаживать куклу. Решено было поставить ее в спальне сначала, в их общей большой комнате, а потом, когда Пелагея повзрослеет, перенести в кабинет Льва, сделав таким образом ей отдельную детскую. Благо, разгуляться было где.

Когда наступила ночь, Анна вдруг подумала, что она никогда не закончится, а будет длиться и длиться. Так и лежала почти до трех часов, уснув беспокойным коротким сном. И наступило утро, когда надо было торопиться в театр, потом уже, только потом к дочери.

Репетиция пролетела так скоро, что Анна едва успела опомниться, услышав, что уже назначена генеральная и, скорее всего, перед закрытием сезона все-таки успеют сыграть премьеру. Хотя бы пару раз.

Лев отправился готовить обед — делал он это мастерски, — кормить кота, птицу и ждать. А Анна — в сад, где надеялась обнять сегодня свою девочку. Она пыталась сохранять хоть какое-то хладнокровие, не спешить, не бежать так быстро, поэтому иногда притормаживала, переходя на обычный шаг. Но вскоре снова устремлялась вперед, не садясь в транспорт, так как ей казалось, что она доберется быстрее всякого автобуса или метро. Шла-шла и вспомнила, как давнотдавно, в том прекрасном времени, которое называлось детством, ее мама забирала из садика и всякий раз Аня просила рассказать что-то. Ну, хотя бы что-нибудь! Или сказку, или что у мамы на работе было, но непременно говорить с ней. И однажды мама стала рассказывать, как в ее далеком детстве они с бабушкой отправились собирать малину, увлеклись, забирались все дальше и дальше в лес, и не заметили, как стало смеркаться. А ягоды собирали не куда-нибудь, а себе в подол, завязав край платья таким образом, чтобы малина не высыпалась. И вдруг обе от неожиданности присели, закрыв рот, чтобы не закричать. Прямо перед ними, совсем недалеко, пробирался мишка. Самый настоящий, хотя и маленький, но все же медведь. Шел он один, особенно не озирался, издавал только какие-то странные свои возгласы, и было понятно, что он то ли ищет свою потерявшуюся мамку, то ли просто направляется к дому. Но обе, и бабушка, и ее внучка затихли так, что даже дышать перестали. И страшно было, и любопытно, и непонятно еще, как выбираться надо. Но медведь про-

шел довольно далеко, потом приостановился, омотрелся, словно припоминая дорогу, и снова направился известным ему путем. Тогда, притаившиеся и испуганные, но стойко перенесшие встречу со зверем, бабушка со своей внучкой поднялись очень осторожно и бросились сквозь кусты, не разбирая дороги назад, к своему дому. Бежали так, словно их вот-вот мог догнать хищный зверь. Малина вся просьшалась, конечно же, подола были все вымазаны, зато добежали до деревни целехонькие.

Эту историю Аня просила пересказывать ей не один раз, всегда находя в ней новые и новые подробности. И мама терпеливо повторяла, раз за разом внося свои поправки и дополнения. То расскажет, как выглядел мишка, то отчего он остановился, то как они сидели и не дышали. Словом, рассказ о мишке запомнился Ане на всю жизнь, став своего рода притчей о том, как можно победить страх.

Когда, наконец, она добралась до места, то начальница, приветливо ее встретившая, сказала, что они тоже свое дело знают, и что Поля — так и назвала, а не Пелагея — уже спрашивала, когда придет мама. «Так что соберитесь!» Дети только проснулись и готовились к общей игре, в которой надо было продолжать начатую фразу. Чтобы в итоге получился рассказ о девочке — золушке, ну, или похожий на этот рассказ.

Ирина Ниловна подошла к Пелагее, что-то сказала ей и повела за собой. Та стала подпрыгивать и ее повели в довольно большой зал, где, по всей видимости, происходили разные важные торжества. Там уже находилась Анна. Девочка влетела стремительно, секунду осматривалась, увидела, наконец, Анну и бросилась к ней со словами: «Мама, мама, я знала, что ты придешь! Ты же пришла?» Она прижалась к Анне, которая обнимала и обнимала ее. Гладила по волосам, сплетенным в косички, и еле сдерживалась, чтобы не плакать ни в коем случае. Она только сказала: «Видишь, мы просто так долго ждали, когда увидимся. Но

я тебя все время ждала, ты сама сейчас в этом убедишься. Пойдем?» Девочка кивнула, взвизгнула еще раз от необычайной радости и, в упор глядя на Анну, спросила: «Ты же больше никогда не уедешь так далеко?» — «Нет, я не уеду, но главное, что ты не уедешь теперь без меня. Это же я была дома, а ты просто уезжала. А теперь мы будем дома, будем жить там. Хорошо?» Девочка кивала, снова прижималась к маме, и тут вошла главная дама, сказала, что все готово, что чемоданчик с вещами тоже приготовлен и что они могут ехать. Анна удивилась, но дама пояснила, что их отвезут — таковы правила.

И они отправились домой. Сидели на заднем сиденье, и Поля с удовольствием наблюдала, что за окном, куда они едут, комментировала все, была очень словоохотливой. Анна держала ее и думала, как же ей повезло, что девочка без особых комплексов и что ее природная приветливость передалась, видно, от всех замечательных бабушек и дедушек, и только мысль о Льве, их встрече немного пугала. Как все сложится, что сказать, кто он и кем станет? Не врать же, в самом деле!

А Лев их встретил самым неожиданным образом. Услышал, что они поднимаются, приоткрыл дверь и посадил у самого порога на маленький стульчик новую куклу, вложив ей в руки конверт. Поля ахнула, увидев прелестную куклу. А потом спросила, что это у нее в руках. Взяли конверт, вытащили листочек и Анна прочитала: «Здравствуй, наша дорогая доченька! Мы так долго ждали тебя, и вот ты приехала. Располагайся, это теперь твой дом. У тебя будет своя кровать. А когда подрастешь, — и своя комнатка. У нас есть кот, его зовут Шух, еще птичка. А вот имени у нее пока нет. Ты придумаешь? Ну, вот, пока все. Если захочешь, можешь меня поискать. Твой Лев».

Поля смотрела широко раскрытыми глазами и не очень понимала, кто это написал, кто такой Лев, и только увидела Шуха, который вышел знакомиться, сразу

дав понять, кто здесь главный. «Ой, какой котик! А он добрый?» — и наклонилась, чтобы погладить его. Он, вопреки своей высокомерной привычке никого не подпускать, внимательно посмотрел на новую хозяйку, почему-то позволил погладить себя и направился вперед, прямо к комнате, где поставили кроватку. «А кто такой Лев и где его искать?» — снова спросила Поля, шагая за котом. — «А ты поищи, покричи его», — предложила Анна. «Прямо сейчас? И что, он выйдет? Он что, зверь или дядя?» — «Точно не зверь», — успокоила Анна.

— Лев, выходи, где ты?

— А-у, — раздался голос, ищи меня.

— А, вот ты где, я поняла, — сказала девочка и отправилась прямо на голос, который раздавался из спальни.

Так они вместе с Шухом и мамой вошли в комнату, где за портьерой прятался Лев.

— Ты здесь? — спросила Поля.

— А ты? — ответил Лев.

Тогда девочка уверенно подошла к портьере, отодвинула ее и стала смотреть на Льва, который смешно выглядывал из-за занавески.

— Так я и знала, что ты такой, — почему-то произнесла Поля, и что она имела в виду, понять сразу было трудно.

— Что значит — такой? — переспросил Лев.

— Ну, там еще, в садике и раньше, мне говорили, и какая мама, и какой ты. Вы, значит, мои родители, я поняла.

Лев поднял ее на руки и она обхватила его большую голову, заросшую густой копной пышных волос.

— Вот, тут мы и станем жить-поживать...

— И добра наживать, — продолжила Поля.

— Точно! — восхищенно сказал Лев.

— А это моя кроватка? А как зовут куклу?

— Ну, это ты сама придумаешь, — заметил Лев.

— Я думаю, она будет Верочкой.

— Что ж, неплохо. Мы любим это имя, — обрадовался Лев.

— А ты пойдешь со мной в театр? — снова задала вопрос девочка.

— А как же! Там наша работа. И ты часто станешь бывать там.

— И еще я знаю, что у меня есть сестра. Да?

— Ну, ты, я вижу, знаешь все! Это правда, и зовут ее Алиса. Думаю, она к нам пожалует.

— Это что значит?

— А то, что придет, надеюсь.

— Она что, не здесь живет?

— К сожалению, — ответил Лев. — Но, думаю, что это не навсегда. У нас столько домов, запутаешься прямо.

— И это точно мой дом будет?

— Что значит — будет? Он уже твой дом! — заверили оба.

— Хорошо, у вас хорошо, и кроватка хорошая, — сказала Поля, залезая на кровать и подпрыгивая на ней. — А птичка, она в клетке?

— Да, сейчас ты ее увидишь, она проживает на кухне.

— А, понятно. Там еды больше, — проявляла свою смекалку Пелагея.

Вдруг она увидела на туалетном столике колокольчик, схватила его и, так же стоя на кровати, произнесла: «С колокольчиком в пути я хочу домой пойти. Маму там свою увидеть и всем счастье принести!» Она соскочила с кровати и побежала на кухню. Там подлетела к птичке, пошебетала вместе с ней и заключила: «Звать ее будет Солька!» — «Почему?» — спросила мать. — «А потому что голос у нее такой. Она может все нотки спеть, особенно соль!» — «Так что, ты и нотную грамоту знаешь?» — спрашивали ее. — «И нотную, и еще английский. И учу французский!» — «А на коньках не катаешься?» — уже с хитрецей спросил Лев. — «Нет, но зато на роликах. А у вас нет роликов?» Ее уверили, что

это дело поправимое, и предложили пойти в большую комнату, чтобы пообедать. «А вы с салфетками тоже? Я уже могу и вилочкой, и ножом». — «Вот и отлично! Так, значит, и будет. А ты салфетки не любишь?» — спросил Лев. — «Да так, не очень, вечно они сбиваются. Но я терплю. Правильно?» И, не дожидаясь ответа, побежала в ванную, вымыла руки и уселась к столу. Тут же заправила себе салфетку и посмотрела, что там, на столе. Уж Лев постарался! Были кусочки индейки, запеченные с черносливом и яблоками, суп-лапша, кисель из свежих ягод и еще салат.

«Как красиво! — воскликнула маленькая хозяйка, подставляя тарелочку. — Я так люблю, чтобы было красиво!» — «Нравится? Вот и хорошо!»

Вечер посвятили чтению книжек, заодно и выясняя, что Поля уже знает, что читала или ей читали, что больше предпочитает. Оказалось, с ней занималась воспитательница из России, выпускница филфака, которая и обучила ее грамоте, и привила любовь к чтению. Решили, что Сент-Экзюпери может быть ей уже понятен. Так и вышло. Когда дошли до места, в котором говорится о приручении всех и ответственности за это, Поленька вдруг пригорюнилась и едва не заплакала.

— Что с тобой? — забеспокоилась мать.

— Так. Меня приручали, а потом забыли.

— Кто же?

— Он говорил, что мой папа. Но у него был еще ребенок, и он его любил больше. А мне читала только тетя Клара. А вы не будете любить больше вашу Алису?

— Мы будем любить вас одинаково, а маленьких любят всегда больше, — заверила Анна.

— Тогда хорошо, — согласилась Поля. — А стихотворение я сама сочинила и еще много могу.

Во время всех вечерних посиделок Шух, вопреки своей привычке отделяться и находиться всегда где-то по соседству, но все-таки не рядом, пребывал в непосредственной близости к обществу. Лежал около дива-

на, потом переместился и устроился на подлокотнике его и так и слушал, вникал. Что нового происходит в их доме. И только когда пришло время ложиться спать и Полю стала переодевать и готовить ко сну мама, он перебазировался и в эту комнату и спрятался под креслом, в надежде, что его не попросят и он сможет остаться в обществе этой маленькой принцессы, так неожиданно появившейся в их жилище.

— А ты со мной посидишь? Тетя Клара всегда меня укладывала.

— Конечно. А она что, жила у вас?

— Почти. Иногда уходила, и тогда становилось плохо, никто мне ничего не читал и не рассказывал.

— А кто еще жил у вас в доме?

— Ну, Жанна, жена папы, их дочь, и вот я. Если бы не тетя Клара, все было бы плохо.

— Ничего, теперь все будет по-другому. Лишь бы ты ни о ком не скучала.

— Нет, — вздохнула девочка, — не буду.

— А что, папа тебя сильно любил?

— Когда бывал в городе, то общался. Но это так редко было. Он все где-то ездил, все что-то делал, мы его и не видели. А потом уже и совсем не стали видеть.

— И ты что, одна летела?

— Нет, зачем, с тетей Кларой. Она тоже живет здесь. Сказала, что мне позвонит. Это же правда?

— Конечно! Мы ее разыщем и станем общаться.

— Да зачем искать? У меня и телефон ее есть. Там, в моих вещах, в синей сумочке. Там все мои главные записки. И про тебя там есть.

— И что там сказано?

— Что? — Девочка обняла маму крепко-крепко и сказала — чтобы скорее увидеть тебя.

— Вот, увиделись, слава Богу. Ты что же... ты, ты помнила обо мне?

— А как же! — воскликнула Пелагея. — Я все-все помню. Потом расскажу, — заверила она, уже засыпая в своей новой постельке в новом доме с мамой.

А мама все сидела у кровати дочери и вслушивалась в ее наступающий сон. И никак не могла принять мысль, что вот оно, то главное, что ожидалось так долго и казалось почти несбыточным, — рядом, лежит и дышит. Она припомнила, что действительно, та дама из садика говорила ей о Лизе, дала даже ее номер телефона, но Анна об этом позабыла на время. Это действительно могло бы стать выходом, пока они с Львом на работе, пока не наступил отпуск. Да и на время школы — это замечательное решение всех вопросов. Но торопиться пока не хотелось. А только слушать дыхание, сидеть вот так рядом и понимать, что Бог услышал ее и теперь можно не считать зряшной прожитую жизнь.

А ведь утром — генеральная! А еще через день — премьера! Как бы не упустить, не утратить то, что собиралось по таким крупинкам в течение долгого времени. Не расплескать! Избыточная радость может обернуться и поводом для еще более полного насыщения образа, а может, не дай Бог, что-то унести, чего-то лишит. Психика, все свое внутреннее состояние сосредоточенно сейчас только на Поле, поэтому как совместить и то, и другое? И радость обретения, и горечь тех потерь, сквозь которые продирается ее Бланш? И нынешнего ее состояния, которое легким не назовешь. То, что она пытается выстоять, — несомненно. Но вот каким образом, что делая, к чему прибегая? Как защищая себя при этом? — большой вопрос.

Так сидела Анна в их с Львом и дочкой теперь комнате и думала и думала. И постепенно сон сморил ее, и она легла. И снился ей почему-то Ташкент с огромными мешками, в которых был самый разнообразный рис. Она любила бывать там, перебирать этот рис, который сыпался сквозь пальцы, и думать, какой замечательный плов можно было бы приготовить из него. И сквозь сон, уже почти просыпаясь, понимая, что наступило утро, она решила, что в этом году, может быть, даже летом, непременно съездят в их город молодости и любви, первых успехов и надежд, посетят могилы

родителей и прикоснутся к тому давнему, что теперь только теперь обрело осязаемые и плотные очертания.

На генеральную Пелагею решили взять с собой: не с кем пока было оставить. Там, в театре, знали, что когда-то может появиться дочка Анны, но что она придет с родителями на репетицию, да еще начнет так легко и охотно знакомиться со всеми, — нет, этого не ожидали. Анна поручила девочку завгримерным цехом, светловолосой Майе Михайловне, поскольку та больше оставалась на месте и не часто отлучалась, а, напротив, приходила что-то подправить или изменить в прическе, гриме, подклеить ресницы.

Да и сразу обрушивать на девочку впечатления, связанные с процессом репетиций, замечаний режиссера, самым сложным ходом постановки не хотелось.

Аня только дважды успела забежать к Майе, убедилась, что дочка внимательно рассматривает все причуды и атрибуты актерской экипировки, поняла, что это занятие ее очень увлекло. И снова отправлялась на сцену. Репетиция проходила на одном дыхании. Весь накопленный материал, все раздумья, ассоциации, огромный подтекст, присутствующий как в самой пьесе, так и передаваемый артистами, был объемно и бережно воспроизведен на сцене. Александр Владимирович делал замечания, но сама репетиция не была остановлена ни разу, все понимали, что не стоит утрачивать того ритма, той энергии, которая с самого начала словно зарядила, наполнила сцену, само действие. А Анна чувствовала, что события последних дней не только не извлекли что-то очень важное и существенное из наработанного и надуманного ею, но, напротив, наполнили ее пребывание на сцене какими-то новыми черточками, глубоким смыслом и содержанием. Ей было так удобно, она чувствовала в себе такую силу и уверенность, что режиссер, до которого, конечно, дошел слух о присутствующей и нашедшейся дочке, не только не рассердился таким дополнительным обстоятельством, но понял, убедился в том, что это пошло Анне только на пользу. Удивительная сила и даже блеск

отдельных сцен так и светились, почерк, поступь сделались тоньше, отточенней и кропотливей, что ли. Точно это была большая, полноценная работа, образ, который сложился из таких черточек и воспоминаний, такого мастерства и опыта, который соединился именно в ней, в Анне.

Лев вел свои сцены, в особенности парные, с Бланш, на высоченном подъеме. Действительно, новая ситуация, в которой они оба пребывали, вдохнула в их души что-то такое новое и неизведанное, что самым замечательным образом сказалось на работе, тех образах, которые они создавали. Однако по-прежнему Анна молчала о самом главном. О главном для ее Льва: он до сих пор не знал, что у него растет ребенок, что Пелагея — его дочь. Анна так и не нашла еще возможность раскрыть ему свою тайну.

Надо сказать, все актеры словно сговорились: работали на таком подъеме, даже страсти и одновременно выверенности каждого шага, реплики, мизансцены, что режиссер в результате прогона только и сказал: «Удержите все так до премьеры. Запомните, закрепите. Как на брусьях, в гимнастике. Фиксируйте свои эмоции, чувства, побуждения. Что вами двигало, что давало толчок. Все, все запомните. До завтра!»

Пелагея бежала к Анне с восторженным криком: «Мама, мама, как тут красиво, я буду сюда приходить? Ладно? И тетя Майя такая. И все!..» Было понятно, что восторгу ребенка не было предела. Оставалось решить, как быть с завтрашним вечером, с кем оставлять ребенка. И решено было позвонить, позвать к себе ту самую тетю Клару, которая в последнее время довольно долго была с Поленькой.

Позвонили, и тетя Клара, оказавшаяся совсем не старой, как они готовы были предположить, судя по имени, старообразному какому-то, а, напротив, молодой женщиной, и голос был бодрый, звенящий даже, обещала завтра же быть. Можно было расслабиться, подготовиться к завтрашнему дню и еще пригласить

на премьеру Алиску, которая без лишних выкаблучиваний сказала, что будет. А познакомить девочек решено было сразу после премьеры, зазвав Алису домой уже вечером. Даже если к тому времени Поля уже будет спать.

Но случилось так, что еще около четырех часов самого премьерного дня Алиса неожиданно пришла сама, объяснив, что была неподалеку. Лев обнял ее и стал шептать что-то на ухо. Анна готовила чай и в мыслях уже вся была там, в театре. Пройдя в комнату, Алиса увидела выбежавшую девочку. Обе приостановились. На секунду возникла пауза, потом Алиска спросила.

— Так что, ты моя сеструха?

— Я? Да! — нашла Поля, поняв сленг девочки.

— Ну, давай пять, — и протянула руку первая.

— В смысле пять пальцев? — не уступила Поля.

— Естественно. Так что, значит, ты, наконец, прибыла. Долго же ты летела. Я прямо вся извелась, — все пыталась шутить Алиска. — Значит, бум дружить, так я понимаю?

— Бум, — согласилась Пелагея.

Алиска пила чай на кухне, где все и собрались, почему-то улыбалась, и было件нятно, что она совсем не возражает против нового члена семьи.

— Ну, давай, я пошла. А ты спи.

— А что давать?

— Так, на всякий случай. Пока!

И Поля не просто протянула руку, но придвинулась как-то боком, притерлась спиной к Алиске, и обе так постояли какое-то мгновение. Потом обе отлепились, и Алиска ушла, пообещав быть на премьере не в рваных джинсах.

— Она красивая, — заключила Поля и добавила, что тоже хотела бы пойти, но раз нельзя, значит, ладно.

А еще до того появилась няня, которая оказалась и, правда, молодой женщиной, образованной и доброжелательной. Поля ее встретила с радостью. Так что вопрос о том, с кем оставлять ребенка, был снят. Женщи-

не все показали, поговорили и сказали, что все, их время вышло, они отправляются на работу. Не стали заявлять о премьере, решили, что потом, уже после отпуска поведут на спектакль. И так слишком много событий, которые буквально спрессовались в считанные дни: и выход Льва из клиники, и встреча с дочкой, и знакомство с Алисой, с няней. И еще событие — сегодняшняя премьера. Был, конечно, и еще момент, который все никак не могла избрать Анна. Она должна была наконец сообщить Льву всю правду. Однако медлила и медлила.

И Анна, и Лев сыграли в своей жизни немало премьер, однако именно этот день и предстоящее событие ожидалось более всего. Это ощущение сравнить было не с чем: так велико было ожидание и возбуждение от того, что вот-вот должно было свершиться.

У Анны — Бланш было три переодевания, и все ряды, конечно же, были уже готовы и висели в гримерке. Анна сидела еще с одной актрисой, которая не была занята в этом спектакле, но, по заведенной в театре традиции, пришла на спектакль. Это была хрупкая женщина, совсем не похожая на театрального человека, очень скромная и даже покладистая. Жила она лет тридцать с одним мужем, за ней не замечалось ни измен, ни сплетен, ничего, что так или иначе свойственно людям артистической профессии. Звали ее смешно — Ефросинья, носила она прическу — гладко зачесанные волосы, затянутые на затылке узелочком. Но, несмотря на весь неказистый вид, была она удивительно чутким и внимательным человеком. И к Льву в больницу приходила, и ожидала, одна из немногих, приезда Пелагеи, и знала многое из того, что неведомо было другим артистам. Это был, пожалуй, единственный человек, с кем Анне было не просто комфортно, но она с удовольствием приходила в свою гримерку, когда Фрося находилась там. Они вместе бывали в буфете, пили чай. Не всегда подолгу говорили, но и этого немногословного общения вполне хватало на то, чтобы удовлетворить потребность друг в друге.

Фрося зашла в гримерку, поцеловала Анну, даже перекрестила ее, пожелала успеха и не стала томить ее своим присутствием: обе знали, что такое ожидание выхода и как важно в такие моменты остаться одному, чтобы не отвлекаться от главного. А главным было одно — предстоящий спектакль.

И первая сцена, и последующие шли на таком градусе, что в какой-то момент Анна вздрогнула: дотянет ли на таком пике до конца? Лев находился в другой, естественно, гримерке, и сцена, в которой начинается самое страшное, после чего, собственно, и попадает Бланш в клинику, не выдерживая и физического нападения, и психологического прессинга. Ее отвергают — вот с чем, пожалуй, не может смириться Бланш. И настала минута, когда Бланш Анны не только не стала вырываться из цепких рук Стенли, а, проговаривая слова отчаяния, невыносимого сопротивления, вдруг обмякает и словно смиряется со своей участью. Видимо, слова ее губителя о том, что свершившееся было предначерчено с самого начала, оказались провидческими. Она, и вправду, была подготовлена к тому, чтобы сломаться окончательно. И сыграла этот эпизод Анна не просто страстно, с полной отдачей, но было в нем и совсем новое: какие-то такие нюансы, которые говорили о корнях Бланш, ее происхождении, об аристократичности. О том, что гнев не равен достоинству, что победить зло можно не одним только сопротивлением и бранью, но несколько иными средствами. И она находила их, они возникали импровизационно, уже по ходу самого спектакля.

Когда все было завершено и врач, увозивший Бланш, что-то такое произносил негромко, видимо сообщая и диагноз, и неотвратимость такого ухода, Бланш на секунду, на какую-то долю театрального времени вдруг остановилась, оглянулась, посмотрела куда-то поверх всего, всего происходящего, и махнула кому-то рукой, в которой по-прежнему был зажат шелковый платок с кружевами. Только жест стал более неуверенным, ка-

ким-то вопрошающим, а сама Бланш — потерянной и словно осознающей, что начинается что-то такое страшное, чему противостоять она уже не сможет.

На поклоне, который был выстроен уже только на генеральной, Анна не помнила себя от восторга, от такого невероятного горения, которое, наверное, даже передалось и другим артистам. Более того, это чувство перемахнуло в зрительный зал, и тот, благодарный, устроил овацию, в которой потонуло все негативное. И бесконечность ожидания, и годы неустроенности, отказ от себя, все, что тяготило и, казалось, состоит не из той Ани, которая жила праведно и чисто, вдруг отступили.

Анна смотрела в глубь зала, не видя, конечно, лиц, просто в ту, по Станиславскому, четвертую стену, которая являлась и разъединительной, и соединяющей чертой со зрителем, и думала, что вот оно, это мгновение, с которого начинается новый отсчет. И хотела только одного: чтобы мгновения эти продлились как можно дольше и запомнились навсегда.

Уже потом было все то, что и бывает обычно после премьеры: поздравления коллег и друзей, теплые слова, цветы. Но был и еще один запоминающийся момент. К ней подошел Лев, молча обнял ее и сказал: «Вот ты какая, оказывается!» А на гримерном столике лежала программка, подписанная режиссером — это тоже была одна из театральных традиций. На ней были слова: « Я думаю, что в Вашей жизни начинается новый путь, новый какой-то виток ее. И это все — Ваша Бланш. Как точно Вы ее «схватили», поняли. У меня такой чудный план. На днях расскажу. Живите, как и теперь, — светло и ясно. Да Вас уже и не изменить!» И — подпись.

А Льву — более лаконично: «Как хорошо, что искусство перевоплощения убеждает в невероятном: Вы совсем не Стэнли Ковальский в жизни, но там, на сцене, так убедительны!»

А дома, когда наконец они там оказались и было

уже поздно-поздно, когда спали все, включая няню и дочку, Анна тихо прошла в спальню, присела рядом с кроватью и прошептала: «Единственная моя!»

Уже буквально накануне лета, когда в театре должен был вот-вот закрыться сезон, они увидели афиши, название фильма, о котором уже много говорили, его ждали, все видели их со Львом имена, оставалось только понять, что же он такое, поскольку так и не посмотрели его до сих пор целиком, только отдельные фрагменты.

Однако Лев неожиданно пришел за день до похода в кинотеатр с предложением. Он давно решил, что нужно торжественно отметить их второе, повторное вступление в брак. Загодя все разведal, и Анну ожидал не один сюрприз. И вот он явился домой, чтобы сказать просто и прямо, что им пора дойти до ЗАГСа и уточнить, действительно ли их старое свидетельство о браке, выданное еще в Ташкенте, или предстоит заново оформлять бумаги.

Он и прежде говорил об этом, но трудности, многие хлопоты по суду, получение необходимых документов, тормозили дело. Считалось между ними, что вопрос вроде бы решенный, оставалось лишь подождать, чтобы уладить все формальности.

День был замечательный, понедельник — в театре выходной, и решено было отправиться в учреждение, где и женят, и разводят не мешкая. Однако все же состоялся между ними разговор, который кое-что прояснял.

В тот день Анна много хлопотала по дому, еще и не зная, чем завершится он. Готовила, убирала квартиру, словом, надраивала ее с такой тщательностью, будто и впрямь ожидалось что-то. Лев с утра ушел в театр и предупредил, чтобы Анна непременно его дождалась. В какой-то момент она остановилась возле окна, посмотрела на улицу, провела тряпкой по подоконнику и вспомнила, как любила это занятие — уборку — еще тогда, в Ташкенте. Мама всегда говорила при этом,

чтобы все выходили — Аня, мол, убирается. Она и тогда делала все тщательнейшим образом, и казалось, что этот нехитрый процесс доставляет ей массу удовольствия. И, правда, она в такие минуты могла погружаться в свои мысли, отнюдь не связанные с уборкой помещения, уносилась куда-то далеко и даже порой забывала, что не все выполнила или, наоборот, проходит пол по второму кругу. И теперь ей припомнился тот домик во дворе на Первомайской, куда они приходили с Львом из театра и где прошли такие счастливые, такие благодатные часы.

— О чем думаешь, Анют? — услышала она над собой голос и не сразу оторвалась от воспоминаний. Оставила свою тряпку, обернулась к Льву и тихо прислонилась к плечу. Так и стояли. Пока наконец он не сказал, что у него есть важное сообщение.

— Какое же? — спросила Анна. Все еще пребывая где-то далеко.

— Делаю вам, Анна Васильевна, еще одно, надеюсь, последнее предложение руки и сердца. Не откажете? Молчите, умоляю. А вот идти предстоит сегодня, даже и сейчас. Если позволите, — церемонно объявлял Лев.

— Как идти? Почему сегодня?

— Милая моя, сама подумай, — спешно, торопливо заговорил Лев, — предстоит отпуск, нам там оформляться в санаторий, нужны будут паспорта. Как с этим-то быть, скажи? Да и зачем нам промедления, если все уладилось, отступило, если осталось и впрямь только одно — пойти и поставить свои подписи. И, наконец, у меня появится на тебя бумага! Вот уж я завяжу-то узелки. Посажу в крепость, не хуже Петра самого! Будешь у меня по досточке ходить!

— Буду-буду, — заверила Анна, никак не желающая переключиться на конкретный день с его новыми обстоятельствами. — А в кино? Когда пойдем в кино?

— Да, логика — и впрямь не женское дело. Отсутствие последовательности — вещь хорошая, но не в быту, а только в плетении сценических узоров. Твоя

же Бланш, к счастью, сыграна, нужны силенки на следующий год, так что, моя дорогая, вперед и с песней!

— С песней — это хорошо, — оторвалась от своих воспоминаний Анна. — Что же я надену?

— Ну уж, не знаю! Посоветовал бы, чтобы ты сама выбрала платье, костюм, словом, что хочешь, но только не тяни, а то опоздаем.

— А ту блузку, помнишь, что купил мне? Можно в ней?

— Да в чем твоя душенька пожелает! Только пошли!

Аня оставила наконец свою тряпку и пошла одеваться. Делала она это обычно довольно быстро — сцена приучила к скорым переодеваниям. А когда вышла, Лев оторопел: на Анне было что-то сиреневого цвета, и он не мог вспомнить, чтобы этот наряд она прежде надевала.

— Ты хитруша какая! А я и не знал. Что за красота у нас по шкафам прячется. Все, бежим!

— Нет, тебе нравится?

— Вопросы! Вопросы будут? — вопросов нет. Конечно!!!

Анна понимала, чем вызвана отчасти такая шаловливая настроенность и некоторая взвинченность Льва: он явно волновался, это ощущалось.

Когда они появились в ЗАГСе, Анна отпрянула от неожиданности: прямо там, в холле, их поджидали — нет, это невозможно! — их ожидали Кира со своим мужем, Неля с Кишем, Марина с мужем, а также Фрося. Как, когда и каким образом успел Лев оповестить всех? Вот, оказывается, он не так давно пытал ее относительно Нели, все выспрашивал их адрес. Узнал-таки! Она так разволновалась, что не сразу нашлась, что сказать. Оправляя костюм, смотрела, едва не плача, вокруг и поочередно обнимала каждого пришедшего. И еще в какой-то момент оглянулась и взглянула на стены: они были абсолютно белого цвета. Но даже если они были бы окрашены в синий цвет, ее это обстоятельство не напугало бы нисколько: этот синий ее по-

своему закалил, она научилась не только не реагировать на него, но даже видеть в нем некий иронический смысл, совсем не связанный ни с будущностью, ни с оценкой происходящего. Ни на что он уже не мог повлиять — вот что важно! И будут ли ее жизненные циклы какого угодно цвета — уже не важно! Не важно потому хотя бы, что столько случилось, изменилось в ее жизни, что такая деталь, как цвет, не имела существенного значения, вот и все!

Даже музыка, сами музыканты, явившиеся в обычный городской ЗАГС, имели явное отношение к театральной среде: они играли совсем не скучно, не обыденно, а шутили, реагировали на каждый поворот в происходящей церемонии, и музыка сопровождала все действие отнюдь не формально. «Ну и Лев! Когда это он все успел?» — подумала Анна, а сама уже ставила свою подпись, и рука у нее не дрожала, она ясно и красиво выводила свою фамилию, менять которую не стала.

После всей торжественной процедуры Анна сказала, что сегодня для нее самой все было явным сюрпризом, поэтому предложила после премьеры фильма отметить событие где-нибудь в кафе. Анну Кремнёву и Льва Платова поздравляли, преподносили цветы, словом, никакой формальностью бракосочетание не сопровождалось. Однако, несмотря на все прелести церемонии, Анне очень хотелось остаться поскорей одной. И не потому, что кто-то ей не нравился или неприятными были воспоминания. Просто она никогда не принимала ничего, что не трогало бы сердце. Обрадовавшись гостям, она сознавала, что такое событие касается только двоих, и именно потому и хотела остаться поскорее наедине с Львом.

Дома они дождались Алиску, Поля еще не спала, няня отпросилась пораньше, и они отпраздновали этот день по-семейному, без гостей, без излишней суеты, так, словно всю жизнь только и ждали этого благословенного дня.

Ночью, когда девочки спали и луна, как водится, смотрелась в окно их спальни, Лев взял за руку свою жену и произнес тихо, нежно, глядя куда-то далеко вперед: «Единственная моя!» Анна встрепенулась, открыла глаза и неожиданно для себя произнесла: «Лев, я должна тебе кое-что сказать. — Она почувствовала, как он напрягся, как смотрел на нее сквозь темноту ночи. И она решилась. — Лев, Поля — твоя дочь. Ты ничего не знал». — После долгого молчания Лев наконец сказал: «Может, просто не говорил тебе, но подсчеты сделали свое дело. Я догадывался и потому еще так рвался, действовал, чтобы вернуть Полю. Понимаю, ты молчала. Понимаю, — повторил он снова. — И это — самое большое счастье в моей жизни. Алиска ведь родилась, а я так и не удосужился зарегистрировать отношения. Наверное, это к лучшему. Спи, единственная моя».

Анна никогда больше не встречалась с Олегом, кроме единственного раза, во время суда. Но и спустя много времени, ей не хотелось возвращаться к памяти этой встречи, вспоминать его оправдания и более всего — отсутствие раскаяния. Она приняла это событие и захлопнула страшную страницу своей биографии, отчетливо понимая, кто именно явился тем толчком, побудителем в череде тяжелых поступков, самой жизни, скитаний, цепи предательств и обмана за прошедшие годы. Но она не заикливалась на этом обвинительном развороте своей памяти, а, как и было ей свойственно всегда, шла вперед и вперед, отдавая отчет в том, что лишь любовью и работой можно победить боль и горе.

Уже взяты были билеты в Анапу, уже сложены чемоданы, и они всем семейством отправились на премьеру фильма, куда пригласили всех своих знакомых. Назывался фильм очень символично, и таких названий в те годы не было, такая странность и смелость привлекали внимание, возбуждали интерес. «Мне не страшно» — такое кино о войне впервые по-новому рас-

крывало, казалось бы, привычные вещи. Не было деления на наших и ненаших, не было прямолинейного показа гнева и страха, а была попытка понять, разобраться в том, как люди переживали страшные события, когда ничем уже, казалось, нельзя было помочь. Как оставались один на один со своей бедой и выходили потом из плена ситуации, как верили несмотря ни на что и как вопреки даже документу продолжали надеяться на чудо. И такие чудеса случались.

В одном из них и были задействованы Анна со Львом. Глубина психологического рисунка роли, ставка на сложный подтекст придавали фильму новое, необычное звучание, открывая в рассказе о войне тоже новые смыслы и содержание.

Пресса приняла фильм не сразу: естественно, что было какое-то время замешательство, люди-критики не знали порой, как реагировать на новый кинематографический язык. Но очень скоро ситуация поменялась. Она и не могла оставаться прежней — слишком истосковались люди по истинной правде и истинным, не киношным отношениям. Артисты получили свою порцию позитивного заряда, в том числе и главным образом, Анна и Лев.

Две премьеры, возвращение дочери, брак, его оформление — все эти события дали новую пищу для переоценки жизненного уклада, его ритма и сути, а сами переживания делали Анну не просто сильной, но мудрой. Она все больше приобретала в плане профессии, получая величайшее удовольствие от работы, от сопровосновения с любым материалом.

Лето, отдых только укрепили веру в собственные возможности. И однажды, глядя на море, как она и любила это делать часами, простая и бесхитростная мысль коснулась ее сознания. Она подумала, что обычный и будничный смысл, который скрывается за каждодневными делами, событиями, иногда возвышается до трагических обобщений. Например, ее жизнь, все перипетии судьбы сложились в какой-то действительно трагический узел, который постепенно стал ослабе-

вать, распутываться, и оказалось, что все нити этого узла возможно изящно и бережно расположить, главное — отыскать, найти систему, с помощью которой все это сможет удасться.

Множество раз, ложась рядом с Львом, она вспоминала другие свои ночи по чужим углам, со странными людьми, вспоминала, как все они так или иначе помогали ей, но не могла простить себе одного: отречения от своего детства и юности, от устоев, заложенных родителями, от профессии. Не могла! И очень мучилась. Странное дело: когда весь кошмар происходил с ней, она словно и не замечала этого — ходила, как автомат, с кем-то иной раз говорила, ложилась в чужую постель, запрещая себе даже думать и вспоминать о чем-либо; а уж о хорошем — тем более. Как она жила, превратившись в существо без памяти, без профессии, без друзей и общения? Думала ли она тогда о своем нынешнем муже? Может, и думала, но только не конкретной мыслью и конкретными желаниями, нет, мысль не облекалась в физическую, реальную форму, а было во всем нечто иное — какой-то смысл, интуиция, некое предощущение того, что когда-то все переменится и она — тоже. И тогда, возможно, что-то новое приключится. Нет, опять-таки не в оформленных мечтах и планах, но именно в странном предвосхищении того, что вот теперь обрело все же реальный смысл и значение.

И еще много думала о самом Льве, его жизни без нее. Она не любила спрашивать: с кем жил, думала ли о ней, что вообще наполняло его жизнь. Все это она извлекала уже из самого общения с ним, из своих наблюдений, размышлений, по крупицам собирая обобщенный образ того, кто был ей дороже всех.

Больше всего она не могла простить себе даже не тот образ жизни, который вела, а отказ от мечты и памяти. Она так самоотверженно работала над собой, так неистово отказывалась от самой себя прежней, что в какой-то момент это сработало: она перестала воспринимать реальный, оформленный в плоть и кровь мир как истинный и настоящий. Она добровольно от-

казалась от него, а отрекаясь, сумела прихватить с собой и все те крохи памяти, которые накрепко закрыла на ключ, а его выбросила.

Сколько же сил и терпения понадобилось Льву, чтобы постепенно возвращать ее и к жизни, и к памяти, и — главное — к мечте. Но более всего лечила, помогала выздоравливать профессия, возвращение к ней. И успех спектакля, а затем и фильма были действеннее и значительнее любых лекарств.

Она не могла не заметить, как на самой премьере этого фильма со странным названием «Мне не страшно» она увидела главрежа «синего театра». Он, конечно же, тоже узнал ее, даже на долю секунды замешкался, когда она спускалась со сцены, на которой шло представление их, актеров, и всего творческого коллектива.

Он сидел в первом ряду. Каким-то боковым зрением она, бросив взгляд на него, уловила, кто сидит перед ней. Однако заметила только некоторое его смятение: это было очевидно по нервозности, по тому, как неожиданно переменялась его поза, как он полез в карман, словно искал в нем что-то. И все же он посмотрел на нее, а уже потом, в больших, просторных коридорах не смог сдержать искушения подойти чуть ближе, и так же боком, не здороваясь, все же дать понять, что он все понял, что он узнал ее и ...признал. Они не сказали друг другу ни слова, но и так было ясно, что прошлое никогда не позволит: ей — приблизиться к нему, ему — осознать сполна свою роль злодея и вину перед этой женщиной.

Она подолгу смотрела в самую таинственную даль моря, видела его синие блики и белых чаек, безбоязненно подлетающих совсем вплотную к берегу, бросала хлеб, который они прихватывали из дома, но более всего с удивлением и радостью рассматривала белые круги, которые образовывались от вскипающих волн, то приближающихся к самым коленям, то, наоборот, отползающих подальше. Нехотя, лениво, но все же отступающих. И ей казалось, что эти белые круги весь-

ма напоминают ее жизненные круги: такие же замысловатые, высокие, образующие едва ли не фонтаны брызг-кружев, но которые, тем не менее, имеют четкую и ясную направленность. Их циклы, их периоды вскипания и успокоения сравнимы, и правда, с Аниной жизнью. Ее насыщенность, ее провалы и пустоты, а потом подъемы и стремление удержаться высоко, где-то за самой далью горизонта, имели к ней прямое отношение. Только одно она отмечала с радостью: и сами эти круги, как, собственно, и сама ее жизнь, хотя и походили на некоторое подобие круга, однако не замыкались сами на себе, а как-то так разворачивались и обретали совсем другую форму, разъять которую было вполне возможно. Белые волны, описывающие круги на самом синем в мире море, не только успокаивали, но и давали надежду на то, что призрачные, эфемерные вещи не так уж и бесформенны, а самое важное — из них всегда можно образовать и круг, и всякую другую форму — было бы желание.

ЭПИЛОГ

Шло время, принося с собой все новые и новые события, а значит, перемены. Давно прошли гастроли театра в городе Ташкенте, и это тоже принесло свои результаты: люди, оказывается, еще помнили и саму Анну, и ее мужа, и родителей, и, наверное, то, с чего и как все начиналось. А это всегда очень важно.

Анна с Львом не раз проходили знакомыми улицами, в том числе и той, где начинались отношения и зарождалась любовь. Поклонились могиле отца, Василия Никифоровича, с трудом узнали то место, где прежде стоял домик во дворе на улице Карла Маркса. Однако тот новый, построенный москвичами после землетрясения, был так же хорош, и в их квартире по-прежнему жила Лида, вторая жена отца Анны. И город тоже был прекрасен своей солнечностью и замечательным отношением к любым национальностям — такое было время! Любимый, забываемый город! Что ж делать, если приходилось возвращаться к себе, где уже все более крепла и развивалась творческая жизнь этой пары, получившей звания и — что самое важное — признание и любовь зрителей Ленинграда.

Так уж случилось, что оба города, оба любимые, занимали сердца этих людей — Анны и Льва. И трудно было исключить один, заменив его другим. Так уж случилось, что теперь они жили не в Ташкенте, но кто знает, может, это не навсегда и что-то еще сможет перемениться?

А вот девочки росли, и Алиска уже три года как жила в Англии, где училась на дизайнера. Пелагея рисовала, закончила, когда пришло время, школу и поступила в Академию живописи. И давно-давно поняла, кто ей приходится настоящим папой. Его она любила так крепко, что даже Анна порой недоумевала: как это ребенок смог понять и проникнуться таким сильным чувством к своему отцу? Неужели гены — и вправду, столь важная и всепроникающая составляющая?

Но самое важное событие для Анны и Льва заключалось совсем в другом. Не только в творческой жизни, не только в любви и их доме. У них родился мальчик, назвали его Трофимом, он был беленький и кудрявый и хорошо разговаривал, прекрасно выговаривая трудную букву «р».

Шло время, и мальчик рос, привнося в жизнь своих родителей новые ощущения, заботы, переживания. И постепенно становилось понятно, что и он возьмет что-то от творческой жизни и судьбы своих родителей, поскольку пел, да так ясно, чисто, что сомнений не оставалось: ребенок вырастет и станет... словом, станет тоже человеком творческой профессии. И продлится род, начался который давно, еще с тех самых времен, когда не только жили и работали Анины бабушки и бабушки, нет — значительно раньше, просто помнила и знала она именно эти времена, вспоминая порой и свои поездки в деревню к бабушке, и роли отца. И то, как в последние свои годы прибаливала мама, и как она держалась, крепилась, и все — ради своего мужа и своей дочери.

Род — наверное, то важное и необходимое, что имеет отношение к каждой семье, только не всякая осознает это. А Анна понимала, как и многое из того, с чем пришлось в жизни не соглашаться, чему — противостоять или, напротив, покоряться: всякое бывало. Но побеждали всегда характер, воля и глубинное осознание того, что только вера и любовь способны сотворить нечто такое, что позволяет выживать и уважать жизнь, самое себя, другого.

Но, наверное, поверх всего, даже важности рода и человеческих связей, профессии и многого, многого, была любовь, в которую люди переставали верить, во всяком случае, какие-то другие люди, но только не Анна, для которой именно она являлась главной и особенной составляющей в ее существовании. Любовь, во имя которой она и жила, и творила, и растила детей и еще верила, что только так и возможно жить.

А потом снова и снова проходило время, и дети стали совсем взрослыми, и народили своих детей, а Анна и ее Лев старели, но вот что важно. Каждую весну, в свой майский день рождения в том и другом городе, в них обоих начинала расцветать весна. Конечно, она была разной: в Ташкенте уже вовсю шпарило солнце, а в Ленинграде едва начинали зеленеть деревья и о фруктах еще не было речи, но в обоих городах продавались цветы, жили люди, они любили и снова верили, что жизнь — самое замечательное, что есть на свете и совсем неважно, где ты живешь и на какой улице. Важно только то, что весна наступает каждый год, и — что бы ни было — зазеленеют деревья, и народ отправится на свои дачи и пасеки, а кто-то снова останется в большом городе и будет ждать, когда же наконец станет прохладнее, приблизится осень, а там и зима не за горами. И так — всегда-всегда, по белому — может, зимнему, может, осеннему, но непременно кругу. Но лучше, конечно, весеннему. Все-таки в весне этой больше надежды. Да на все: на перемены, возврат любимых, рождение детей — словом, на самое настоящее продолжение.

*15 июня 2010 года – 9 марта 2011 года.
Москва*

СОДЕРЖАНИЕ

Об авторе	5
Моим читателям	8
Глава первая. Водка	9
Глава вторая. А на улице расцветала весна	19
Глава третья. Воспоминание	31
Глава четвертая. То ли сон, то ли явь	50
Глава пятая. Пуля в сердце	59
Глава шестая. Милый старый дом	72
Глава седьмая. Репетиции «Милого старого дома»	90
Глава восьмая. Падение	114
Глава девятая. А круг все уже	133
Глава десятая. Такие синие-синие стены	154
Глава одиннадцатая. С 16 до 18	176
Глава двенадцатая. И пришел Новый год	203
Глава тринадцатая. Весна!	248
Глава четырнадцатая. Белое дерево	278
Глава пятнадцатая. Единственная	303
Эпилог	332

Оригинал-макет *О. Колмиссарова*

Сдано в набор 18.04.11. Подписано в печать
Формат 84x108/32. Гарнитура «Баскервиль».
Тираж 500 экз. Заказ
Печать офсетная. Усл. печ. л. 21.

Научно-издательский центр «Академика»
127254, Москва, ул. Гончарова, 15

Отпечатано с готовых диапозитивов
в Коломенской межрайонной типографии